



## **А.Л. МЯСНИКОВ**

врач с мировым именем,  
советский академик,  
лауреат международной  
премии «Золотой стетоскоп»

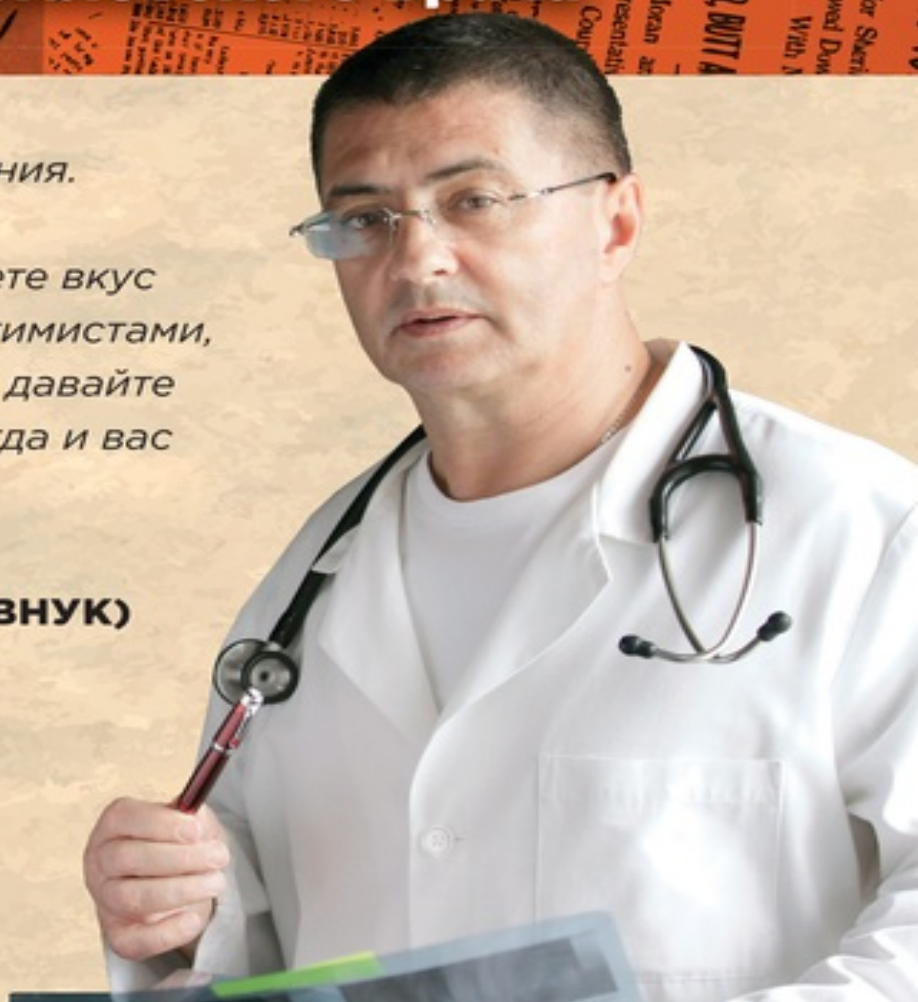
# **Пульс России**

**Переломные моменты истории страны  
глазами кремлевского врача**

*«Прочитайте эти воспоминания.  
Они не были написаны для  
публикации... Вы почувствуете вкус  
времени! Давайте будем оптимистами,  
как мой замечательный дед, давайте  
уважать нашу историю – тогда и вас  
будут уважать самих!»*

## **А.Л. МЯСНИКОВ (ВНУК)**

кандидат медицинских наук,  
доктор медицины США,  
потомственный врач



## Annotation

«...Трамваи не ходили... Свет давали скудно. Магазины были заколочены... И все же жизнь продолжалась: спорили, заседали, учились, ходили в театр и на концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее, героическое, как будто стучала поступь истории».

Прочтите эту книгу, и вы сможете увидеть как наяву переломные моменты истории страны глазами знаменитейшего советского врача, лауреата международной премии «Золотой стетоскоп» А. Л. Мясникова. Эта рукопись писалась не для публикации и была запрещена к печати. Более 45 лет она хранилась в секретных архивах — ведь отечественную историю XX века отразил свидетель и непосредственный участник тех судьбоносных для страны событий.

Доктор Мясников, внук и полный тезка академика Мясникова, написал предисловие к книге и приоткрыл завесу над другой, личной жизнью своего знаменитого деда-академика, в которой он сам принимал участие. Почувствуйте вкус времени!

---

- [Александр Леонидович Мясников](#)
  - [Предисловие](#)
  - [Детство. Красный Холм](#)
  - [Гимназия. Кавказ. Война](#)
  - [Московский университет. Революция](#)
  - [Клиника Ланга. Ленинград](#)
  - [Жизнь в Новосибирске](#)
  - [Великая Отечественная война](#)
  - [Окончание войны. Переезд из Ленинграда в Москву](#)
  - [Жизнь в Москве](#)
  - [Общественные события. Смерть Сталина](#)
  - [Приезды и отъезды](#)
- [notes](#)
  - [1](#)
  - [2](#)
  - [3](#)
  - [4](#)
  - [5](#)
  - [6](#)

- [7](#)
- [8](#)
- [9](#)
- [10](#)
- [11](#)
- [12](#)
- [13](#)
- [14](#)
- [15](#)
- [16](#)
- [17](#)
- [18](#)
- [19](#)
- [20](#)
- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)

- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)
- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)

- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)
- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)

- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)
- [138](#)
- [139](#)
- [140](#)
- [141](#)
- [142](#)
- [143](#)
- [144](#)
- [145](#)
- [146](#)
- [147](#)
- [148](#)
- [149](#)
- [150](#)
- [151](#)
- [152](#)
- [153](#)
- [154](#)
- [155](#)
- [156](#)
- [157](#)
- [158](#)
- [159](#)
- [160](#)
- [161](#)
- [162](#)

- [163](#)
- [164](#)
- [165](#)
- [166](#)
- [167](#)
- [168](#)
- [169](#)
- [170](#)
- [171](#)
- [172](#)
- [173](#)
- [174](#)
- [175](#)
- [176](#)
- [177](#)
- [178](#)
- [179](#)
- [180](#)
- [181](#)
- [182](#)
- [183](#)
- [184](#)
- [185](#)
- [186](#)
- [187](#)
- [188](#)
- [189](#)
- [190](#)
- [191](#)
- [192](#)
- [193](#)
- [194](#)
- [195](#)
- [196](#)
- [197](#)
- [198](#)
- [199](#)
- [200](#)
- [201](#)

- [202](#)
- [203](#)
- [204](#)
- [205](#)
- [206](#)
- [207](#)
- [208](#)
- [209](#)
- [210](#)
- [211](#)
- [212](#)
- [213](#)
- [214](#)
- [215](#)
- [216](#)
- [217](#)
- [218](#)
- [219](#)
- [220](#)
- [221](#)
- [222](#)
- [223](#)
- [224](#)
- [225](#)
- [226](#)
- [227](#)
- [228](#)
- [229](#)
- [230](#)
- [231](#)
- [232](#)
- [233](#)
- [234](#)
- [235](#)
- [236](#)
- [237](#)
- [238](#)
- [239](#)
- [240](#)



- [241](#)
  - [242](#)
  - [243](#)
  - [244](#)
  - [245](#)
  - [246](#)
  - [247](#)
  - [248](#)
  - [249](#)
  - [250](#)
  - [251](#)
  - [252](#)
  - [253](#)
  - [254](#)
  - [255](#)
  - [256](#)
  - [257](#)
  - [258](#)
  - [259](#)
  - [260](#)
  - [261](#)
  - [262](#)
  - [263](#)
-

**Александр Леонидович Мясников**  
**Пульс России: переломные моменты**  
**истории страны глазами кремлевского**  
**врача**

## Предисловие



Я с детства жил под рефреном: «Ты полный тезка своего знаменитого дедушки! Ты должен соответствовать такому имени!»

А я тогда не хотел никому соответствовать, я хотел кататься на велосипеде, ловить рыбу и собирать грибы! И дед был для меня не гений-академик, а просто мой любимый, огромный дед, добродушный и всегда улыбающийся! И хотел я сравниться с ним не в интеллекте (я тогда толком и не понимал величия моего деда), а в умении собирать грибы!

Дед делал это фантастически! Его природный артистизм сказывался и здесь! Он уходил в самый безнадежный лес, никогда с корзиной (свободный художник, а не заготовитель!), каким-то особым чутьем находил места и возвращался с охапкой отборных боровиков! Никогда я не видел его таким счастливым, даже после окончания очередной блестящей книги!

Писал он их своим бисерным почерком на даче, на втором этаже, сидя в вольтеровском кресле, у него была строгая норма: 10 страниц в день (как я хорошо теперь понимаю, насколько это непросто!). Я же — мелкий

недоумок — тихонько поднимался по лестнице и обстреливал его зеленой бузиной, как южноамериканский индеец, выдувая ее из срезанного полого стебля какого-то папоротниковидного растения, которое и по сей день в изобилии растет в Подмосковье.

С классической литературой я познакомился задолго до того, как научился читать. Перед сном дед обязательно ложился ко мне и долго (бабушка периодически кричала: «Алик, уже оставь ребенка в покое!») рассказывал увлекательные истории! Позже, раскрыв книги, я узнавал и Робинзона Крузо и Гулливера и Капитана Блада... А как-то, пойдя за грибами, мы несколько часов просидели на полянке: дед мне рассказывал истории Нового Завета, где Христос предстал передо мной совершенно живым человеком! (Дед умер за год до публикации бессмертной книги «Мастер и Маргарита», с ее пронзительным описанием последнего дня Христа!).

С ним я вообще не чувствовал нашу разницу в возрасте, недаром бабушка всегда говорила деду, что он большой ребенок! Однажды дед, вероятно, рассорился со всеми, и мы уехали встречать Новый год на дачу вдвоем! Это было удивительно. Я к тому времени воспринимал этот замечательный праздник как многолюдное веселье, а тут только он и я, 60 лет и 9! Мы сидели около елки и долго, за полночь, увлеченно о чем-то разговаривали! Сейчас думаю: каким надо было обладать интеллектом, какой широтой души и тонкостью восприятия, чтобы, не притворяясь (ребенка не обманешь!), проговорить новогоднюю ночь со внуком!

А картины! Как он их любил и знал! Все стены его большой квартиры на Новослободской с 4,5-метровыми потолками были увешаны живописью. Периодически приходили какие-то люди, и дед со специальной лампой в руках водил их по комнатам, показывая свою коллекцию — одну из лучших в Москве в те годы. Принося новинки, он с гордостью показывал их всем домашним и всерьез огорчался, когда мы их иногда критиковали! У меня в кабинете до сих пор висит портрет деда, написанный А. Зверевым. Чуть было не написал: принадлежащий кисти А. Зверева! Я был свидетелем, как он создавался. Не было там никакой кисти! Полотно лежало на диване, а Зверев, сегодня великий, а тогда нищий и безызвестный (ничего не меняется в истории искусств!), выдавливал краски из тюбиков прямо на полотно и ваткой размазывал их по холсту! Из более ранних воспоминаний: высокая температура, кровать у стены, я — совсем мелкий — карандашом разрисовываю отполированную штукатурку стен, подражая картинам, на них висящим! Дед тогда похвалил мою манеру письма, а от бабушки сильно влетело!!! Дед был тонкий знаток живописи. Сильно позже я

услышал от очевидцев такую историю:

Как-то он был приглашен к очень известному английскому профессору — по «совместительству» еще и барону! — в замок. Хозяин встретил, и они прошли по длинной галерее, увешанной картинами, увлеченно при этом разговаривая на темы медицины. Позже он спросил деда:

«Я слышал, вы любите живопись? Мы ведь прошли по галерее, где у меня довольно неплохая коллекция английских авторов, а вы даже не взглянули!» Дед невозмутимо ответил:

«Почему же, просто мне было неудобно прерывать наш разговор! У вас там действительно есть и прерафаэлиты, и Лоуренс, довольно редкий Гейнсборо и два отличных Констебля!»

Но не менее увлеченно он любил все красивое: музыку, цветы, женщин! Это потом я стал слышать: у твоего деда были самые красивые сотрудницы! До сих пор уверяют, что окончательное решение о приеме в свою команду он принимал в момент, когда после собеседования соискательница вставала и шла к двери! Тогда же я неоднократно был свидетелем, как, сидя в машине, он увлеченно говорил жене: «Инна, посмотри, какая красивая девушка!» Это теперь я понимаю: ну дед, ну ты как маленький, а еще академик!

Иногда это ему аукивалось: жена (а мне бабушка), стоя посреди столовой, методично била о пол фарфоровые тарелки одну за другой, а он ходил вокруг, разводил руками и виновато говорил: «Ну Инна, ну что ты, ну хватит!»

Но все эти размолвки длились не долго — на деда нельзя было всерьез долго сердиться! Хотя поводы для ревности, наверно, бывали: мне достаточно вспомнить как вспыхивали глаза у почтенных женщин — профессоров, когда они только начинали вспоминать: «Вот когда твой дедушка читал нам лекции!..»

Я слушал эти его лекции в записи, даже пластинка тогда была выпущена! Так свободно и доступно все объяснить, увлекаться, шутить! «Он стремительно входил в аудиторию в распахнутом халате, под которым был видны безукоризненный костюм и белоснежная рубашка, и спрашивал: Так, какая у нас сегодня тема лекции?!» (Из воспоминаний А.С. Бронштейна «Шоссе Энтузиаста»). Его импровизации на клинических разборах вошли в легенду, на них приезжали врачи со всей Москвы!

Вообще меня не перестает до сих пор удивлять, КАК по сей день вспоминают деда! Как большого ученого-да, конечно! Как выдающегося

врача — да, конечно! Но это как уважительный кивок в сторону парадного портрета. Но никто не остается равнодушным, вспоминая его как человека! Представляете — те, кто его знал и общался, любят его по сей день, спустя почти 50 лет! Какое же он произвел на них светлое впечатление в дни их юности!!!

Его воспоминания очень долго не публиковали (недаром говорят, что мемуары не надо публиковать, пока люди, в них упомянутые, еще живы!). А я впервые прочитал их еще в детстве, уже, правда, после дедушкиной смерти... Я до сих пор представляю Красный Холм (его родной городок в Тверской губернии) таким, как я его тогда увидел на страницах воспоминаний. Я был там лишь однажды, в глубоком детстве, и никогда больше. Отчасти и потому, что не хочу разрушать тот чудесный образ, созданный моим воображением, когда я читал проникнутые такой любовью к этим местам строки. Я влюблен с среднерусскую природу, я хорошо знаю подобные городки. И я представляю, что где-то есть дедушкин городок, где торговые ряды до сих пор торгуют квасом, калачами и медом, а не китайским ширпотребом, где до сих пор звонят колокола и по воскресеньям все идут в церковь, и белый— белый снег, и сани, и запах сена, и не было ста лет войн, революций, разрушений и восстановлений (последствия часто сопоставимы!). Хорошо понимаю Шагала: приехав перед смертью в СССР, он так и не решился посетить родной Витебск...

Недавно я вновь открыл для себя мою когда-то любимую Грузию. Много лет мои пути туда никак не пролегли. А тут политика, взаимное охлаждение и даже война! Я полетел с друзьями в Тбилиси — и сразу как толчок в сердце: как я так много лет мог жить без этого города?! Какое там охлаждение, какое отчуждение?! Красивый (ох, какой он стал красивый!), гостеприимный город, где и русским, и украинцам, и казахам — всем, кто с открытым сердцем и душой — всем рады! И сколько же великих людей самых разных национальностей вырастил этот город! Жил там и мой дед: первые осмысленные друзья, первая юношеская любовь! Его гимназия и сейчас красивое здание на Руставели. Я зашел туда с сыном. Был воскресный день, к нам вышел кто-то из учителей и повел показывать гимназию... Пустые коридоры, гулкие шаги (воскресенье!), так и представлял, что вот по этим коридорам бегали Н. Гумилев и чуть позже мой дед... Потом увидел стенд с фотографиями недавних событий и понял, что воображение мое убежало слишком далеко: не осталось здесь ни тех стен, ни тех лестниц. Все было сметено артиллерийским огнем в очередную революцию, остался только фасад. Потом гимназию восстановили (помогала в этом и Москва!), висят памятные доски с

именами достойных и всемирно известных учеников. Один из них написал: «та страна, что могла стать раем, стала логовищем огня...» Мы вообще умнеть, учиться будем? Я имею в виду людей вообще! «Во время авианалета самолетов НАТО на Белград разбомблено китайское посольство», «российские танки вышли к Гори», «С украинской стороны несколько снарядов залетело на нашу территорию», «США ввели дополнительный воинский контингент в Прибалтику, что бы укрепить эти страны перед лицом возможной российской агрессии», — это не бред отравленного мухоморами, это наши новости! Ну хоть гимназию восстановили...

Дед достаточно критично относился к Советской власти, все время ворчал про «бездарных партийных бонз».

Особенно его раздражал Хрущев — я хоть и маленький был, но помню, как он злился, показывая из окна машины на его портреты — «мелочный, ограниченный, завистливый»...

У моего дедушки-академика был родной брат (для меня «дядя Левик»), тоже академик, но не по медицине, а по физике. Он жил и работал в Ленинграде и когда приезжал по делам в столицу, приходил в гости. В один из таких приездов мы были на даче и сидели за чаем на террасе. Вернее они сидели, а я ковырял что-то в земле рядом (было мне лет семь) жуков каких-то искал! С террасы доносилась беседа братьев-академиков, и вдруг я услышал фразу: «А я уже стал было Ленина оправдывать». Меня как пружиной подбросило! Я взбежал на террасу и закричал (очень хорошо это помню!): «Да как вы можете так говорить! Кто вы такие, чтобы Ленина осуждать или оправдывать?! Ленин — вождь, и вы его обсуждать вообще не имеете права!» И, не дожидаясь ответа или реакции, удалился с террасы!

Что-то похожее повторилось и чуть позже: мы ехали с дачи, а в то время на въезде с Волоколамки на Канале имени Москвы над автомобильным тоннелем красовалась выложенная камнем надпись: «Слава КПСС!» Дед сказал: «Это как если бы я написал сам себе: «Слава Мясникову!» Тут я не вытерпел: «Ты — сам по себе, ну — академик, и что? А здесь — партия, множество людей, которые строят коммунизм! Как можно не понимать такие простые вещи!»

Про Сталина разговаривать, видимо, было у нас в семье не очень принято, во всяком случае я это не помню. Какая-то атмосфера осуждения была — видимо, для моего свободолюбивого деда с барскими замашками сама идея диктатуры была неприемлема. Однако, когда недавно посетив в Гори музей Сталина, я увидел перед входом в залы одну цитату, я сразу ее узнал!

«Люди смертны. Умру и я. Каков будет суд истории и народа? Были ошибки. Но ведь были и достижения! В ошибках, естественно, обвинят меня! Много мусора нанесут на мою могилу, но настанет время, и ветер Истории сметет ее!»

Эти слова И. В. Сталина я уже слышал когда-то от деда... Вот Его «мелочным» он бы никогда не обозвал!

Как-то на уроке литературы нам задали приготовить домашнее сочинение на основе какого-то эпизода из военного прошлого наших родственников — такие были тогда у всех (конечно, помните у Высоцкого: «Если Родина в опасности — значит всем идти на фронт!»). Я, конечно, побежал «трясти» деда, я же видел его фотографии в форме морского офицера! Он стал рассказывать про поездки по кораблям, про госпитали. «Это не то, перебил я его, — расскажи какой-нибудь эпизод, где ты жизнью рисковал!» Дед терпеливо рассказал про бомбежки, как взрывной волной выбросило в воду, но мне же мало! Не то: где атаки, где стрельба, где тараны?! Я испытал огромное разочарование, когда узнал, что дед никого не застрелил, не потопил ни один корабль и даже из пушки сам не стрелял! Так тогда домашнее задание я и не написал, было стыдно за такого «небоевого» деда. И как теперь я горжусь его спокойным мужеством, которое сквозит из всех его строк, посвященных той Великой Войне!

Институт терапии, который дед создал, я застал тогда, когда он уже переехал в Петроверигский переулок в Москве. (Знаменательно, что там рядом когда-то был дом Боткина.) Там и сейчас стоит памятник деду — бюст работы скульптора Оленина. Самому деду этот бюст никогда не нравился — «слишком монументальный!». На монумент и пошел... У меня с этим местом связано многое: детство, когда я постоянно крутился в кабинете деде, потом и отца. В том же кабинете, превращенном в палату, отец и умер от рака почки. Это здание точно войдет, да уже вошло, в историю медицины. Там родилась и развивалась одна из самых передовых тогда школ медицины, лучшая, по признанию мирового кардиологического сообщества! Ведь именно деду тогда, а значит, и его сотрудникам и ученикам, была присуждена самая престижная в кардиологии премия «Золотой стетоскоп»! Тогда за его труд в области атеросклероза он был представлен на Ленинскую премию, но по каким-то политическим мотивам и закулисным действиям (беспартийный, независимый, ершистый, гордый — недругов тоже хватало!) премию не дали. Это было очевидно несправедливо, получили же ее авторы значительно более слабых работ! Дед виду не подавал, но я-то знал, что он переживает! И вот после этого — решение Международного общества кардиологов: присудить ЗОЛОТОЙ



СТЕТОСКОП ему вместе с такими легендами кардиологии как американец Поль Уайт и француз Камил Лиан! Пришло множество поздравительных телеграмм, дед вынул одну из кучи и показал мне. Там было всего два слова: «Справедливость восторжествовала!»

А потом было 19 ноября 1965 года. Пятница, это день, когда меня на выходные отдавали деду. Мы с мамой вошли в подъезд, а консьерж нам и говорит: Александр Леонидович умер, вот только «Скорая» уехала...» Помню, как в лифте, глядя в побелевшее, окаменевшее лицо матери, я робко сказал: «Может, еще не умер, может, только ранен?» (Дети ведь болезни себе как-то не очень представляют!). Обширный инфаркт. Говорят, когда он впервые почувствовал неладное, его пытались уложить в больницу. Он наотрез отказался — он, почти Бог в медицине и сам на койке? С уткой?? Ну нет! Хотели зайти по-другому: на обходе показали ему его же кардиограмму — как бы проконсультироваться, что нам делать. «Как что? — сказал дед, только взглянув, — тут прединфарктное состояние, срочно госпитализироваться!» Узнав, что это его пленка, очень сердился и говорил, что нельзя всех мерить одной меркой... И в несчастное для него утро встретился с каким-то коллекционером, опознал в предлагаемой картине подделку, разволновался и упал сразу, как тот ушел... Ровно за три месяца до этого мы справляли его 66-летие. На столе поставили табличку 66. Потом перевернули — 99! Не получилось...

Я не пошел на похороны — мама решила, что я не выдержу. Я написал ему записку, которая и сейчас с ним. «Я тебя никогда не забуду» — было написано там...

Почитайте эти воспоминания. Они не были написаны для публикации, иногда текст перегружен фамилиями, иногда перепрыгивает через события. Однако вы почувствуете вкус времени, увидите, что любовь, верность, патриотизм, пытливость ума — это всегда было свойственно людям, а раз так — то никто этого и отнять не сможет! Давайте будем оптимистами, как мой замечательный дед, давайте уважать нашу историю — тогда и будут уважать нас самих!

*Ваш доктор Мясников*



## Детство. Красный Холм

Родился я 6 сентября старого стиля 1899 года, следовательно, все-таки в прошлом столетии (не потому ли сохранились во мне на протяжении жизни некоторые понятия и вкусы прошлого века?) в городе Красный Холм Тверской губернии.

Мой отец, доктор Леонид Александрович Мясников, был, как все знавшие его считали, человек выдающийся по своим интеллектуальным качествам и личному обаянию. Он родился в том же городе в 1859 году в довольно зажиточной купеческой семье.

Его отец, мой дед, Александр Иванович, торговал не столь успешно «красным» товаром (ткани, галантерея); его обворовывали приказчики; сам он был человеком добродушным и весьма религиозным — все годы был церковным старостой, построил на свои деньги богадельню, возвел новый собор около кладбища. Я не застал деда в живых, но в детстве слышал, что он оставил о себе хорошую память.

Мать отца, моя бабушка Анастасия Сергеевна, из мещан того же города, была энергичной и умной женщиной. После смерти мужа она жила одна и умерла уже после революции, в 1920 году (85 лет от роду, во сне, при жизни «ничем не болела»). Была она проста, приветлива, но, говорили, немного скуповата. Впрочем, мне она на праздники и на именины всегда делала прекрасные подарки (как и другим внукам и внучкам).

У родителей моего отца были еще дети: двое сыновей и одна дочь. Всем детям родители предоставили возможность получить широкое образование по их выбору. Не было обычного для тогдашней жизни нажима задерживать детей дома, поставить за прилавок для продолжения «дела». Решающее значение при этом имела судьба старшего сына — моего отца. В 1873 году он отправился учиться в Москву, во Вторую гимназию (это был первый в истории горожан Красного Холма случай; до тех пор отправлялись в гимназию только дети дворян, помещиков). Учился отец весьма хорошо. На каникулы приезжал домой, привозил с собою колбы и реторты для занятий химией и ворох книг — Гёте, Гейне, Байрона, Шекспира, Писарева, Добролюбова; он собирал молодежь и взрослых и читал им их, а по вечерам любители разыгрывали спектакли — «Разбойники» Шиллера, «Гроза» Островского... В 1881 году Леонид Александрович поступил в Московский университет на медицинский факультет.

По примеру старшего поступили в дальнейшем и младшие дети: Александр Александрович Мясников окончил юридический факультет Петербургского университета, числился помощником присяжного поверенного, но дел не вел; вскоре он стал проявлять признаки душевного заболевания и поселился у матери в Красном Холме. Я застал этого «дядю Амбара» — так прозвали его мальчишки за высокий рост. Это был добрейшей души человек, принимавший к сердцу жестокости (хотя лично его и не касавшиеся) купеческого и мещанского уклада жизни городка и объявивший «им» (то есть различным лавочникам) войну, хотя никто, конечно, на «сумасшедшего» не нападал (он строил на чердаке своего дома батареи из пустых бутылок для «обороны», пускал какие-то «лучи» для наказания, по его, как юриста, мнению, «преступников»). А в своем кабинете дядя собрал библиотеку по общественным и историческим предметам, в том числе коллекцию революционных подпольных изданий, начиная с газет «Земля и воля» и «Народная воля» и кончая сочинениями Ленина; он снабжал ими левонастроенных горожан из среды учителей, крестьян и рабочих.

Младший брат моего отца, Сергей Александрович, окончил историко-филологический факультет Московского университета; он занимался сперва земской деятельностью (был председателем уездной земской управы в Весьегонске — Красный Холм был заштатным городком), а затем переехал в Москву. Наконец, сестра отца, Ольга Александровна, окончила Бестужевские курсы в Санкт-Петербурге<sup>[1]</sup>; вышла замуж за земского врача Н. П. Петрова (одного из толстовцев), они жили в Клину.

Леонид Александрович, поступив на медицинский факультет, успешно занимался, и по окончании университета в 1886 году Захарьин предложил ему остаться ординатором клиники. Не приходилось сомневаться в блестящей научной карьере, которая, казалось, была открыта перед молодым врачом. Однако отец принял другое решение; то был период, когда прогрессивно настроенные молодые люди, получив высшее образование, считали своим долгом «идти в народ», «отдать ему долг». Леонид Александрович был к тому же первым краснохолмцем, окончившим университет.

По приезде домой Леонид Александрович сразу же открыл бесплатный прием больных. В дальнейшем он стал взимать плату в двадцать копеек с первичного больного, так как решил на свои средства открыть небольшую больницу (городская больница не справлялась с нуждами больных и не могла получить средства для своего расширения).

В 1890 году больница была открыта в нашем каменном доме (где я

потом родился) — на десять копеек, с оплатой питания и лекарств по тридцать копеек в день. Конечно, больница поглощала средств во много раз больше тех девяноста рублей, которые получались из оплаты лечения больными; мой отец получал нужные суммы из своей частной практики по городу, их он и тратил на больницу.

Мой отец был исключительно популярный врач. Доверие к нему больных было безграничным. «Батюшка Леонид Александрович как скажет, так и сделаем» или «так и будет» — таков был обычный рефрен пациентов. Первый десяток лет своей деятельности он был типом земского врача-универсала — кроме внутренних болезней, занимался акушерством, гинекологией, хирургией (он был первым сделавшим в нашем округе кесарево сечение). Отец живо следил за медицинскими новостями, выписывал много книг, несколько журналов. В более поздний период он стал ограничивать себя двумя специальностями: внутренними болезнями и офтальмологией. В 10-х годах этого столетия он дважды предпринял поездку за границу — в Берлин к профессору Силексу и в Вену к профессору Фуксу; в их клиниках он учился современной офтальмологии. Как к специалисту-окулисту, в 10 — 20-е годы к нему в Красный Холм стали съезжаться больные из Тверской, Ярославской и Новгородской губерний.

Я помню многочисленные подводы крестьян, заполнявшие нашу улицу с раннего утра перед амбулаторией. Отец в развевающемся белом халате быстрыми шагами появлялся в доме, чтобы отыскать нужный рецепт или инструмент или же на скорую руку проглотить стакан молока с булочкой (обед также шел в спешке). Леонид Александрович был жизнерадостный, необычайно энергичный, подвижный человек крупного телосложения, с некоторой склонностью к полноте. Его плешивая голова с мягкими бледными волосами, его широкое мясистое лицо, серые глаза и небрежные усы с бородкой — все было типично русское.

Леонида Александровича интересовала не только медицина. Он имел непреодолимую склонность к общественной деятельности. Не принадлежа к какой-либо политической партии, отец считал себя социалистом и сочувствовал левому течению в общественной жизни страны. В нашем доме часто бывали различные политические деятели тверского земства. Как известно, тверское земство было вообще довольно передовым, хотя и возглавлялось либералами типа Петрункевича<sup>[2]</sup> и Родичева<sup>[3]</sup>. Леонид Александрович был гласным губернского земства. Он участвовал в приеме депутатов от земств, устроенном после смерти императора Александра III новым царем Николаем II. Тверское губернское земство тогда подало царю

петицию, в которой высказывалось за необходимость существенных реформ для России, в частности свободного самоуправления на основе всеобщего избирательного права. Молодой царь (маленькая фигура с бледным лицом в форме гусарского полка), принимая в Зимнем дворце депутатов, выстроенных в ряд, произнес настолько длинную речь, что все удивились, как он мог ее заучить наизусть, и петиция тверских земств получила ответ — пресловутую фразу, что «бессмысленные мечтания некоторых земств при существующем строе осуществиться не могут»<sup>[4]</sup>.

Позже, в годы революции 1905 года, собирались у нас и подпольные революционные деятели всех оттенков. Я помню, они много спорили; это были молодые учительницы, рабочие и приезжавшие откуда-то парни в студенческих фуражках и поношенных тужурках. Рабочие были из железнодорожных мастерских. Были еще фельдшеры и фельдшерицы (врачи из округа появлялись только в других собраниях — с более интеллигентным, но менее революционно настроенным составом).

К уважаемому доктору, конечно, заезжали и либеральные (и нелиберальные) дворяне из своих усадеб. Я помню, как Федор Измайлович Родичев вступил со мной, шестилетним мальчишкой, в дискуссию по поводу распеваемого всеми нами на дворе стишка, смысл которого заключался не столько в словах, сколько в настроении: «Что я вижу, что я слышу, Николай висит на крыше!» Он сказал, что царь, и по его мнению, плоховат, но едва ли его все-таки надо вешать. Возможно, этот важный и симпатичный человек говорил в действительности что-то другое и более умное, но так запомнилось.

Мой отец был избран в 1899 году городским головой Красного Холма и на протяжении последующих десяти лет энергично занимался благоустройством города. Им был открыт летний театр, а позже — обширный Народный дом, в котором ставились спектакли и концерты (силами любительских кружков и приезжими на гастроли; позже, в период революций, в Народном доме устраивались сходки и общественные собрания). Средства были собраны по подписным листам среди горожан.

Вообще в эти годы краснохолмская публика любила театр и музыку. Молодежь, особенно в каникулярное время, постоянно была занята на репетициях, открылось много талантливых певцов, в дальнейшем ставших артистами столичных театров. Особенный же энтузиазм встречали постановки драматических произведений общественного содержания: «На дне», «Ревизор», «Дети Ванюшина», чеховские пьесы. Пожалуй, менее всего нравился Островский с его типами из купеческо-мещанского сословия, которым Красный Холм еще кишел; нравы, впрочем, уже

значительно смягчились, кит-китычей в маленьком городе оставалось все меньше и меньше, но те, кто еще остался, хотели выглядеть более просвещенными, и им не доставляло удовольствия лицезреть себя в зеркале Островского.

Я не застал в Красном Холме среди купеческо-мещанского населения персонажей из Островского. Великий драматург описывал другой период; к новому столетию даже торговцы стали рядиться в розовые одежды «демократов» и «народа». Их отпрыски гнушались делами отцов, стремились в средние и высшие учебные заведения, а если этого сделать не удавалось, шли в учительство, устраивались на службе кто как мог. Еще можно было продавать книги или их переплетать (книжная лавка не считалась лавкой). Молодежь расшатывала и семейные устои (выходила из повиновения родителей, покидала семью, вступала в шокирующие любовные связи), некоторые опускались, спивались (пьянство было весьма распространено). У меня, мальчишки, сложилось впечатление о свободной, романтической, какой-то возвышенной настроенности молодежи начала века, что, конечно, отражало тот общий идейный подъем, который переживала наша страна в ожидании великих революционных событий.

Отец осуществил важное для Красного Холма дело: после долгих хлопот в 1901 году была открыта железнодорожная ветка к городу от станции Сонково (Московско-Виндаво-Рыбинской дороги, между городами Бежецк и Рыбинск). Когда после торжественной встречи на платформе первого поезда с железнодорожным начальством состоялся официальный обед в Городской думе, Леонид Александрович, как городской голова, в своем выступлении сказал, что «строителями железной дороги были не только инженеры, но и рабочие», и предложил поднять бокал за народ. До того ездили до «чугунки» на Бежецк (35 верст от Красного Холма по проселочному тракту), теперь поезд ходил один раз в день в составе четырех-пяти вагонов третьего класса и одного микст (купе второго и первого классов). Колеса сильно постукивали (я не помню, чтобы где-нибудь они так еще стучали), и этот звук заставлял приятно биться сердце: вы видите на горизонте краснохолмские соборы — скоро-скоро дом!

Было осуществлено еще одно нужное для города мероприятие. Как и в других маленьких городишках России, дома были по большей части деревянные, и пожары часто уничтожали то одну, то другую улицу. Я помню эти пожары: море огня, небо заволкло черным дымом, весь город сбегается на жуткое, но красивое зрелище, кто-то стремится чем-нибудь помочь, другие просто глазают, луцат семечки и даже флиртуют с девицами. Город не имел пожарного депо. Усилиями городского головы

было создано Добровольное пожарное общество. Многие уважаемые жители города вступили в него членами, должны были поставлять средства, участвовать в учениях, дежурствах по городу. Число пожаров значительно сократилось.

Можно указать еще на открытие Леонидом Александровичем женской прогимназии (которая позже, перед войной 1914 года, стала гимназией). До этого дети должны были отправляться в соседний Бежецк, в Тверь, Санкт-Петербург или в Москву. Отъезд по окончании каникул и приезд молодежи на каникулы были вообще очень заметными в жизни Красного Холма днями — не только для самой учащейся молодежи, но и для ее родителей и всего города. Я помню смешанное чувство — грусть расставания и радость ожидания независимой, самостоятельной жизни школьника без родительского глаза. Приезд же на каникулы — всегда радостная пора. В эти моменты мы особенно любили наш город. Школьникам и студентам выделяли особые вагоны. В них было весело, заводилась дружба и вспыхивали первые искры любви.

Впрочем, я отвлекся от деятельности отца. Но не писать же о строительстве мостов, введении керосинокалильных фонарей и тому подобных вещах, к которым приложил руку энергичный доктор?

Особенно же отец любил просветительные лекции (по биологии, медицине). Он читал их молодежи, учительницам, каким-то неопределенным юнцам, стекавшимся в амбулаторию смотреть парамеции и амебы под микроскопом.

Наибольшее внимание он уделял дарвинизму, а также учению о наследственности. В то время лекции по биологии имели популярность (под влиянием Писарева). В небольшом городке, жители которого традиционно верили в Бога, набожно крестились при виде церкви, читать об эволюции животного мира, о происхождении человека от приматов (обезьян) можно было только человеку большого общего авторитета. Читал Леонид Александрович отлично; казалось, он находил в этом выход тех своих склонностей, которым он сам не счел нужным дать ходу в свое время, когда перед ним открывалась профессорская карьера.

Мой отец был женат трижды. В первый раз он женился еще студентом, в Москве, на Елене Криденер (племяннице барона Криденера, родственнице известного художника Перова; Перов написал с нее портрет маслом); это была красивая, совсем еще юная девушка; через год после замужества она умерла от туберкулеза, оставив сына Евгения. Второй раз отец женился на особе с высшим образованием, Вере Ивановне Завельевой, детей у них не было; жена была с претензиями на светскую даму, завела



выезд, занималась благотворительными пустяками. Через десять лет они расстались. Наконец, Леонид Александрович женился на будущей моей матери, Зинаиде Константиновне Григорьевой.

Моя мать, Зинаида Константиновна, родилась в 1874 году в Санкт-Петербурге. Отец ее был сторожем Верхнего Петергофского парка, любил выпить; жену свою обижал; хозяйство вела старшая дочь Елена, она же воспитывала и младшую свою сестру Зинаиду. Каким-то образом Елене удалось устроить сестру в Кронштадтскую гимназию. После гимназии Зинаида Григорьева поступила на Рождественские медицинские курсы в Петербурге и окончила их, став «лекарской помощницей» (нечто среднее между фельдшерницей и врачом), после чего попала на службу в 1895 году в краснохолмскую больницу.

Приезд привлекательной двадцатилетней медички из Петербурга в Красный Холм был встречен с энтузиазмом — поднялась волна любительских спектаклей, музыкальных вечеров и т. п. Но молодая девушка оказалась слишком занятой организацией больничного дела, порядком запущенного, отказывалась кататься на лодке или являться на танцы; отвергла она также и полдюжины женихов (один из них в связи с этим даже пробовал застрелиться, но, и счастью, неудачно).

Вскоре, на почве больничных забот, она подружилась с доктором — городским головою, а в дальнейшем они поженились (после длительной истории с разводом с Верой Ивановной, потребовавшим разрешения Святейшего синода). Естественно, Зинаида Константиновна сделалась прямой помощницей своему мужу по медицинской части. Правда, появившиеся вскоре дети стали все больше и больше занимать ее внимание, тем более что она оказалась исключительно преданной детям матерью.

Несмотря на горячую ее любовь к детям, постоянные заботы о них, превосходные условия, которыми она их окружила (отдельные комнаты, бонны, пичканье вкусной едой, страхи — не холодно ли, не простудился ли, не промочил ли ноги и т. п.), из пятерых детей трое умерли: одна, старшая Леля, — в год моего рождения, от острой диспепсии, вторая Леля, моя подруга по ранней поре детства, — от туберкулезного менингита и, наконец, младший брат, Леник, — также от милиарного туберкулеза (он был младший, веселый шестилетний мальчик, писал уже мне письма, каждое из которых почему-то заканчивалось словом «колец»). Такой трагический оборот в жизни семьи наложил тень грусти и пессимизма на мою мать, и хотя она продолжала быть деятельной, перенесенные утраты все же придали ей нервный, чувствительный характер и вместе с тем

обострили привязанность к двум сыновьям, оставшимся в живых.

Смерть детей от туберкулеза в семье просвещенных медиков теперь кажется странной, но в то время это было обычным явлением. Тогда даже не было методов ранней диагностики туберкулам в виде рентгеноскопии, не говоря уже о стрептомицине, появившемся через несколько десятков лет. Я помню, как много чахоточных молодых девушек посещали амбулаторию моего отца; он назначал креозот, тиокол, рыбий жир; богатым можно было советовать ехать на Южный берег Крыма, бедные должны были лечиться сосновым воздухом в деревне. «Усиленное питание сливочным маслом» («для растворения восковидных капсул коховских палочек»), питье сливок (со столетником и медом или без оных) — все это не то, думал тогда мой отец, придет время, и появится химиотерапия. Эх, если бы это химиотерапевтическое средство так ужасно не запаздывало! И дети были бы живы, и эти милые гаснущие девушки, а также эти, в общем, еще довольно крепкие мужчины, у которых вдруг пропадает голос, — и они беззвучно сипят о чем-то своей туберкулезной гортанью... Ведь все они умрут через год-полтора.

Отец очень уважал учение об иммунитете, ведь в студенческие годы он застал начало «бактериологической эры» медицины и был твердо уверен, что в скором времени будут найдены средства, устраняющие любую инфекцию. А между тем в то время на этот счет многие иронизировали. Так, среди его учителей в университете еще был профессор-хирург, который заставлял санитаря стоять у операционного стола с полотенцем и отгонять от раны «этих самых мукроров», и только Склифосовский в Москве впервые стал последовательно применять правила антисептики и асептики.

Отец читал работы Пастера, Листера, Коха, Эрлиха, Беринга, Мечникова и вывесил их портреты в своем кабинете. Он был убежден в том, что скоро найдут химиотерапевтическое средство против туберкулеза, а еще раньше — прививки против него. «А не думаете ли вы, — спрашивал гостивший у нас проездом известный врач-гигиенист Д. И. Жбанков, — что дело не в средстве и не в прививках, а в условиях жизни?» Отец мой не отрицал значения социальных условий в распространении туберкулеза (скверных, скученных жилищ, темных и сырых рабочих помещений, недоедания). «Ну а мои дети? — думал он. — Ведь они жили в отличных условиях». Возможно, случайное заражение и наследственность. Вместе с матерью они откапывали наследственные корни в отношении туберкулеза. Ничего — за исключением какого-то Филиппа, брата матери, которого она никогда не видела в глаза. Филипп был капитаном дальнего плавания, будто

бы заболел туберкулезом в южных тропических морях и где-то там умер (стоило столько молиться «за плавающих и путешествующих», как нас заставляла нянька на сон грядущий, напоминая об абстрактном дяде Филе).

Вообще говоря, отец мой, как и большинство врачей начала века, следовал взглядам А. А. Остроумова и его учению о наследственности и среде. Во время своих поездок в Москву он всякий раз посещал клинику замечательного клинициста на Девичьем поле (ту самую, которой последние двенадцать лет я имею честь руководить). Был ли он лично знаком с профессором, не знаю (отец был, как он сам себя шутливо называл, немного «пошехонцем»). Еще более созвучны были его земские взгляды с известным сочинением «Гибнущие деревни» А. И. Шингарева<sup>[5]</sup> (члена Государственной думы, по образованию врача). С восторгом Леонид Александрович отзывался также о чеховских «Палате № 6» и «Путешествии на Сахалин». Обычно он участвовал в Пироговских съездах врачей (которые носили характер общих научных съездов врачей всех специальностей, но с уклоном в сторону санитарно-гигиенических, эпидемиологических, социально-медицинских вопросов). На последнем съезде в Тифлисе он выступал по общим вопросам, и тифлисские газеты напечатали очень теплое обращение группы врачей в его адрес («Привет Л. А. Мясникову»).

Зимой в Красном Холме было уютно: на улице — глубокие сугробы снега, под тяжестью которого, казалось, покосились крыши; мороз украсил ставни фантастическим узором, деревья стоят в торжественных оковах инея. Мы ходили кататься на коньках на реку Неледину; иногда катанье происходило под звуки духового оркестра; тут — лучшее место для взрослых по части флирта или для начала романа, как это вытекало из пронизательных наблюдений нас, мальчишек (пусть маленьких, но видно же!). А нам, конечно, наплевать — катаемся, и все, ябедничать или сплетничать не станем. А дома — жарко натопленная лежанка в детской, дворник дядя Павел принесет еще охапку березовых дров, а завтра он нас покатает на Серко. Вот скоро наступит Масленица, тогда уж покатаемся как следует! Все выедут; сани украшены коврами, лошади завиты в ленты, целые дни будет стоять звон бубенцов и веселый хохот. Тут уж пойдет блинный психоз. Блины, блины — у всех блины, с икрой, семгой, балыком и водка для взрослых и прочие бутылки с вином, иногда действительно довольно вкусным (мне, например, нравилась запеканка или немножко рябиновой наливки — грузинские сухие вина стали нравиться позже, только по ходу профессорской карьеры). Сколько можно съесть блинов за один присест? В известном чеховском рассказе сообщается о том, как

человек, евший блины, умер (но неясно, от блина ли или просто смерть подоспела). В лекциях Боткина блины фигурируют как этиологический фактор желтухи («бродила», введенные с массой теста). В Красном Холме в те годы один лабазник на Масленице съел подряд двенадцать блинов, а на тринадцатом умер; но говорили, что, возможно, в этом случае причина — не блины как таковые, а то, что это был тринадцатый блин, цифра несчастливая. Судьба!

Все-таки более приятны, романтичны другие дни — рождественские праздники. Мы еле могли дождаться Сочельника. Залитая огнями нарядная елка и веселье хороводов и игр! Впрочем, все это быстро надоедало — и на очередные «елки» у знакомых ходить уже не хотелось. Совсем как в стихотворении Глинки<sup>[6]</sup>, которое любил повторять мой отец:

Странная вещь, непонятная вещь,  
Отчего человек так мятежен...  
Получил, что желал, —  
И задумчив уж стал, —  
Да чего же еще он желает...

Но — дух стяжательства! — рождественские подарки — это действительно нечто. Вот тебе и вся романтика! И все же проснешься «в ночь перед Рождеством» — еще чуть брезжит синева рассвета, и ощупываешь на кровати, на столике и стульях дары балованным детям. Как хорошо! Какое чудное утро! Как сверкает утренний снег! Вот жизнь. И побежишь, ступая по полу босыми ногами, в комнату матери.

Но всего больше мы любили дни Пасхи. Весенний праздник! Уже наступают светло-синие блики марта. Красивы эти голубые тени голых деревьев на снежном насте, эти сверкающие на солнце в небесной синеве робкие лужицы, ночью сковываемые чистеньким льдом, а днем дающие начало талым ручьям! Особенно же милы целомудренные березы с их беспомощными веточками, тонкая сеть которых как бы упоена весенним солнечным воздухом. Да, это всегда ощущается как возрождение — даже в наши старые годы. И всегда думаешь: как хорошо, что опять ощущаешь эту радость жизни, — сколько раз еще этому суждено повториться? Впрочем, хорошо, что ты этого не знаешь.

Пасха бывает ранней и поздней. Я всегда любил раннюю. Распутица. Лужи. Утренние заморозки. Грачи прилетели. Земля, освобождающаяся от снега. Разливы рек, сбрасывающих оковы льда. Ледоход как символ

свободы и бурного движения вперед, и т.д. и т.п.

Эх, милое детство, Красный Холм! Сквозь пелену времени я различаю обрывки первых восприятий. Это ощущение присутствия обоих родителей.

С няньками я дрался, и до сих пор у меня на голове маленький шрам — бежал с кулаками за Грушей (девушкой, которая навсегда сохранила с нашей семьей дружескую связь, уже будучи замужем, а потом бабушкой): она тогда легонько толкнула меня, я упал, ушибся о камень, и под аккомпанемент криков «убился, убился!» меня потащили в перевязочную, где отец, приведя меня в чувство, зашил на голове рану. Но старая Лизавета Ферапонтьевна (об одном глазе) умиротворяла меня замечательными сказками. Вот ведь как это явление, пушкинские Арины Родионовны, характерно для русской жизни!

Потом пошли фрейлейн из Риги или Пернова — хорошенькие немки, одна из которых нашла себе в мужья краснохолмского учителя. Мы выучились болтать по-немецки (к сожалению, потом, когда язык стал нужнее, познания наши частично стерлись из памяти). Отец также учил язык, твердил, едучи в тарантасе (к какому-нибудь больному или в «усадьбу») и захватив меня с собою, шиллеровские «Heute muss die Glocke werden»<sup>[7]</sup> или гётевские «Wer reitet so spat durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind»<sup>[8]</sup> и шутливо говорил, что за каждое выученное слово на том свете ему простится какой-либо грех. Я спрашивал, много ли у него грехов? Он становился серьезным и заявлял: «Грех — такая жизнь, которую мы ведем при общем жалком состоянии народа».

Я отца слушался, притом совершенно автоматически, от одного его присутствия или его доброго взгляда. А на мать раз бросился разъяренный. Она, видите ли, однажды вечером ушла куда-то в гости, на костюмированный бал. Я не мог уснуть; когда она вернулась и услышала, что я не сплю, ей пришла фантазия показаться мне в маске (матери было тогда 30 лет). При виде ее я испугался, заревел и накинулся с криком: «Зачем ты меня напугала! И вообще, почему ты уходишь куда-то?!» Так рано проявились во мне черты «тиранства», по крайней мере в отношении любимых мною, а особенно любящих меня людей. Дразнил я и одну из фрейлейн, распевая: «Месяц пыл, Лайба плыл, а я очень рада был» и какую-нибудь иную чепуху, а фрейлейн Эльза грустно садилась за рояль и наигрывала «Am Strande», восклицая: «Ach, meine schöne Riga! Ach, meine liebe Riga».

Девчонок, в том числе своих двоюродных сестер, я тогда еще не

признавал, мы водились с мальчиками. Приятели появились, как только меня определили в школу (городское училище). Я научился читать еще пяти лет дома (как будто, насколько помню, по заглавиям газет и журналов — «Русские ведомости», «Русское слово», «Речь», «Нива» — и по детским книжкам с картинками).

В училище наука шла мимо, да я и знал больше того, что преподавали. Зато завелись приятели и неприятели. Мы устраивали целые войны между одной и соседней улицами, между смежными кварталами и т.п. Мальчишки Ширшиковы были исконными врагами. Дрались на рогатках, но как будто все же не попадали друг другу в физиономию. Борьба врукопашную была эффективнее, и наши тела периодически разукрашивали синяки.

Иногда внезапно наступал мир, и длинными весенне-летними светлыми вечерами обе стороны играли в лапту. Зимой возобновлялись сражения в снежки — в них принимали участие и девицы. Нам нравилось нападать именно на них, вlepлять им в голубые глаза или в пунцовые губы ком снега или насыпать снега за русые косы, за шею, туда поглубже. После этого перед сном я живо видел перед собою какую-нибудь раскрасневшуюся девочку и повторял неизвестно от кого услышанную фразу: «Так прекрасен женский взгляд».

Красный Холм, городок с 3 тысячами жителей, расположен на широком холму на берегу речки Неледины, впадающей в верстах трех от нас в реку Могочу (приток Мологи, которая, в свою очередь, впадает в Волгу у Рыбинска). У места впадения рек стоит старинный мужской Антониев монастырь.

Судя по случайным находкам (брали песок для строительства моста), холм был обитаем с доисторических времен. Найдены были каменные топоры или молоты, сделанные из доломитовой породы или серого гранита. Очевидно, здесь была стоянка людей каменного века. Можно думать, что в те отдаленнейшие от нас времена люди, поселившиеся на холме при речке Неледине, могли хорошо промыслять зверя в окружавших этот холм лесах и речным путем выбираться на широкую водную дорогу — Волгу. В то же время их стоянка была в укромном месте, вдали от больших дорог, на которых обычно было небезопасно. В более позднее время местность довольно густо заселялась, и к концу XV века, когда был основан Краснохолмский Антониев монастырь, она была уже покрыта селами и деревнями, часть которых вошла в состав монастырских вотчин. Эта местность причислялась к Бежецкой пятине Новгородской области. Позже, в княжение Василия Темного, сюда прибыл поступивший на службу к московскому царю знатный литовский вельможа Станислав Мелецкий; он

принял православие. К внуку этого боярина Афанасию Нелединскому-Мелецкому пришел из белозерских монастырей старец, преподобный Антоний, и в 1461 году был заложен монастырь, который быстро стал обогащаться вкладами и землями. Около 1500 года сын великого князя Ивана, Симеон, пожаловал монастырю находящееся рядом село Преображения Спасова да Животворные Троицы на холму с 29 деревнями. Это было первое упоминание, занесенное в историю, о селе Спасе на Холму, ныне Красный Холм. В конце XVIII века от Новгородской губернии отделились Тверское наместничество (позже губерния), и Красный Холм был переименован из села в уездный город (год 1776-й, января 16-го — именной указ, данный Сенату). К Краснохолмскому уезду отошла почти половина жителей Бежецкого уезда (25 тысяч душ); город получил свой герб: на верхней половине щита по красному полю изображен стол с лежащей на нем короной, на нижней по голубому полю изображен холм. Как уездный город Красный Холм числился лишь двадцать лет. В 1797 году он стал заштатным. Едва ли, впрочем, это существенно отразилось на развитии города, так как он стоял до последнего времени впереди захолустного «уезда» Весьегонска (как по торговле, так и по числу жителей и культурным условиям).

Краснохолмские жители, как и жители других небольших городов тогдашней России, состояли преимущественно из мещан, торговцев, а также крестьян, имевших под городом поля, небольшого количества различных ремесленников и всякого рода служащих — как в «казенных» заведениях, так и в частных предприятиях. Рабочие были лишь при железнодорожной станции; кроме того, было немало сезонных рабочих на стройках. Строился город активно: возводилось немало каменных частных домов, каменные торговые ряды, учебные заведения (в период моего детства их было шесть, в том числе женская гимназия и духовное училище, городское мужское училище, женское начальное училище, приходское училище, земское (начальное) училище). Был театр, народный дом, клуб, Городская дума, городской общественный банк, нотариальная контора, больница, аптека, почтово-телеграфная контора. Несколько хороших магазинов современного типа давали возможность населению города и окрестных сел и деревень покупать, в сущности, все то, что продавалось в центральных городах и столицах: можно было купить английское сукно, ткани из Лодзи, Варшавы, Твери, Петербурга, Москвы, зингеровские швейные машинки, граммофоны. Выписывалось много журналов, особенно «Нива» с приложениями, дававшая возможность горожанам из года в год получать за сравнительно небольшие деньги «полные собрания

сочинений» выдающихся русских и иностранных писателей; дети и юноши любили выписывать «Вокруг света» или «Природа и люди» — замечательные журналы, дававшие молодым читателям знаний больше, нежели школа, а их приложения Жюль Верна, Майн Рида, Фенимора Купера, Луи Буссенара, Луи Жаколио, Марка Твена мы все с упоением читали, как только научились сколько-нибудь быстро разбирать мелкий шрифт. Чудесные приключения, захватывающие сюжеты, героические персонажи, новые для нас страны, моря, народы, девственные леса входили в нас легко и заманчиво и питали собою наш внутренний мир и наши мозги.

В гастрономических магазинах были такие деликатесы, как балык, икра, апельсины, персики, даже ананасы. Не помню, откуда привозились виноградные вина, но помню, что можно было достать французские коньяки и шампанское.

Но, разумеется, все это для богатых. Обычно же торговали ситцем, бумазеей, грубым сукном, белой мукой, крупами, сахаром (в особых лабазах), сельскохозяйственным инвентарем — плугами, косами, позже стали продавать усовершенствованные машины — косилки или молотилки. Красный Холм имел крупную оптовую торговлю двумя продуктами: льном и кожами. Лен в деревнях был преимущественной сельскохозяйственной культурой. По льну Красный Холм был впереди многих районов Тверской и Псковской губерний. Торговцы льном были наиболее богатыми купцами. Лен, как известно, — весьма трудоемкая культура: он созревает поздно к осени, его щиплют, расстилают по лугам, где его мочит дождь и он вянет, его еще основательно мочат в воде, сушат и теребят волокна. До того как лен убирают с полей, направляют на «толчею», где давят головки и получают льняное семя, а потом — льняное масло. Мы любили льняные поля в начале лета за их изумрудный, свежий колорит и голубые цветики.

Кожевенные изделия были у нас грубоватыми, но кожа вывозилась в большом количестве. Даже странным казалось, что из той же нашей кожи, из которой местные ремесленники шьют грубые личные сапоги и некрасивые «полусапожки», где-то там, на фабриках в столице или даже за границей, выделялись щегольские ботинки, на образцы которых можно было полюбоваться (а то и их купить) в магазине у Александра Сергеевича Сулова, культурного старика, почитавшего поэзию Пушкина, любителя-садовода, в саду которого весной расцветали нарциссы и гиацинты из луковиц, выписанных из Голландии.

В старых «рядах» находились многочисленные склады, в которых держали кожи, и противный запах заставлял нас, школьников, обходить их.



В других «рядах» складывались пакля, веревки, бочки или мешки с солью. За городом устраивали склады бревен и досок (у лесопилки), кирпичей (у кирпичных заводов), ржаной муки (поблизости с мельницей, в дальнейшем механизированной, построенной за несколько лет до первой войны).

Колоритны были наши базары. Они проходили в базарные дни — вторник, пятницу и воскресенье. Весь город был запружен телегами (или зимой — санями) и возами. Сколько навоза оставалось на улицах к концу дня, смешиваясь с пылью или снегом! В летние жаркие, сухие дни запах навоза базарных дней можно было чувствовать даже за несколько верст от города. На площади около Троицына собора — море людей, повозок, стоек, ларьков. Особенно картинны были базары в августе — в Преображение (6 августа старого стиля) и Успение (15 августа старого стиля): горы яблок, возы огурцов, корзины малины, крыжовника, смородины, лукошки белых грибов и рыжиков, мешки с ранним картофелем, морковью, репой, сметана, топленое («русское») масло, обычно жидкое от жары, куры, яйца; груды мясных туш, на которых устремлялась туча мух (забота санитарного врача и объект штрафов), грабли, кадки, льняное полотно. Мелкие торговки продавали бабам и мужикам катушки ниток, иголки, гребни, пуговицы, липкие сласти, а рядом в «казенке» крестьяне пропивали выручку, выходили, нализавшись, шаткой походкой или их вытаскивали жены и укладывали в телеги; женщины с визгливой бранью решительно брались за вожжи и гнали подводу домой, нахлестывая лошадь.

Я помню аллеи из высоких возов ароматного свежего сена. Если палило солнце, мы бегом спешили через этот людской и пыльный базар к реке Неледине, к Большой Криулине, купаться.

Лучше всего идти к реке мимо соборов на холме и спускаться через огороды. Краснохолмские соборы — наша гордость. Не то чтобы по причине нашей религиозности. Да, горожане любят ходить в церковь, но, отправляя обряды, зажигая свечи и крестясь, они обычно думают о своем; торжественная обстановка и сладкое пение церковного хора, благолепие сводов, иконопись и традиционное с детства стремление к вечному и доброму — все это настраивает во время церковной службы на серьезный и мечтательный лад. Взрослые думают о любви, о своем успехе, в чем бы он ни проявлялся (в торговле, в пациентах, в делах на службе), а мы, школьники, думаем о том, как мы поедем в тропики по следам индейцев, полетим на Марс и посмотрим, есть ли на нем люди и похожи ли они на тех, которые описал Уэллс, и о девчонках тоже, между прочим. Колька Морозов, конечно, думает об отметках, он, поди, даже вымаливает пятерки у Божией Матери (он первый ученик и зубрила). Вытчиков наверняка

перебирает в памяти свои марки — и он признавался, что если есть Бог, то, по его мнению, тот должен же в конце концов сделать так, чтобы ему привезли наконец марки каких-то там французских колоний (не то Судана, не то Гваделупы). Словом, каждый в церкви думает о себе. Ведь и попы думают, сколько им принесет со свечек или с кружки сегодняшняя служба. Вот только старушки, ну и некоторые старички подряхлее, пожалуй, истинно поглощены молитвой и Богом, а главное — те люди, и молодые в том числе, у которых на душе какое-то горе, несчастье. Право, Бог и вера нужны несчастным, счастливым и так хорошо.

Наука биология отрицает Адама и Еву и сатану. Тут какие-то враки. Ерунда!

Тем не менее ходить в церковь приятно было и атеистам. К тому же ведь никто не знает, что будет с нами после смерти. Мы превратимся в прах, в ничто, уснем, как засыпаем на ночь, но без снов и навсегда. Черви съедят мертвое тело, это, вероятно, противно и страшно, впрочем, мы не будем ничего ощущать — но как же так? А душа? Впрочем, души нет. То есть есть душа у живых, а умрешь — ее нет («испустил дух»). Конечно, хорошо бы пожить еще после смерти в Царстве Небесном — в раю. Религия действовала на взрослых простых людей и даже на философствующих школьников своим тезисом бессмертия. Рок смерти инстинктивно страшил всех даже с детства, и, казалось, должен же быть какой-то выход. Но это были шаткие надежды. Просто все враки, думалось в конце концов, где бы все люди или их так называемые души на небе уместились, да и ничего там нет, кроме бесконечного эфира, а звезды — это раскаленные солнца или мертвые остывающие планеты (мы уже читали Фламариона<sup>[9]</sup>).

Краснохолмские соборы были красивы. «Были» потому, что в настоящее время они почти разрушены. Самый старый собор — Преображения. Сперва на том же месте была небольшая деревянная церковь, выстроенная при Иване III. В царствование Ивана Грозного, по видимому, та же церковь упоминается с описаниями деисуса (то есть иконостаса в несколько ярусов икон). «7 пядей — 15 икон, да икона Преображение на золоте же семи же пядей (пядь — единица измерения), да и икона Пречистые... — локотница (тоже единица измерения) на золоте, по полям писаны святители и мученики. Да книга Евангелие на харатье (на пергаменте): евангелисты серебряные» (цит. по книге Л. К. Крылов «Г. Красный Холм и его соборы». Издание Тверской ученой архивной комиссии, 1913 г.). Вероятно, позже этот деревянный храм разрушился и воздвигались новые. Каменный Преображенский собор, в том виде, как я

его застал, был открыт в 1713 году; он небольших размеров, архитектуры Петровской эпохи. Как единственная глава храма, так и купол колокольни окрашены были голубой краской и усыпаны крупными золотыми звездами; золотой шпиль колокольни и весь облик собора производили незабываемое впечатление своим изяществом и благородным вкусом.

Другой собор — Троицкий. Еще в 1575 году на холме была, кроме Преображенской, церковь Живоначальной Троицы, она была сожжена во времена литовского разорения, охватившего многие окрестные села. В 30—40-х годах прошлого столетия на другом месте был сооружен громадный собор, доживший до революции. В него-то мы и ходили молиться Богу. Это было очень теплое здание, состоявшее из главного храма, увенчанного пятью главами с приделами, и длинной трапезной церкви; к ней примыкала грандиозная четырехъярусная колокольня (колокольня была видна за 15–20 верст от города).

В этом соборе находилась замечательная древняя икона «Живоносный источник» (Богородица, окруженная семью фигурами святых); к сожалению, она была одета в серебряную ризу; в икону вделан был серебряный крест XV или начала XVI века. На колокольне висели колокола изумительно приятного тембра.

Третий — Владимирский — собор был сооружен в одной ограде с Преображенским в конце прошлого столетия; это высокое и обширное здание, светлое, с отличной настенной росписью и богатым орнаментом (выполненными московскими художниками Поляковым и Клецовым, мотивы были взяты из картин Нестерова, В. Васнецова, Бронникова, Котарбинского и др.). Достопримечательностью собора служили его резные, из липового дерева иконостасы и киоты, которые строитель собора (вернее, купец и церковный староста И. И. Камкин, по инициативе и под наблюдением которого и на его средства производилось украшение нового собора) запретил красить и золотить, что придало им особенно приятный и оригинальный вид. Резную работу с замечательным искусством производил крестьянин Кашинского уезда Степан Кузьмин с сыном (в течение четырех лет).

Красавец Краснохолмский Антониев монастырь раньше был одним из известных и богатых на северо-западе нашей страны. При нас монастырь уже находился в бедности. Прекрасные храмы за величественной оградой с башнями, таинственные переходы, арки, подземные спуски к омывающей монастырь реке — все это говорило о былом величии и находилось в контрасте с темными монахами в рваных сапогах и грязных подрясниках, грызшими баранки или лущившими семечки. Говорят, что и настоятель

выдался какой-то пьяница, а до него был таинственный не то политический преступник, бежавший с каторги, не то дворянин-отщепенец, убивший свою любовницу. Земли монастырские давно отошли крестьянам или краснохолмцам, городские церкви вобрали в себя всю религиозность населения, а монастырь пустел и нищал.

Страстная неделя была вся в посещении церкви. Мой отец не был ортодоксальным верующим, он, пожалуй, верил «в неведомого бога», а не в церковного Бога-отца, Бога-сына и Бога — Духа Святого. Но традиции религии, ее историческое и философско-этическое значение он признавал. Он ссылаясь на Дарвина, более других научно обосновавшего атеизм, но сохранившего в себе религиозное начало. Отец мой иногда ходил по воскресеньям в церковь на раннюю обедню и меня брал в компанию. До сих пор я ощущаю в себе воспоминания об этих утрах, когда дом еще спит, а мы под малиновый звон колоколов отправляемся постоять на паперти — а потом идем к бабушке Анастасии Сергеевне, и она нас потчует крепким чаем с церковным вином (кагором) и просвирами из тугого ароматного теста из крупчатки; впрочем, можно было выпить кофе со сливками «поваршавски» с пышными «лепешками» (оладьями) с медом или вареньем. Дома между тем ждет нас мама, у нас также все очень вкусно, например чудесные творожные сочники.

Великий четверг, 12 евангелий, в пятницу — вынос плащаницы со знаменитыми напевами «Елицы во Христа крестистесь», Великую субботу — сперва немного скучное чтение паремии, прерываемое чудесными напевами «Воскресни, Боже!», и далее строгая, торжественная обедня «Да молчит всякая плоть человека». Что ни говори, а здорово все это тогда выходило, всех нас занимало как что-то жизненно важное и, конечно, удивительно возвышенное и праздничное.

В начале Страстной недели мы исповедовались и причащались (говели мы весьма, так сказать, либерально).

Меня долгое время оставлял совершенно безучастным вопрос: «Не скотоложствовал ли ты?» Я не понимал этого странного вопроса, но отвечал: «Не скотоложствовал». А потом как-то вдруг подумал: что это, собственно, должно обозначать? Один из приятелей пояснил мне: поп спрашивал, не лежал ли ты с животным. Так что ж, это я ему наврал, подумал я, конечно же, лежал: я часто беру в кровать Игрायку, собачку; мама возражает, но та сама прыгает, потом ее, конечно, выгонят. Да нет, сказал мальчишка, это у них в другом смысле, что-то такое неприличное. И мы оба, не поняв все-таки, как-то почуяли себя сконфуженными и густо покраснели. Потом я стал вспоминать и другие места, непонятные первое

время. «Не пожелай жены ближнего твоего», «Не прелюбы сотвори». Э! Да это о любовниках, не иначе — это то, что творится на катке или на балах во время танцев. Знаем мы, знаем, так чем же это все так неприятно? По нашим наблюдениям, любовь — это то, к чему стремятся все мужчины и женщины. Следовательно, нехорошо любить только чужую жену? Чем же? Тем, что она принадлежит другому? А что значит «принадлежать»? Отсюда — рукой подать до выяснения тайны полов, что и произошло, конечно, в теории, уже в первых классах начальной школы (отчасти под влиянием церковных заповедей и исповедания).

Радостны и прямо веселы напевы пасхальной заутрени. Хорошо потом христосоваться с «нею» (она всегда одна, хотя и разная) — законное право расцеловаться; вкусна творожная пасха, от куличей скоро начинает появляться тяжесть под ложечкой. А главное — славно забраться на одну из наших колоколен и звонить, звонить. Так как не все умеют звонить гармонично, но все могут забраться на колокольню и звонить, как кому хочется — целую неделю над Красным Холмом стоит колокольная симфония, сложная в своей простоте и хаотичности, но в сочетании с праздничным настроением и весенним солнцем чем-то ужасно приятная (я иногда вспоминаю ее, слушая современную музыку).

Из церковных дел на нас, ребят, производили впечатление так называемые крестные ходы. Крестный ход в пасхальную заутреню был особенно ценен нами: горели яркие плашки вокруг собора, звонили колокола, сверкающие огни свечей и факелов, веселые песнопения, а главное — теплынь, весна. Другой крестный ход совершался 26 августа старого стиля — это был местный обычай (утвержденный духовной консисторией), установленный по случаю «избавления г. Красного Холма от холеры, бывшей здесь в 1748 году и 1853–1855 годах»: ходили по улицам с иконой Владимирской Божией Матери, а то и заносили ее в богатые дома. Мы, мальчишки, бегали вокруг иконы и смеялись, как это удастся таким образом обмануть холеру.

Колокольня служила местом наблюдения за пожарами, и там был водружен «ревун», истошный рев которого сразу взбудораживал город, а потом уже раздавался набат. Ревун сигнализировал главным образом о пожарах в окрестных деревнях, а набат — в самом городе.

Кладбище было пряно-сырым, заросшим, тенистым, укромным местом, куда няньки водили нас гулять (бонны почему-то боялись). Похороны всегда вызывали у нас сосущий страх и безотчетное уныние с примесью жалости к себе и другим. Церковные похороны (отпевание, погребение) — самое неприятное воспоминание (и так хорошо, что оно

теперь заменилось более или менее бодрой гражданской процедурой). У меня вставали всегда картины из «Страшной мести» и «Вия» Гоголя, — впрочем, теней или видений покойников мы не боялись или делали вид, что не боимся.

В Красном Холме в начале века сложился немалый круг местной интеллигенции. Заведующий больницей — доктор В. И. Семенович, другой врач — Крылов, часто, правда, пьяный и склонный неприлично ругаться, но ловкий и смелый хирург, считавший себя не ниже известного тверского хирурга Успенского (труды которого по язве желудка были опубликованы позже). Крылов, между прочим, был склонен к иронии в адрес лечения язвенных больных консервативным путем, практиковавшимся моим отцом (Extr. Belladonnae по 0,015 с Natr. bicarbonic по 1 гр. — 4 раза в день перед едой, высыпать в стакан, заваривать в теплой воде и пить глотками, как чай пьют; притом кислого, соленого, острого не есть, кваса, пива, водки не употреблять и т.п.). Доктор каждого язвенного больного оперировал, о дальнейшей судьбе предпочитая не осведомляться; да и то сказать, какая там диета в деревне и при недостатках! Приехали из Петербурга еще женщины — врач Ксения Ивановна Тхоржевская, очень недурненькая с виду и умница. С нею поселилась в городе и ее мать, Александра Александровна, окончившая в свое время консерваторию, прекрасная музыкантша. Александра Александровна вышла замуж за тифлисского адвоката И. Ф. Тхоржевского; они вместе занимались литературой и, в частности, переводами стихов (наиболее известны их переводы Беранже). Эта замечательная дама покорила краснохолмцев не только своей игрой Шопена и Бетховена, но и блеском ума, необычайной живостью и добротой.

Брат моего отца, Сергей Александрович, женился на Любви Николаевне, урожденной Мартьяновой (дворянке по происхождению). У этой очаровательной молодой дамы был очень красивый голос, меццо-сопрано (позже она сделалась солисткой Большого театра в Москве). Ее брат, Александр Николаевич, адвокат, считал себя эсером левого направления, увлекался поэзией Уитмена и Верхарна. Он был пламенный спорщик и предрекал скорую революционную грозу, «которая убьет нас — и за дело». Заведующий книжной лавкой, Евгений Иванович Панов, был талантливым артистом-самоучкой и режиссером краснохолмских спектаклей. Позже, после Октябрьской революции, в пору арестов и расстрелов купцов и заложников, он, при всей своей «революционности», не мог выдержать напор истории, забрался на колокольню Краснохолмского собора и бросился с нее. Один из молодых купеческих

сынов, М. В. Бородавкин, решил порвать со своей средой, женился на простой женщине, был проклят своей матерью (Галунихой) и поступил в Московскую консерваторию; учился у Додонова; тенор был красив, особенно в «Вертере» («О, не буди меня дыханием весны») и в арии Надира («В сиянии ночи лунной»), но слабоват. Галуниха умерла, и артист вернулся домой, участвуя в концертах под громкими афишами. И были бесконечные учительницы — городские и из соседних деревень: Бортницы, Дымкина, Лаптева и т.п.

В. И. Семенович и мой отец были долгое время большими друзьями, потом между ними пробежала какая-то кошка, и они перестали ходить друг к другу в гости, а встречались лишь на вечерах или заседаниях (впрочем, ссоры в явной форме не было). Жена доктора Вера Константиновна нам всем казалась необычайно умной особой, она отлично владела даром слова и живой иронией. У них было много детей, моих сверстников; родители — в полную противоположность нашим — никакого внимания на детей не обращали, дети ходили оборванцами, часть их умерла, оставшиеся в живых стали очень дельными, славными людьми. Сейчас Вера Константиновна, 85 лет, живет в Геленджике, окруженная внуками и правнуками; она сохранила ясную, прямо протокольную память.

Замечательны были краснохолмские сады. У всех жителей были тщательно отгороженные палисадники с цветником, а сзади дома — огороды. У более богатых сады были полны душистых цветов — левкоев, гвоздики, резеды, астр, а некоторые вели соревнования в выписке и культивировании роз. Яблоневые деревья приносили обильные плоды (антоновка, боровинка, белый налив, полумирон, княжеский стол, апорт). Особенно же приятны были летние сорта — грушевка и коробовка. Вишни и груши, напротив, росли неважно. Ягоды и овощи выращивали почти все. Тогда росла обычно душистая и деликатная клубника, и только позже ее стала вытеснять пузатая кисловатая «Виктория», желто-красная и обильная.

Улицы, покрытые булыжником, создавали стук проезжавших колес, слышимый на соседних улицах; немощеные же улицы покрывались летом глубокой пылью, осенью — грязью, и все надевали сапоги с голенищами. Тротуары были из досок — довольно симпатичные мостки, по которым щеголяли каблучки наших молодых женщин (тогда уже появилась мода на французские каблучки). Платья носили с высокими талиями и длинными юбками.

По вечерам в летние дни катались на лодках по реке Неледине. Эта красивая речка в зеленых берегах и со спокойной зеркальной гладью тогда

была многоводна (у деревни Бортницы на мельнице стояла плотина), а теперь это грязный мутный ручей, орошающий облезлые берега (плотины давно нет, деревья по берегам давно все вырублены или сломаны). Теперь в городе, кстати, не осталось садов; нет почему-то не только яблонь, но и лип. Городской сад с тенистыми аллеями на берегу Неледины тоже давно снесен, на этом месте — пустырь и крапива (вообще крапива охотно вырастала у нас повсюду и раньше, но ее тогда уничтожали). Впрочем, появилось много нового и полезного: расширилась больница, открыты общественные столовые, клубы, новые школы, мастерские, типография (в нашем бывшем доме), издающая газету. Словом, жизнь продолжается в новом, современном направлении — и да здравствует она!

Вся прелесть прошлого в том, что оно прошло.



## Гимназия. Кавказ. Война

В Красном Холме не было мужского среднего учебного заведения, и меня определили в соседний Бежецк, в реальное училище.

Бежецк был город побольше Красного Холма, но того же типа. На каждом перекрестке улиц стояли церкви. По реке шли сплавы леса и небольшие пароходики. Были какие-то промысловые заводы, была оживленная железнодорожная станция с большим депо и мастерскими, с клубом для рабочих и служащих.

Я поселился на Большой улице, проходившей вдоль города, в небольшом уютном доме доктора Н. А. Костяницина. Доктор был полный блондин, приветливый, получал по почте много книг и журналов. Он работал в городской больнице, а по вечерам к нему приходили больные, с которых он брал по рублю. Его жена, Варвара Алексеевна, приятная дама, любила хорошо одеваться, читать стихи, участвовать в спектаклях, играть на рояле вальсы Штрауса. У них жил дед, отец Николая Алексеевича, который недавно перенес инсульт и все полеживал за ширмами в той самой комнате, куда меня поселили.

Через год, впрочем, моя мать, не в состоянии выносить разлуки с сыном, переселилась из Красного Холма в Бежецк, захватив и других детей, и таким образом семья стала жить на два дома — тем более что и отец, став после поездки за границу специалистом-офтальмологом, назначил по определенным дням недели прием глазных больных в бежецкой больнице. Мы сняли квартиру в доме Нечаева на той же улице, напротив площади, по которой широко расположилась чудной старинной архитектуры Рождественская церковь. Я ходил мимо этой церкви в реальное училище или к учительнице музыки, Евгении Павловне Нурок, жившей на той же площади.

Занятий в реальном училище я не любил. По арифметике мне не давались задачи с бассейнами или с поездами, вышедшими из разных станций во встречных направлениях. Геометрия была нагляднее («Пифагоровы штаны на все стороны равны»); не любил я и персонально нашего математика (да и вообще все мы).

По длинным доскам коридора,  
Лишь девять пробьет на часах,  
Учитель наш Твердин несется,

Несется на тощих ногах.

Не любили мы и уроков по Закону Божьему. Холеному елейному попу- учителю задавали каверзные вопросы (где помещаются души умерших? Если это понимать образно, значит, это миф, если буквально — должно же быть их местопребывание? На звездах? Но это — раскаленные солнца или мертвые остывшие планеты, в мировом эфире — страшный холод. Где это небо? В переносном смысле — значит, просто обман. И ад где, где конкретно? Как сказка, как легенда — это очень мило, но не в век авиации и астрономии. И т.д.). Учителя словесности терпели за его стремление научить нас грамотно писать и выражаться, все сознавали необходимость этого в жизни. Была очень милая учительница французского языка. Она улыбалась, картавила и душилась. Один из школьников, которому француженка поставила накануне единицу, однажды перед ее приходом воткнул иголку в сиденье кресла, на которое она и села, тотчас же вскрикнув от боли. На большой перемене мы в кровь набили морду этому, как мы определили, «садисту».

Но я не любил и уроков музыки. Евгения Павловна сперва «ставила мои пальцы», то и дело ругала и исправляла мои руки, грозно морщилась в ответ на мои ошибки, потом говорила маме, что я лентяй и что надо дома по два часа сидеть за роялем, играть гаммы и арпеджио, упражнения Черни и сонатины Клементи. Я еще не возражал бы против прелестных этюдов Геллера и Бургмюллера. «Два часа в день сидеть за роялем» вызывало у меня реакцию отвращения (потому я, вероятно, и не научился играть как следует, или же, может быть, именно потому, что я не был предназначен для этого, я и не сидел два часа за роялем).

Одно только оставило у меня приятное впечатление. У Нурок устраивались рождественские елки с участием всех учениц и учеников. Я помню, как на одной из них я бегал с одной чудесной голубоглазой девочкой и хлопал у ее ушка хлопушками. Может быть, это была первая любовь одиннадцатилетнего мальчишки (на следующий день я уезжал в Красный Холм, а она — в Рыбинск; до станции Сонково мы ехали в одном вагоне, и мое сердце замирало от счастья). Впрочем, первой любовью, пожалуй, должна считаться другая: через два года, когда я уже был в третьем классе, весной мы целые дни играли у Зарайских в крокет, а потом с Ниной (смуглой гибкой девочкой моего возраста) гуляли за монастырем, в белых бликах берез в лунном свете. И наконец мы с жадностью и испугом поцеловались, после чего я перестал ходить к ним

из-за смущения, а потом уехал из Бежецка.

В Бежецке мы зачитывались романами Виктора Гюго, Хаггарда, Вальтера Скотта; читали с увлечением Герберта Уэллса, Конан Дойля. Особенно меня почему-то прельщала «Машина времени»; мне казалось действительно заманчивым переноситься в глубь прошедших времен или в даль будущей жизни. «Шерлок Холмс» породил острый интерес к книжонкам на те же темы («Нат Пинкертон», «Ник Картер» и т.п.; каждый новый выпуск в обложках со страшными картинками мы быстро «проглатывали»). Мы любили географию, собирали марки, играли в «списки городов» (каждый должен был на листе бумаги написать возможно большее число названий столиц мира или городов России и т.п., выигравший получал книжку, марку и т.п.). Мы, впрочем, читали Пушкина и Лермонтова, писали стихи, но пока это были лишь строфы о небе, солнце, буре, море. Почему-то сразу ужасно полюбилось: «Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой, что кинул он в краю родном?»

Потом вдруг вспыхнула страсть к подражанию, притом в насмешливом плане. Чудные «горные вершины спят во тьме ночной, тихие долины полны свежей мглой» я перелицевал:

Пятые крестины  
В кабаке идут.  
Пьяные купчины  
Песенки поют.

Не поет лишь скряга,  
Погружен в счета;  
Погоди — ограбят,  
Запоешь тогда... и т.п.

Когда меня спрашивали, кем я намерен быть, когда буду взрослым, я в разное время бежецкой жизни отвечал: путешественником, географом, поэтом... «но, может быть, просто ничего не выйдет». Отметки у меня были неважные.

Это последнее обстоятельство — наряду с желанием отца прекратить поездки в Бежецк — заставило мать мою взять меня из реального училища и обучать дома, в Красном Холме.

Так как в дальнейшем меня намеревались определить в гимназию, то

засаживали за латинский язык. В гимназию можно было поступить и среди года, но нужно было держать вечно вроде экзамена (так как я поступал не в порядке перевода). Экзамены, к удивлению родителей, я выдержал блестяще и был зачислен в Мужскую классическую имени императора Александра II царя-освободителя гимназию в Новом Петергофе. В Петергофе — потому что там проживала моя тетка, Елена Константиновна. Начался новый период жизни.

Мне очень нравился Английский парк, через который я каждый день проходил, так как жил на так называемых Новых местах Старого Петергофа. Этот путь туда и обратно я проделывал для себя совершенно незаметно, я мечтал. Это было время наиболее увлекательных и ярких мечтаний. Мне становилось досадно, что я уже пришел в гимназию (да еще сдуру первым — класс еще закрыт) или уже вернулся домой (обед, потом уроки — какая-то скука). И зимой, сквозь запыленные деревья, и осенью, сквозь золото листвы, и весной, сквозь ажурные сетки молодых ветвей, — всегда было так славно!

Упоительны были также парки (леса) графа Мордвинова и князя Лихтенбергского за нами, совсем близко, по направлению к Ораниенбауму. Там можно даже встретить зайцев (Митька, мой двоюродный брат, браконьер, даже стрелял в них из самодельного ружья, но промахнулся).

Нижний парк с фонтанами в Новом Петергофе примыкал к гимназии, но тогда его красоты не доходили до меня, я был равнодушен к золоченым статуям. Позже весной, когда уже были в разгаре экзамены, там разгуливали блестящие гвардейские офицеры с модными дамами (в Петергофе были расквартированы Гренадерский, Драгунский и Уланский полки Его Императорского Величества), играл симфонический оркестр, а иногда появлялись и дочери царя Николая II, миловидные широколицые девицы в белых с голубым платьях, в свите фрейлин.

Вообще в Петергофе было много военных, и в гимназии, рядом за партами сидели офицерские сынки, один даже граф. Я почувствовал к нему сразу какое-то раздражение и, хотя он сам был любезным, воспитанным мальчиком, я избегал его и никогда почему-то не обращался к нему, точно был незнаком с ним.

Очевидно, как-то сказывался краснохолмский земский демократизм. Мой сосед по парте Воробьев, сын капельмейстера оркестра, также был левых взглядов. Мы читали газетные сообщения о деле Бейлиса, в котором один еврей из Киева обвинялся в том, что он убил христианского младенца с целью получения крови для примешивания в мацу<sup>[10]</sup>. Речи Карачевского

[11] и Маклакова<sup>[12]</sup> (защитников) у нас вызывали восторг, а черносотенные инсинуации «Нового времени»<sup>[13]</sup> — негодование. Мы следили за выступлениями в Государственной думе и были неодобрительно настроены в адрес Пуришкевича<sup>[14]</sup> (драной собаке, жившей где-то около гимназии, мы дали кличку Пуришкевич).

Между тем дома, у тети Лели, меня ожидал «политический противник». Ее муж, Иван Дмитриевич Лобанов, был бухгалтером какого-то частного коммерческого банка, типичный клерк, отправлявшийся в 8 часов утра в Петербург на поезде и возвращавшийся оттуда, обычно с покупками, в 8 вечера. У него был строгий красный нос (любил, между прочим, выпить), белесые глаза смотрели пронизательно, он то и дело осенял себя крестным знаменем. Человек он был, как потом оказалось, вполне честный, после революции служил нотариусом, блюдя советские законы, а потом умер от рака желудка.

Садясь за ужин, мы должны были выслушивать его молитву, казавшуюся нам фарисейской. Поесть он любил обильно. Сперва обнюхивал блюда своими зияющими ноздрями, потом чавкал от удовольствия, а затем чистил чем-то свои зубы, еще сидя за столом.

Сынку интеллигентного доктора было несколько неуютно взирать на этого гиганта («чудовище»), и он стремился быстро юркнуть в свою комнату. Но после обеда начинались вопросы: «Как, господа гимназисты, по-вашему, евреи никогда не пьют христианскую кровь? А не они ли распяли Господа нашего Иисуса Христа? Стало быть, вы против «Нового времени», а читаете «День» (была тогда такая газета правосоциалистического направления) или «Речь» (орган кадетов). Мда! Антиправительственные газетенки, и я удивляюсь, что до сих пор смотрит цензура?» И т.д. Но тетя Леля была мягкая, ласковая дама, она прекращала тирады мужа и отправляла его спать. Через два часа Иван Дмитриевич просыпался и до поздней ночи сидел за какими-то канцелярскими книгами. Спросенок мы слышали иногда, как он еще работает и щелкает на счетах.

«Мы» — это я, их сын Митька и дочь Зина. Митька учился в той же гимназии, но из рук вон плохо, где-то шлялся, ему грозили исключением. Он был складный, ловкий парень, танцор, у него были вечные «романы» с девчонками, и я завидовал его успехам в сердечных делах. Судьба его плачевна: в советское время он сделал огромное сальто-мортале от народного комиссара уездного военкома, потом управдома в Ленинграде, а затем — после растраты какой-то суммы (им или его собутыльниками, осталось неясным) — до ссыльного в Нарым; во всех ампула он, однако же,

казался в форме, сменял последовательно многочисленных жен (одну даже нашел в тюрьме), а теперь кончает жизнь сторожем где-то на Урале. У него способные дочери, врачи и комсомолки (но ведь мать их с ним давным-давно в разводе). Зина же была скромная добрая девочка, только слишком уж часто ревела. В дальнейшем она превратилась в привлекательную и умную особу, после революции вышла замуж за одного из первых председателей исполкома в Красном Холме, потом развелась с ним и в настоящее время проживает в Москве с мужем, видным инженером-строителем железных дорог.

Лето 1914 года наша семья провела на Кавказе. К этому времени А. А. Тхоржевская лишилась мужа и предложила моему отцу купить небольшой участок земли в Горийском уезде Тифлисской губернии — у Тхоржевских был там домик и насажен большой сад. Мы с энтузиазмом отправились на юг.

Мы катили по южнорусским степям в купе второго класса, жарились в каменноугольной пыли Донецкого бассейна, радовались первым фиолетовым горкам Минеральных Вод, затем вглядывались в силуэты вершин приближавшегося Кавказского хребта.

Наконец на станции Беслан — пересадка. Курьерский поезд Санкт-Петербург — Батум отправлялся огибать горы на Баку, а мы садились в местный состав и ночью прибывали во Владикавказ; переночевав в гостинице, рано утром с радостным чувством садились на автомобиль и катили по Военно-Грузинской дороге.

То был старенький автомобиль какой-то французской марки; он был быстр и удобен и пробежал всю дорогу за день. Дарьяльское ущелье, Казбек, Крестовый перевал, «холмы Грузии печальной» (и совсем не печальной, а, казалось мне, ликующей), «сапфирные воды» Арагвы (она, наоборот, казалась грязной и незначительной речонкой — то ли дело Неледина!), Мцхет, наконец, Тифлис — вечером таинственный и величавый. Приехали! Наутро — опять поезд, опять Мцхет, Кура, маленькая станция Каспи, рой мальчишек, продающих нанизанные на прутья абрикосы, ранние персики, фаэтон, ожидавший нас по телеграмме; мы — в долине полупересохшей речки Лехуры, по каменистой дороге едем в горы, уже виден конус Самтависского храма и широкие склоны горы Цхвилы, увенчанные развалинами старинной крепости. Вот тут, собственно, «имение». Мы входим в дом, элегантный и легкий, немного пахнет сухими фруктами, но в открытые окна вливается чудесный горный воздух, а на террасе цветут глицинии, фиолетово-голубыми гроздьями загораживая нас от сияющего июньского солнца.

Какой был там дивный сад! Хозяин выписывал французские груши (Бере Жиффар, Бере Александр, Дюшес Ангулем и т.п.), насадил белые и красные кальвиль, бельфлер, разнообразные ранеты; огромные сливы янтарного цвета; каспийские персики, они вообще славились в Закавказье; белые и розовые черешни опадали, так как некому было есть их так рано в мае. Росли огромные ореховые деревья — зеленые в кожуре орехи потом ищи на варенье. Около дома все заросло розами. Склон горы покрыт дубовым и грабовым лесом; слишком сухо — деревья низкие, трава черства и желта, но благоухает каким-то священным запахом (полынь? мята?), — а по вечерам неистово стучат цикады.

Отец, я и мой брат Левик девяти лет отправлялись в горы. Мы восходили на темно-зеленую Пицару, откуда можно было видеть сахарную голову Казбека, если в той стороне, на севере, не было облаков. Или переваливали за Цхвилу, там произрастал буковый лес, и тень шатров огромных деревьев плюс горная высота давали живительную прохладу. Можно было пройти и дальше, до вершины, покрытой сочной альпийской травой; оттуда открывался вид на цепь снеговых вершин Главного Кавказского хребта. На обратном пути пили холодную воду родников, влезали на феодальные башни. Дома беспокоились, и в быстрых южных сумерках мы возвращались усталые, но счастливые.

В селе Самтависи жила учительница, у нее был сын Баград, харьковский студент, и две дочери — Лело и Кето. По вечерам мы собирались то у нас, то у них, шли смотреть деревенские танцы. Грузинские танцы однообразны, но быстры, изящны и романтичны. Кавалер ритмично перебирает ногами (какой-то причудливый бег на месте), учтиво и изящно изгибаясь руками и корпусом перед дамой, она плывет перед ним, увлекая его, но не позволяя догнать себя, и страстный бег их в конце концов только порыв, мечта — никаких прикосновений или прижиманий, как в эротических европейских танцах. И все это под заунывные, тонкие восточные звуки, в которых вибрируют одни и те же полутона — и под залитым луною небом или небом, усеянным по-южному крупными звездами, непривычно для нас, северян, близкими. Лело — красивая грузинка с большими черными очами и стройным станом, но она говорит с сильным гортанным акцентом. Кето же говорит удивительно задушевно, у нее удлиненное лицо и длинные косы (и немножко длинен нос), она умница, читает «Обрыв» Гончарова, уединяясь. Кето хорошо еще напевает «Мраволжамия» и другие нежные грузинские песни. К ним приехала подруга по гимназии, бойкая русская девчонка Рая; почему-то между нею и мной сразу открылись военные действия. Я импровизировал

эпиграммы («От таких Раис я совсем раскис», «Мне красавицы совсем не нравятся» и т.п.). Студент Баград, постарше всех нас, обычно беседовал с отцом. Он рассказывал о местных преданиях, об истории Грузии, и я бросал девчонок и присоединялся к «взрослым».

Баград сообщал, как бедно живут люди в деревне. Ведь еще недавно князья держали их в экономической зависимости (так называемые хиханские отношения — своего рода барщина, сохранившаяся до революции 1905 года). Много народу разорилось. Нищими стали, впрочем, и некоторые дворяне, которых отличишь от крестьянина разве лишь по гонору и лени. Вот фаэтонщик, привозивший вас со станции, — князь. Нет, не в шутку, а настоящий имеретинский князь из рода Амилахвари. А в соседних Чалах другие князья Амилахвари имеют отличное имение и господский дом, напоминающий своими башнями замок. Им принадлежит большинство здешних земель. Их родственник, князь Алексеев-Месхиев, красивый молодой человек, только что окончил юридический факультет Петербургского университета. А есть и разбойник из этого же княжеского рода. О, у нас особые разбойники! Они немного напоминают Дубровского. Они грабят богатых, дерутся со стражниками, а бедных не трогают, иногда даже помогают им. Худо только, что они могут увести с собою в горы какую-нибудь молодую женщину (но, вероятно, все ж с ее согласия).

Слушая о разбойниках, я даже решил, как только приду домой, засесть за поэму, что-нибудь вроде «Мцыри». Позже я написал ее, но даже самому мне она не понравилась (при всем авторском тщеславии). Беседа прерывалась ужином, которым гостеприимно потчевала нас Нина Дмитриевна: чахохбили из кур, пшеничные лепешки, выпекаемые на стенках раскаленных каменных чанов в земле (чуреки), сухое терпкое вино, при нас почерпнутое из закопанных в землю громадных кувшинов, чурчхелы, козинаки, ранний сладкий виноград, чай с ореховым вареньем. А потом нас провожали домой, и надо было снять обувь, чтобы перейти вброд речку.

Вскоре у меня появилось новое увлекательное занятие — ездить верхом. Лошадь была небольшая, как и все местные лошади, но хорошо шла по горным тропам. Я объездил окрестности, был за 20 верст в Гори, у соленого синего озера среди пшеничных полей и т.п.

Как-то раз я проезжал мимо усадьбы князя Амилахвари и увидел на балконе девушку. Это была княжна, приехавшая из Петербурга, где она училась в Смольном институте. Как раз в это время я имел чрезмерно романтические настроения, читал «Дон Жуана» Байрона и т.п. Я вообразил, что влюблен в нее, стал часто проезжать мимо их дома, но ни



разу ее больше не видел. Когда отец, знакомый с князем, предложил прогуляться с ним, я отказался, струсил. Зато хорошо писались стихи, ей посвященные.

Смотри, какая красота,  
Как гор чудесен полукруг,  
Чист воздух, как моя мечта  
Одну тебя любить, мой друг.

Далеких гор люблю снега,  
Кавказ, как твой велик простор,  
Люблю я трепет ветерка  
И вид величественных гор.

Но стихи не разрешали эмоционального конфликта, и я принял мрачный, разочарованный вид. Я сочинял другие стихи, комичность которых заметил лишь позже.

О где ты, молодость счастливая,  
Тебя уж нет, исчезла ты;  
Где жар, огонь во мне горевший,  
Где вы, прекрасные мечты!

Один лишь призрак угасающий  
Нависшей смерти за спиной  
Стоит холодный, устрашающий  
И нас уводит за собой.

Мне, правда, самому не нравилось дублирование слов «ужасающий» и «потрясающий» — ну, да наплевать, сойдет!

Молодость, конечно, не только не исчезла, а лишь начиналась. И с каждым месяцем я ощущал на себе ее властный жизненный напор. Чудесный юг, лето, синие горы, верховая езда, гимназия еще не скоро. И вдруг... Поздно вечером 2 июля пришла страшная весть: война с Германией. В Сараево убит австрийский эрцгерцог. Царь обратился с волнующим патриотическим манифестом. Объявлена всеобщая мобилизация. Англия и Франция — члены Тройственного сердечного

согласия (Антанта) — выступят также против Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия). Мировая война! Ужасная катастрофа. А мы ничего не знали, что творится на свете. Отец последнее время даже перестал следить за газетами, раздраженный бюрократическим и полицейским режимом. Надо же когда-нибудь от этого всего отдохнуть. И вот разразилась война. Скорее домой!

Мы едем на станцию Каспи, начальник станции всовывает нас в вагон первого класса; в Тифлисе, Баку, Ростове и Харькове мы жадно читали в газетах первые сообщения о войне.

В Москве мы останавливаемся у дяди Сергея Александровича. Он скептик, говорит, что Россия не может победить, империя сгнила до основания, наверху — воры и трусы; он сомневается, есть ли у нас пушки. Мужикам нечего защищать, земли у них нет, разве что у кулаков, но они привыкли чужими руками жар загребать и пойдут не на фронт, а в интенданты. Вот и хорошо, если немцы проучат нас. А впрочем, Вильгельм и Николай — два сапога пара, да еще и родственники. В манифесте красиво сказано об исконных чаяниях поляков, их мечте о свободной Польше, но это обман. Возможно, что нет худа без добра, рухнет Россия старая, родится Россия новая. Но жертвы, страдания людей! Сергей Александрович протер носовым платком свои очки и застучал пальцами по столу.

По пути в Красный Холм мы задерживались на многих остановках, так как пропускали воинские эшелоны. Телячьи вагоны были битком набиты только что забранными в солдаты деревенскими парнями.

На краснохолмском вокзале — скопление народа. Грузится состав с новобранцами. Безусые потные солдатики — в защитных гимнастерках и бескозырках с кокардами (в виде плевка) с перекинутой через плечо свернутой шинелью и тяжелым ранцем за спиной; им еще не дали ружей — где-то еще будут учить стрелять. Толпы баб и девок окружают солдат на платформе, громко плача и причитая: «Ненаглядный ты мой!», «Дитячко мое!» и т.д. Парни немного выпили вчера у «казенки» и весь вечер прогуляли с песнями с гармошкой. «Пушечное мясо» имело вид обреченной послушной массы. Кто бы мог думать, что именно они победят не Германию, а царизм и заложат основы нового мира?

В городе — волнения. Недавно толпа «патриотов» (отец говорит, из «Союза русского народа», черносотенцев) учинила расправу над немцами, а заодно и над евреями. Они ворвались в аптеку, перебили банки с лекарствами, потом бросились наверх, в квартиру аптекаря Бинерта. Аптекарь вовремя спрятался в огороде, но его рояль, на котором одинокий

человек любил по вечерам играть Моцарта, выбросили в окно со второго этажа. Очередь дошла до часовых дел мастера. Часы растащили или растоптали ногами. Немку-булочницу Гаазе, у которой были белобрысые славненькие дочки (охотно участвовавшие в любительских спектаклях), вытащили из лавки и потащили топить в Неледину, но опомнились по дороге и отпустили, надавав шлепков по определенному месту. Потом пыл погромщиков как-то разом выдохся, и они разошлись по домам, не глядя друг на друга. Полиция считала эти выходки выражением патриотических чувств, тем более что их участники распевали гимн «Боже, царя храни».

Мобилизация коснулась всех. Образованную молодежь отправляли в наскоро открытые военные училища, оттуда выпускали потом прапорщиками. Создавались летучие медицинские отряды, шел набор врачей, сестер милосердия и санитарок.

Общественность города стала готовить себя в помощь войне, шли добровольцы. Это были юнцы, имевшие романтические сведения о войне, вычитанные из романов. Несомненно, налицо был и патриотический подъем. На нас напали немцы. Можно было как угодно интерпретировать истинные причины войны, можно было иметь либеральные или демократические убеждения, отвергать самодержавие, но родина в опасности. Возможно, в обществе есть силы, понимающие более правильно свои задачи; возможно, война необходима для гибели режима, о котором нелестно отзывались не только сознательные рабочие и интеллигенция, но и все гимназисты и гимназистки. Но родина, тевтоны и т.д. и т.п.! Великая Россия не может быть побеждена! Ура! На фронт!

Краснохолмские дамы организуют «в помощь фронту» сбор теплых вещей, продовольственных посылок. Готовятся к приему раненых. В школьных помещениях открыты госпитали, под лазарет отводится и весь наш дом. И вот прибывает первый поезд раненых. Их встречают цветами, подарками. Их приветствуют как «серых героев», жертвовавших жизнью за веру, царя и отечество. Им, конечно, здесь хорошо. Но раненые серьезные, казалось, они что-то такое узнали и мы в их глазах — смешные дети (это относилось и к взрослым) или пустые бездельники. Концерты и чтения, устраиваемые для них, выглядят некстати. Впрочем, ласка действует, и в конце своего пребывания в лазаретах они, уже передвигаясь на костыле или действуя одной уцелевшей рукой, уже улыбаются, особенно сестрам и нам, мальчишкам. Выписываясь — в деревню или в нестроевые части, — они даже растроганы и потом пишут любовные письма своим сиделкам. «Господа офицеры» лежат в особых отделениях, их пока мало, они охотно соглашались с тем, что они герои, многим из них даны награды за успехи в

первых сражениях.

Да, военные действия складываются для нас удачно. Мы наступаем. Наши войска вступили в австро-венгерскую Галицию и приближаются к Львову. Вот у французов плохо. Немецкая армия на Западном фронте, столкнувшись с французской оборонительной линией Мажино, обошла ее с севера. Нарушив нейтралитет Бельгии, заняв эту страну, обрушилась на Францию. Сопrotивлению бельгийцев под началом короля Альберта мы горячо аплодировали. Всюду исполнялись бельгийский гимн, сербская песня «Сабля моя», британские «God, Save the King» и «Rule, Britannia!» и «Марсельеза». Еще не так давно могли за «Марсельезу» засадить в тюрьму, так как ее пели в 1905 году вместе с революционными песнями «Отречемся от старого мира», «Мы жертвою пали», «Варшавянкой». А теперь этот гимн Франции приветствовали открыто, но с тайной мыслью о революционном его значении, как бы символизирующем грядущие перемены. «Новые времена — новые песни».

Но я еще мал для войны и должен отправляться в гимназию. В Петергофе угар патриотизма разогрет близостью царской фамилии. Вот назначен смотр гвардии. Нас почему-то также велено выставить на кадетском плацу. Холодным сентябрьским утром царь обходит ряды войск под аккомпанемент «Ур-ра!». Он подходит и к нам. Мы видим его обычное русское лицо и маленькую фигуру; у меня зябнут руки. «Что, руки замерзли?» — обращается царь ко мне довольно просто, а соседний гимназист кричит, выпучив глаза и вытянувшись во фронт: «Никак нет, Ваше Императорское Величество!» Царь слабо улыбается и устало идет со свитой дальше. «Неужели этот, по-видимому, добрый человек, — спрашиваю я себя, — вешает и расстреливает?»

Гимназия поглощена военными действиями. Мы завели карты, срисовываем их из газет, ведем счет убитым и раненым и радуемся их большому числу (вот молодые дураки!). Особенно нас увлекает морской театр военных действий. У меня — справочник о флотах держав мира, перечень кораблей с указанием тоннажа, скорости, вооружения. В нем — масса снимков красивых крейсеров и миноносцев. Мы следим за морскими сражениями, но, на нашу досаду, их все не было и не было, по крайней мере, «настоящих». Многие из нас связаны с моряками из Кронштадта, мы знаем о минировании Финского и Рижского заливов, нас беспокоят «Гебен» и «Бреслау», прорвавшиеся в Черное море. Мы даже издаем в классе журнал «Война на море», богато иллюстрированный рисунками и наклейками.

Страшный удар в Восточной Пруссии, погубивший корпус генерала

Самсонова, вызывает уныние лишь на короткий срок. Мы еще не знаем, как слабо вооружена наша армия. Напротив, поход Русского на Карпаты, взятие крепости Перемышль, казалось, говорили о наших успехах. Правда, отступают австрийцы, а не немцы. Лоскутная империя Франца Иосифа слаба своими чехами и русинами, это естественно. А немцы все еще заняты наступлением во Франции.

Но вот обрушивается на Польском фронте фаланга генерала Макензена, по прямым магистралям перекинутая с запада. Все быстро меняется. Мы отступаем. В течение 1915 года наши войска отходят. Они оставляют польские города, отдают Варшаву. Маленькая крепость Новогеоргиевск еще некоторое время сопротивляется, и потом и она сдается; войска отхлынули в Брест-Литовск. Бои на Мазурских болотах у Немана. Совершенно ясно, что требуются героические меры. Вдруг обнаружилось, что у нас не только плохая артиллерия, но просто нет ружей и нет пуль — нечем стрелять. Нашим солдатам было отпущено по восемь снарядов в день на орудие; пехота шла или без ружей, а если с ружьями, то без пуль. Виновато ли тут ворующее интендантство или беспечность технической службы (повторившей «Шапками закидаем», то есть «авось», столь дорого обошедшуюся в Русско-японскую войну). Нет, гораздо хуже. Тут, господа, измена. Просто-напросто измена. Наш-то император — безвольный тюфяк. А вот императрица Александра Федоровна знает, что делает. Она же немка. Да и вообще при дворе сплошь одни немцы, и многие генералы — тоже немцы.

Общественные круги страны стремятся к спасению фронта. Организуется военно-промышленный комитет, союз городов, земский союз.

Мой отец не может остаться вне этого движения. Он решает отправиться на Западный фронт. Наши войска временно задержались на линии Ковно — Гродно — Брест-Литовск. Но под ударом наступающих немецких армий и эта линия обороны пала. Отхлынул и оголенный с севера галицийский фронт. Наступили мрачные дни. В этот же период германские армии разбили сербские войска и заняли Сербию (а Болгария и Турция выступили на стороне Германии). Англичане высадили десант на Галлипольском полуострове, но их операция окончилась неудачей, и они ретировались. На западном фронте шла напряженная борьба, английские войска влили свежие силы, а темп наступления немцев ослаб.

Постепенно, отчасти из-за границы, от союзников, отчасти благодаря принятым новым военным министром Поливановым мерам, армия стала получать снаряды, и отступление стало задерживаться.

К 1916 году установилась так называемая окопная война. Наш фронт

шел от Риги через Двинск и далее на юг на Молодечно. Во Франции продолжалась борьба за Верден.

Отец ездил в окопы, проверял медико-санитарную службу. Однажды он посетил там и своего сына Евгения, поручика.

Женька до войны несколько раз поступал в высшие учебные заведения, но не пожелал в них оставаться и в конце концов вопреки воле отца пошел в какое-то военное (саперное) училище. Еще перед войной он красовался перед нами в мундире, шпорах и погонах, прельщая барышень своими усами и духами. Это был пустой молодой человек, но одно в нем трогало — любовь к цветам. Он первый собирал ландыши, отправляясь росистым утром в лес; его комната всегда утопала в цветах.

Окопы представляли собою целую систему из переходов, траншей, блиндажей, землянок для солдат. Было сыро, холодно, грязно — но это была жизнь, *modus vivendi*, а не смерть в атаке. Не хватало сапог, теплой одежды (хотя к зиме положение улучшилось, стали поступать валенки, полушубки). Вши заедали, но сыпняка еще не было. Господа офицеры жили получше. Денщики доставали им хорошие вина, офицеры играли в карты и иногда на ночь отправлялись в тыл, в ближайший город, и проводили часы весело в женском обществе (не все же население превращалось в «беженцев из западных губерний»).

Евгений завел с отцом острый разговор. Солдаты настроены все хуже и хуже. Он просто не знает, как обуздать их проснувшуюся подлую сознательность. Ему кажется, что вот-вот они перестанут слушаться. Они шепчутся о какой-то там измене. Что там у вас в тылу делается? Кто это там так глупо командует, а еще более скверно организует? Офицеры начинают подозревать: не дело ли это рук социалистов: Не они ли разваливают фронт? Саботаж в военной промышленности — деле не чужих, а своих изменников. Революция вспыхнет на пепелище поражения. И все это вы, интеллигенты, сделали. И вот из-за вас валяйся здесь в грязи, а потом разредят — немец или свой нижний чин. Евгений говорил, что, если вновь будет революция, он лично, как патриот, не будет раздумывать, убивать ли вас («То есть, конечно, не тебя, папа, персонально, я это говорю так, вообще»).

Некоторые наши знакомые, побывавшие на фронте, в том числе прапорщики с университетским образованием, отмечали «революционные» и даже «анархические» настроения у солдат. Они передавали слухи о забастовках рабочих на заводах в Петербурге. Все более громко и открыто ругали правительство.

Осенью 1915 года отца перебросили на Закавказский фронт, и мы

решили переселиться поближе к нему, в Тифлис. Мы поселились на Великокняжеской улице на берегу Куры в приятной квартире с террасой и балконом, с которой открывался красивый вид на город, гору Святого Давида. Вечером амфитеатр зданий на черном фоне горы сверкал огнями, цепочка огней бежала ввысь по фуникулеру. Мерный рокот речных волн сливался со звуками большого, оживленного города.

Я поступил во Вторую Императора Александра I Благословенного (и везет же мне на императоров Александров!) гимназию на Головинском проспекте в седьмой класс. Приятные лица товарищей, все больше «черномазых», и симпатичные учителя.

Его превосходительство директор гимназии Гуладзе строго посмотрел на меня, сказав несколько слов с кавказским акцентом, но, непонятно почему, я сразу почувствовал к нему доверие и симпатию. Он был одинокий, справедливый человек.

Наш классный наставник, толстый русский господин, мне, впрочем, не понравился; именно он следил за нашим поведением на улицах, в театре и откуда-то был осведомлен обо всех наших делах.

Учитель русского языка Радкевич нам замечательно интерпретировал литературу, заслушаешься и с досадой воспринимаешь пронзительный звонок — как жалко, что урок кончился! Мы писали ему сочинения по 30–40 страниц (мне кажется, никогда я не был так знаком с литературой, как в эти два года гимназии), издавали журнал, в котором помещались наши стихи и рассказы.

Толстенький маленький математик Асланов примирил меня с его специальностью — у него все было понятно (особенно после того, как я неожиданно получил пятерку, что меня обязало держать тонус).

Друзья были все — и грузины, и армяне, и тюрки, и русские, и даже немцы. «Хоть немец вы, а славный человек, ошибка ведь, воинственный наш век», — писал я четверостишие на Альмендингере. Но друг у меня появился один, и это был лучший друг молодых лет, — сидевший впереди меня на парте Марик Ротинянц.

У Марика были большие, умные и грустные глаза. Он был немного скептик. Вскоре же Марик сообщил мне, что безнадежно влюблен в девушку, жившую в Баку. Кажется, она предпочитает других поклонников, которых у нее слишком много, «но ничего не могу с собою поделать». Я ему сочувствовал, но пока еще не понимал.

Вскоре, однако, я понял друга, да еще как! Я стал заходить к Марику — он жил на Головинском (отец его был известным в Тифлисе врачом). В его комнате мы лежали на тахтах, рассуждая о жизни, политике, поэзии, но

не касались войны (застывшей тогда в зимних окопах). К тому времени вообще как-то перестали так остро переживать войну, как в первый год (по крайней мере, те, кто не воевал и продолжал жить обычной жизнью, и особенно те, кто не терял близких). Но грозное время вселяло в нас беспокойство, какую-то тоскливую неуверенность (куда идти?). «А ты говоришь о счастье, — сказал Марик, — его нет». И в эту минуту в комнату вошла его сестра Катя. И я сразу ощутил всем своим существом: вот оно, счастье! Какая прелесть, какой сияющий взгляд, какие нежные и в то же время чуть насмешливые губы! «Что вы так на меня смотрите?» — спросила она. Кате шел шестнадцатый год, она была небольшого роста и казалась простой и веселой девочкой. «Не мешай нам, мы философствуем», — буркнул ей брат. Она ответила: «Ну и философствуйте, Чайльд-Гарольды», — и скрылась.

«Девочка» потом оказалась вовсе не такой «простой и веселой». То есть она была, мне казалось, слишком веселой. Я вскоре стал считать, что она кокетка, что она нарочно меня мучает. Катя встречала меня то с ледяным безразличием, то с какой-то кислой или небрежной миной. С каждым днем я все сильнее влюблялся в нее, и чем более сухо она вела себя со мной, тем сильнее разгоралась моя любовь. Вскоре все вечера, а иногда и ночи я только и думал о Кате, писал ей стихи, и мне было сладостно-тоскливо. Сердце сжималось, я ходил около ее дома взад и вперед в надежде ее встретить.

Я угадывал издали и прятался за угол. Потом шел сзади. Мне хотелось целовать следы ее ног. «Черт знает что!» — вдруг спохватывался я, мне было стыдно, и не было, казалось, выхода.

Иногда она была приветлива. Как-то раз даже предложила поехать с Мариком и со мной в Самтависи — это было уже весной. Я ждал ее приезда, вычистил дорожки в саду, заставил отведенную ей комнату розами (мать даже как-то испуганно посмотрела на них и на меня), побежал встречать, но приехал один Марик. Катя кланяется, она уехала с компанией в Боржом. Выбрасывая цветы за окно, я говорил себе: «Ну и к черту, к черту!», но в первый же день в Тифлисе я побежал к ним.

Тем временем война оживилась. Упорная борьба на Ипре, отпор французских войск на Сомме, стойкая защита Вердена предсказывали неблагоприятный для Германии поворот судьбы. Америка вступила также в войну, что всеми расценивалось как знак неизбежного краха кайзера. У нас на фронте, впервые после мрачного отступления, предприняты были успешные контратаки армии генерала Брусилова на Стыри. На Кавказском театре мы наступали на всем фронте от озера Ван до Трапезунда. Войска



генерала Юденича подошли к Эрзеруму.

Армянские беженцы, нищие и истощенные, представляли горючий материал для вспышек эпидемических болезней; спасшиеся от курдской резни<sup>[15]</sup>, они погибали от дизентерии. Мой отец имел специальное поручение по организации медико-санитарного обслуживания беженцев. Либерально настроенные богатые армяне, в том числе и тифлисский городской голова Хатисов, доктор Оганджанов и другие всячески помогали ему средствами и людьми.

Однажды отец взял меня сопровождать его в одну из поездок в Армению. Мы проехали на машине через Дилижан, по берегу озера Севан. Библейские равнины вокруг синей глади вод, окаймленные фиолетовыми или красноватыми горами, и на синеве неба — яркие белые пятна Алагеза произвели на меня неожиданное действие: что ты все думаешь о Кате, говорил я себе, так красив мир и без нее; я почувствовал какое-то освобождение (оказавшееся, впрочем, эфемерным). Пыльные, жаркие, заполненные беженцами Эривань и Эчмиадзин — захолустные города восточного типа. Тогда я еще не знал живописи Сарьяна, а древняя архитектура армянских монастырей действовала лишь инстинктивно. Впрочем, я прочел какую-то книгу Амфитеатрова об Армении, ее отношении к Риму (теперь уже не помню, что там было написано, но помню, что она укрепила мое уважение к истории кавказских народов). Потом мы проехали по направлению к фронту, к Игдырю. Перед нами сиял Арарат своим белым, священным конусом — сколько потом я ни видел в мире гор, ни одна не произвела на меня такого сильного впечатления.

Вскоре был взят Эрзерум. По сему случаю «Тифлисский листок» напечатал мое стихотворение:

Пал Эрзерум, турецкую твердыню  
Сломили наши славные войска.  
Победы полной близок час отныне  
И наша цель конечная — близка и т.д.

Катя встретила меня словами «читала я ваши патриотические вирши», и я покраснел. Что за зуд такой — стихоплетство! «Напишите уж лучше пьесу о нас», — предложила Катя, валяясь на диване и укладывая свои ножки то над, то под пледом (мы были с ней всегда на «вы», хотя встречались почти каждый день на протяжении двух лет). «Ладно, — сказал я, — если вы будете играть главную роль».

Пьеса «Мы» была быстро написана. Это была комедия о нашей гимназической жизни. Мы разыгрывали ее в актовом зале, все смеялись. Для меня же вся соль была в том, что два персонажа были влюблены друг в друга, но все время ссорились между собой, но в конце концов как бы случайно поцеловались. И я на сцене поцеловался с Катей, и казалось, что... Впрочем, мало ли что могло показаться в хорошей игре артистки! Катя же была настоящая актриса. Она уже давно поставила перед собой цель — играть в Художественном театре в Москве, не иначе! Возможна и другая карьера — певицы. Катя училась в музыкальном училище (теперь консерватория), и я с замиранием сердца слушал, как она распевала, сопровождая себя, этюд Шопена «Грусть», а особенно — захватывающий романс Грига «Весной». Этот романс был написан для исполнения Нине, будущей жене композитора; поэтическую историю их любви я знал; он так тонко отражал мои мечты, мои чувства!

Слушать музыку вообще было точно быть вместе с Катей. В те годы в Тифлис на гастроли приезжали Рахманинов, Александр Боровский. В концертном зале Артистического кружка на Головинском (сейчас в этом здании какой-то грузинский театр — рядом с гостиницей «Тбилиси») мы слушали Первый концерт Рахманинова в исполнении автора, его большие руки извлекали волшебные музыкальные фразы первой части, и я смотрел по временам на сидевшую поблизости Катю; мне казалось, что одни из этих фраз передают ей мою любовь, а другие, капризные, немного раздраженные и непокорные, отвечают недоверием и даже игривой насмешкой. Каждый ведь вкладывает в свою музыку свое настроение, — но и теперь, когда я слушаю первую часть этого концерта, я как бы вновь ощущаю давно прошедшее чувство и воспринимаю обрывки того диалога.

Зато совершенно холодно звучали для меня все бесчисленные оперы, которые шли в Казенном театре. Этот большой театр в мавританском стиле имел очень пестрый репертуар, и мы пересмотрели множество опер, которые уже перестали исполняться на столичной сцене, — «Манон», «Таис», «Гугеноты», «Жидовка» и т.п. Театр был хорош, и в нем охотно гастролировали «перед взыскательной, но благодарной тифлисской публикой» знаменитые певцы из Петербурга и Москвы — Шаляпин, Собинов, Нежданова, Смирнов, Алчевский и т.д.

Катя бывала в театре редко и обычно с какими-то молодыми людьми; я ревновал ее к ним. Всякий раз я шел в оперу в надежде, что и она там будет одна, но уходил несолоно хлебавши — хотя вместе с тем я мог видеть ее (и обычно видел) чуть не каждый день у них дома, так как мы с Мариком были всегда вместе — то у них, то у нас.

На гастролях Собинова, на «Лоэнгрине», мы сидели в одной ложе. Катя была так хороша с немного надутыми пунцовыми губами и так мило одета, что даже мать ее, сдержанная дама, произнесла: «Катя, а ты сегодня хорошенькая». А Катя, сверкнув на меня взглядом, заявила: «Это потому, что я влюбилась. В Собинова». Я обиделся и, недослушав «Там далеко, за синими морями, высится гордый замок Монсальвар», вышел из ложи и побрел домой. Вагнеровские звуки еще струились во мне, и только они приглушили вспышку обиды.

Обычно я шел домой сперва по Головинскому, потом по Бярятинскому спуску мимо Александровского сада и через Воронцов мост. Но иногда я проходил мимо темной каменной стены нашей гимназии, дворца наместника, по Дворцовой улице, Эриванской площади и потом блуждал в улочках старого Тифлиса. Тут шла ночная жизнь в духанах, на перекрестках вертелись кинто, восточные женщины визгливо кричали, играла музыка, доносился ритм тамаша. Грязные лавчонки были уже закрыты, но пряный запах восточной пищи и фруктов стоял в воздухе. «Каспадин гимназист, карош каспадин», — говорили мне какие-то яркие девицы, но я ускорял шаги. «И почему я прилип к Кате!» — ругал я себя. Она южанка, она меня старше (хотя по годам и младше), ей не нужны такие молокососы. Студенты и офицеры окружают ее на балах, а я, жалкий гимназист, торчу в дверях и наблюдаю, как она носится с ними в вальсе (а я даже и танцевать не умею).

Однако любовь не мешала, а скорее способствовала моим другим интересам, особенно чтению. Я становился старше. Совершенно безразличен я стал к наукам естественным, точно никогда не смотрел в детстве с отцом в микроскоп. Рядом с нашей квартирой поселился молодой врач, увлекавшийся бактериологией и вступающий с моим отцом в длинные беседы на научные темы. Теперь я с отвращением слушал о микробах и болезнях, несмотря на любовь и уважение к родителям-медикам. Скоро уже кончат гимназию. Кем же мне быть? Только не врачом и не инженером.

С Мариком мы по очереди читали разнообразные книги. Мы читали «Братья Карамазовы» Достоевского и — в который раз! — любимые главы из «Войны и мира». Рудину мы предпочитали «Вешние воды». Читали «Санин» Арцыбашева (порнография!), но любили чистую «Викторию» Гамсуна. Мы прочитали исторические сочинения: «Величие и падение Рима» Ферреро, трилогию Мережковского и сличали историю Карамзина с историей Ключевского (обе нам нравились, хотя и с совершенно различных сторон). Мы проглатывали Ницше, Шопенгауэра, Отто Вейнингера («Пол и характер»). И вместе с тем мы изучали «Капитал» Карла Маркса (до

третьего тома так и не дошли) и быстро всасывали в себя «Происхождение семьи, собственности и государства» Энгельса — книгу, раскрывшую нам глаза на подлинные законы развития человеческого общества.

Политические убеждения наши были смутными. Мы периодически примеряли на себя различные партийные одежды. Мы были не прочь считать себя марксистами, но вместе с тем в нас рос, как на дрожжах, какой-то анархический, бунтарский индивидуализм. «Безумству храбрых поем мы песню» — эти горьковские слова мы понимали как девиз гордого, сильного, смелого человека, противопоставляющего себя «массе» с ее стадным чувством и безличным равенством. «Может быть, мы эсеры», — говорил один из нас. «Поди ты, — отвечал другой, — они эклектики и фразеры, у них нет научной основы». В конце концов, мы еще, возможно, малы и не знаем жизни. Вот в классе наш Джапаридзе знает что-то такое, более важное. Нам все время казалось, что в классе, а особенно в параллельном «Б», имеется какая-то группа с революционными, крайне левыми убеждениями. Возможно, что они большевики. Мы видели членов этой группы иногда вместе с рабочими (из арсенала). «Вот молодцы! — думали мы. — Это настоящее дело, а мы занимаемся любовными чувствами и читаем книжки».

Мы читали и Ленина, но тогда эти книги не были нам по духу (барским сынкам). Зато поэзия! В Тифлис приехали футуристы, и Василий Каменский, прогуливаясь всегда без шляпы (даже в Москве, зимой), декламировал:

О солнцедатная ты гор столица  
.....  
В твои загарные Востока лица  
Смотрю я, царственный Тифлис.  
Здесь все взнесенно,  
Как друг, стремительна Кура.

Была тогда мода на Игоря Северянина и Вертинского. «Ваши пальцы пахнут ладаном», «Где вы теперь, кто вам целует пальцы», «Ананасы в шампанском» породили у нас подражательское соревнование — и все стихи, свои и классические, мы перекладывали в ритм поэз.

В мути этих поэз, пригодных для веселящихся в ресторанах офицеров с фронта, вокруг которых увивались соблазнительные молодые женщины в ажурных чулках, как чистый кристалл звенел грустный голос юного

Есенина, а зычное «Облако в штанах» Маяковского, казалось, бросало вызов буржуазному мещанству. Но больше всего мы любили Блока.

На гимназических вечерах мы продолжали декламировать свои стихи. Но тут случился со мною казус. Однажды на таком вечере я вышел на сцену. Вижу перед собой во втором ряду Катю, улыбающуюся своему соседу, блестящему офицеру, черт его знает какого чина, с Георгиевским крестом. И вместо строчки «Где зеленеет дуб у ветхого забора» у меня выходит «И зеленый зуб у ветхого забора». Общий смех. Никогда после этого случая я не вылезал больше на сцену читать стихи.

И вообще пора кончать и со стихами, и с любовью.  
Все мечты отцветут и поблекнут с годами,  
Но пока мы юны — счастье наше в мечтах.  
Будет осень. Придут и дожди с холодами  
И увянут цветы на полях.

Это были последние мои стихотворные упражнения.

Между тем война шла своим чередом, и, казалось, ей не будет конца. Правда, союзники стали сильнее немцев, это становилось все более ясным, но наш фронт угрюмо ждал. Во многих семьях были убитые и раненые. Убит был Баград, сын самтависской учительницы. Пропал без вести наш Женя, хотя в списках убитых его не было. Встревоженный отец хотел было ехать на Западный фронт, но получил через шведское посольство ответ на запрос — Женя попал в плен.

Внутреннее положение страны явно изменилось. Забастовки и митинги прокатились на крупных фабриках и заводах Петрограда. После расстрела рабочих на Ленских рудниках<sup>[16]</sup> Государственная дума стала смелее. Депутаты открыто выступали против полицейского режима. Продолжавшиеся злоупотребления в деле военных заказов и на поставках обмундирования возмутили как общество, так и армию. Все чаще стали говорить о Распутине, о влиянии его на царское семейство. Потом — убийство Распутина, обнажившее моральное падение монархии. Министры сменялись. Штюрмер<sup>[17]</sup>, Протопопов<sup>[18]</sup> и Горемыкин<sup>[19]</sup> внушали отвращение в стране. Открыто говорили о необходимости коренной ломки строя. Прозвучала красивая историческая речь Милюкова «Измена или глупость!»<sup>[20]</sup>. И вдруг газеты засверкали сообщениями о радостных, захватывающих событиях. Демонстрация и восстания в Петрограде, Февральская революция. Отречение царя Николая в ставке в Могилеве.

Временное правительство. Керенский. Общее ликование, конец войне, «Да здравствует свобода!» и т.д. и т.п.

Общий энтузиазм охватил, конечно, всех — и нас в том числе. Я могу его сравнить *post factum* лишь с днями заключения мира после победы в Великой Отечественной войне с Германией. Это был бурный, мажорный подъем немного романтического склада. Казалось, воцарится мир, благоденствие народа, социальная справедливость — все испытания позади. Но испытания были впереди, новые испытания. Хотя, казалось бы, все очень рады — сразу же общество разделилось на партии, ставящие перед собою совершенно различные цели и имеющие не только разные программы, но и абсолютно несходные людские контингенты, разъединенные экономически, политически и психологически.

Большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, правые партии — все вступили в споры и борьбу за власть. Неясен был вопрос, что делать с фронтом. Открыть врагу — немцам, туркам? Держать его? Но дисциплина как-то сразу рухнула, солдаты стали стрелять в офицеров. Забирая с собою винтовки, они двинулись по домам. «Главноуправляющий» Керенский еще местами имел успех, но других уполномоченных Временного правительства встречали враждебно, а иногда их приканчивали. Железные дороги все больше и больше забивались демобилизованными.

В Тифлисе пока эти процессы были малозаметны. Мы готовились к выпускным экзаменам. А впрочем, кто готовится к выпускным экзаменам?! Это просто так говорится. Правильнее сказать, мы больше ничем не занимались и ждали: скоро конец гимназии, школьной жизни, новые планы, надежды!

Пора возвращаться домой. Отца ждут в Красном Холме, его избрали председателем городского совета заочно. А тут стали намечаться национальные устремления. Появились грузинские меньшевики, армянские дашнаки и азербайджанские мусаватисты. Сепаратистские тенденции пока еще гаснут в общем революционном фейерверке, но уже слышны лозунги «Свободная Грузия!», «Свободная Армения!», «Конец великодержавию!», и даже в словах «под гнетом царской России» чувствовался акцент не столько на слове «царской», сколько на слове «России». Даже в нашем классе, где мы, конечно, никогда в своих отношениях не разъединялись на русских, армян, грузин и т.п., теперь — в свободное, революционное время — появились зачатки национально-политических группировок.

После выпускных экзаменов, накануне отъезда домой, на север, я зашел прощаться с семьей Ротинянц. Мы душевно разговаривали, хотя я тосковал — Кати не было. Уже в передней мы столкнулись. «А я спешила,

чуть не опоздала», — и она повела меня в свою комнату. Я смотрел на нее — это была та же самая Катя, но она вся светилась симпатией.

«Вот вы уедете, и мы больше не будем ссориться, — сказала Катя. — Я ведь давно знаю, как вы ко мне относитесь. Но как я отношусь к вам, вы не знали. Не знаете, да я и сама не знаю». И в счастливом смятении я взял ее руку и прижал ее к своим щекам. «Скоро встретимся в Москве», — сказала она и поцеловала меня.

Наутро в 6 часов мы выехали — папа, мама, Левик и я. Автомобиль повернул на Головинской мимо заветного дома моих друзей. У ворот спящего дома ждал Марик. Он помахал нам рукой, но я соскочил с машины, и мы крепко обнялись. Я не знал тогда, что видел его в последний раз. Через год в составе национальных войск, защищавших Армению от германо-турецкой армии, Марик погиб на фронте. Через год Закавказье отделилось от Советской России в виде особого Кавказского союза, и вскоре распалось на отдельные национальные республики, не признававшие власть московских большевиков.

Я не знал тогда, что увижу Катю только через несколько лет, после сложных перипетий, после ее жизни в Бельгии, где она окончила университет. Уже замужем за известным журналистом-писателем она приехала наконец в Москву, все еще красивая; но взгляд ее уже не светился прежним сиянием, а выдавал утомление и нервность.

Наш автомобиль прокатил по горным ущельям Грузии, взобрался по Млетскому подъему, прошел заваленный снегом перевал и помчался мимо вечного и невозмутимого Казбека, через прегражденную весенними обвалами дорогу по ущелью, вперед, на Север.

Молодость есть молодость, и мне было грустно и весело одновременно.

## Московский университет. Революция

Неожиданно для самого себя я поступил на медицинский факультет. Отец сказал мне, что можно знать историю и литературу, будучи врачом (были же врачами Чехов, Шиллер и Конан Дойл!), а время такое, что прежде всего требуется конкретная практическая специальность.

Лето 1917 года я провел в Красном Холме, жадно читая газеты многочисленных партий и следя за лавиной политических событий. Барско-интеллигентному, хотя и демократическому кругу, из которого я вышел, события вскоре стали казаться тревожными. Мужики поделили помещичьи земли, стали жечь оставленные хозяевами усадебные дома. Это, впрочем, казалось нам более или менее справедливым. Хуже было то, что вернувшиеся с фронта солдаты чувствовали себя господами положения; они входили в состав рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и постоянно выдвигали различные крайние требования, казавшиеся нам демагогическими. Вскоре стало известно о приезде Ленина и готовившихся вооруженных выступлениях большевиков в Москве. Зловещие слухи о контрреволюции, растерянность партий, накалившаяся атмосфера социально-политических противоречий пришли на смену февральскому духу оптимизма и единения.

В Москве я поселился у дяди Сергея Александровича в Сытинском тупике, близ Страстной площади. Его дети — Любочка, Ася и Володя — раньше жили в Красном Холме, и между нами, детьми, были самые близкие отношения, а жена дяди, Любовь Николаевна, в свое время окунала меня, новорожденного, в купель. Теперь она была солисткой оперы Зимина, что давало мне возможность по вечерам по контрамаркам торчать в театре. И это было первым увлечением в Москве.

Я слушал «Золотой петушок», «Снегурочку», а позже «Орестею» Танеева (которую, кажется, кроме этого театра, нигде не ставили; нам она казалась скучной и длинной). Позже приехал из-за границы Шаляпин и пел Бориса Годунова (Любовь Николаевна исполняла партию Марины Мнишек — опера ставилась с дополнительными, обычно выпускаемыми сценами) и многое, многое другое. Я не забывал и Большого театра и даже участвовал в качестве статиста в «Тангейзере».

Оперный амок первых двух московских лет позже сменился другим: я стал ходить на симфонические и фортепьянные концерты. Прослушал весь цикл музыки Скрябина; я даже стал считать себя ее знатоком и



поклонником, читал книгу Сабанеева и, казалось, понимал, что возможен общий язык звуков и красок, что определенные ноты соответствуют красному или зеленому и т.п. тону; впрочем, больше всего мне все-таки нравились не «Прометей» и «Божественная поэма», а ранние шопеновско-листовские фортепьянные вещи Скрябина, особенно его этюды. Увлечение концертной музыкой совершенно вытеснило интерес к опере, и я перестал ходить на нее, тем более что в дальнейшем в обоих оперных театрах стали ставить революционные спектакли новых композиторов, которые мне казались натянутыми и растянутыми.

Другим увлечением первых лет было посещение цикла лекций по истории и литературе в Московском университете. Помню, как я первый раз вступил в ограду старого здания на Моховой и направо за калиткой обратился в канцелярию ректора. Я долго держал в руке мое заявление о приеме на медицинский и уже сел было за стол переписывать его на историко-филологический, но не решился на этот шаг, не посоветовавшись с родителями. Кстати, вся «канцелярия» ректора состояла из двух-трех комнат, в одной из которых сидел проректор, в другой — секретарь, почтенный чиновник, в третьей — какие-то две дамы. Как мы далеко ушли в наше время по пути прогресса канцелярского дела!

У меня в аттестате были пятерки и медаль, и я был зачислен сразу. Первым делом я пошел слушать не «свои» лекции, которые не интересовали меня даже из любопытства, а «чужие», благо посещение лекций было обязательным, а все университетские аудитории были свободными для любых студентов (а до ноябрьских дней — и любых граждан вообще, так как студенческие билеты обычно валялись дома, и никто не спрашивал пропусков). Не помню, в Московском ли университете или же в Университете Шанявского на Миусах (который я посещал также по вечерам) особенно нравились мне лекции профессора Дживеллечова.

Постепенно все же я втягивался в занятия на медицинском факультете. Первым делом, конечно, по анатомии. И не только потому, что сознавал важность этого предмета. И даже не потому, что профессор Стопницкий<sup>[21]</sup>, полный рыжеватый поляк, строго, а подчас издевательски спрашивал меня на зачетах и гнал за малейшую ошибку. Но главным образом потому, что в занятиях в анатомичке был особый для нас форс — как будто бы этот этап испытаний надо было спортивно преодолеть. Маменькины сынки и слабые барышни должны были пройти через это горнило. Прежде всего надо было заставить себя не бояться мертвецов в секционном зале. К счастью, они лежат там голые и потому не похожи на тех покойников в гробу, которые были страшны нам в детстве, в чаду церковного дыма и душераздирающих

причитаний и песнопений. Далее надо было приучить себя не обращать внимания на трупный смрад — самую отталкивающую вонь из всех противных запахов на свете. Девушки (среди нас их было первое время немного) душили крепкими духами носовые платки, но руки ведь заняты, правда, в перчатках, но не снимать же перчатки поминутно. В те годы трупы доставлялись в анатомичку, так сказать, в свежем виде — их лишь немного обрабатывали формалином, а когда была спешка, обходились и без него. Во всяком случае, это были не те сухие и бурые препараты, с которыми работают медики первого курса сейчас.

В сентябре мы зубрили остеологию, все эти сулькусы и процессусы. Обычно кости мы таскали в портфеле домой и там, раскрыв Шпальтегольца и Зернова, упражняли память. Само собой разумеется, что все запомнить можно было только до зачета. Но все же термины застряли в голове, и при случае можно было их выудить: правда, мне лично в последующие десятилетия медицинской деятельности ни один костный сулькус ни разу не понадобился. На зачете Стопницкий подбрасывал в воздух фаланги пальцев или косточки кисти и требовал, чтобы мы угадывали их еще в полете.

В октябре нас ввели в секционный зал и дали кому ногу, кому руку, кому шею или грудь — изучать мышцы и связки. Вооружившись скальпелем и пинцетом, мы разъединяли отдельные мышцы трупа (по свежим следам вспоминая остеологию) и в конце концов увлекались наглядностью работы (возможно, в эти дни среди нас уже зарождались будущие хирурги). Грязными, даже окровавленными руками студенты закуривали, вынимали завтрак и тут же у красного трупного мяса съедали с аппетитом бутерброд с ветчиной (сильно напоминавшей по виду объект нашей препаровки); только некоторые из нас предпочитали приносить с собой хлеб с сыром, яйца (то есть такие вещи, которые бы не были похожи на «миологию») и даже выходили завтракать в коридоре или во дворе.

Я уже смирился со своей судьбой (ничего не поделаешь — быть мне врачом), но на скучные ботанику и зоологию, физику и неорганическую химию не ходил; нам эти предметы казались повторением гимназии. Мы настолько втянулись в работу в анатомичке, что даже перестали соображать, что происходит вокруг.

После корниловского мятежа и развала Временного правительства мы просто ждали, что что-то должно произойти. В столовке на Бронной и особенно на Моховой шли какие-то митинги, какая-то борьба, висели объявления партий, избирались куда-то делегаты, мы читали о заседаниях так называемого предпарламента, об ожесточенных разногласиях между

партиями, выступлениях в Петроградском Совете, в котором большинство имели большевики. Столько всяких воззваний, митингов, речей!

И вдруг разразилась Октябрьская революция. 26 октября стали поступать известия о восстании в Петрограде, о штурме Зимнего, о создании Совета Народных Комиссаров.

Через несколько дней в новом здании университета было создано общее собрание. От имени Московской думы, руководимой меньшевиками и эсерами, взявшей на себя власть в Москве, ораторы призывали студенчество в «сей грозный для судьбы родины исторический момент» сохранить верность демократии, свободе и Учредительному собранию, которое должно быть созвано в скорейший срок и одно правомочно разрешить вопрос о форме правления и основных законах государства. На митинге выступал и представитель большевиков, который заявил, что правительство Керенского предало революцию, готовило измену, призвав войска генералов Краснова и Каледина, и должно быть свергнуто. «Вся власть Советам!» Под страшный шум и выкрики аудитории оратор сообщил, что рабочие, моряки и солдаты в Петрограде взяли власть в свои руки. Керенский бежал.

Ошеломляющее известие накалило обстановку. Выступали за единение революционных сил, за защиту свободы, против «губительных» действий большевиков, против «раскола революционной демократии». Приняли резолюцию оставаться в стенах alma mater и защищать университет. «От кого? Каким образом?» — спрашивали друг у друга не принадлежавшие к каким-либо партиям студенты и поглядывали на ворота — как бы улизнуть домой. Мы, первокурсники, стоявшие вместе в дверях аудитории, не склонны были влипать в «эту кашу». Правда, нам нравились больше речи эсеров и меньшевиков, но пугали и речи большевиков.

Подчиняясь чувству коллегиальности, мы согласились задержаться, нас даже поставили охранять вход в университет (без оружия, которого все еще не было). Срок нашей вахты кончился в 11 часов вечера, и мы теперь могли отправляться, если нам угодно, по домам. Нам это было очень угодно. Я вспомнил, что меня дожидаются дома и, наверное, очень волнуются, и позвонил Любови Николаевне по телефону. «Немедленно иди домой, — услышал я, — ни секунды не задерживайся, а то будет поздно». Я не понял, что это значит, но, так как наши предводители (которых я совершенно не знал) нам нехотя разрешили уходить, вышел на Никитскую улицу.

На улице творилось что-то необычайное. Какие-то солдаты везли пулеметы к Манежу, и совсем близко прогромыхал орудийный залп. Я

вобрал в себя голову и побежал вперед — к дому (это было начало штурма Кремля, где находились верные Временному правительству юнкера). Затем я услышал стрекот пулеметной очереди за Никитскими воротами. Публика бежала в разные стороны. Я пересек Тверской бульвар и по Бронной добрался до Сытинского тупика. С высоты пятого этажа мы смотрели на огни восстания.

Борьба продолжалась неделю. Недалеко от нас горело здание суда на Тверском бульваре. Все дни и ночи ухали разрывы артиллерийского обстрела, доносились пулеметные стуки. Электрический свет потух, хотя водопровод продолжал действовать. Жители дома выходили днем на улицу и в соседних лавках покупали на керенки хлеб, масло и овощи. Ночью дежурили по очереди в подъезде и прогуливались по Сытинскому тупику (якобы против грабителей, однако никаких грабежей в эти великие дни не было нигде). Телефонная связь прервалась, очевидно, были повреждены провода. Газеты не доходили — доходили лишь слухи. Сперва эти слухи были неопределенные, и жители дома, собираясь на дежурство, спорили. Одни (большинство) выступали за Временное правительство, другие (меньшинство) выражали общее недовольство революционными событиями и вздыхали о крепкой власти, болтали о генералах, которые якобы уже захватили Петроград и скоро наведут и здесь, в Москве, порядок.

Наконец юнкера в Кремле прекратили сопротивление.

Когда мы все еще жалась в Сытинском тупике, и я не отваживался доходить дальше Тверской, вдруг приехала моя мать. Она жила ту осень в Клину у наших родственников. События ее сильно взволновали из-за меня, и мать двинулась в охваченную восстанием Москву. Ей удалось с вокзала на извозчике кружным путем по разным переулкам добраться до нас. Нет сильнее любви, нежели любовь матери к сыну, — как это хорошо описано в литературе и как это я испытывал на себе всю мою жизнь.

Утром следующего дня выстрелы смолкли. Трамваи еще не ходили. Мы вышли на Тверскую. Народ шел к Центру.

Из расклеенных объявлений мы узнали о событиях, о выступлении Ленина в Смольном, о его «Обращении к народам и правительствам всех союзных стран» с предложением немедленного мира, о декрете 2-го Всероссийского съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, о земле и т.д. Войска Керенского, наступавшие на Петроград из Гатчины, были разгромлены моряками и рабочими над Пулковскими высотами. Члены Временного правительства арестованы, сопротивление потерпело полный крах. Однако на Дону Каледин объявил себя

командующим — там быстро оформляется центр контрреволюции.

Мы подходим к Кремлю. Туда не пускают, выносят убитых юнкеров. Говорят, большие разрушения. Снаряды повредили фрески в Благовещенском соборе; один из куполов Успенского собора разрушен, часы на Спасской башне разбиты и т.д. Кто-то сказал, что даже Луначарский, новый комиссар по просвещению, подавлен гибелью старинных художественных памятников, чуть не грозит отставкой.

В университете на Моховой — страшная картина. Группа студентов, оставшихся тогда на ночь, была мобилизована и оказала отпор революционным отрядам. Часть этих смельчаков погибла. В анатомическом театре, где мы еще десять дней тому назад мирно отсекали грудинно-ключично-сосцевидную мышцу, лежат в пальто и фуражках покойники. «И я бы мог лежать среди них», — подумал я, с ужасом рассматривая молодые мертвые лица. Но уже вовсе трудно было выдержать, когда какая-нибудь женщина с обезумевшими глазами или пожилой господин, съезжившись от горя, останавливаются над трупом своего найденного здесь сына. Возобновив через несколько недель анатомические занятия в этом злосчастном зале, мы, студенты, уже больше не болтали, не шутили, как раньше, перестали там даже есть и говорили лишь скупой и полусшепотом. С секционных столов смотрели на нас неизвестные наши товарищи, так безрассудно, по коллегияльной инерции, под гипнозом красивых слов о свободе и демократии, не понимая социальных основ развивавшихся исторических событий, потерявшие свои молодые жизни.

В то же время на Красной площади у Кремлевской стены рыли большую яму. На следующий день туда шли хоронить погибших «мучеников авангарда мировой социалистической революции». Огромные толпы простого народа, рабочих, солдат шли с красными знаменами за красными гробами. Братская могила поглотила пятьсот мертвецов.

А наша жизнь постепенно пошла своим чередом. Мы угрюмо начали заниматься, ходить на лекции. Все стали жадно читать газеты. Казалось, теперь мы вне пути. От того берега (царизма, Февральской революции) мы отстали, к другому берегу (порожденному Октябрьской революцией) мы пристали. Или, может быть, еще не пристали? Новая власть так смело переделывает страну. «Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем — тот станет всем». Чувствовалась твердая, жесткая рука подлинного народа — хозяина своей страны.

Летом я съездил в Красный Холм. Там было тревожно. Национализировали дома, лавки купцов. Были созданы исполнительный комитет, военкомат, но жизнь шла еще по-старому: ходили в церковь, на

базар, были еще лавки помельче. Горожане занялись огородами, ходили на собрания, на общественные работы; на базаре меняли костюмы и часы на муку и масло. Молодежь не унывала, распевала новые частушки, ходила на танцы. Буржуи прятались в оставленных им комнатах, молились, ждали.

С осени возобновились занятия на втором курсе медицинского факультета. Студенты вошли в Совет профессоров. Тогда высшая школа была объявлена свободной и как бы самоуправлялась. Новая власть была занята неотложными задачами защиты республики от контрреволюции, выкорчевыванием белогвардейцев и буржуев из общественной и государственной жизни, созданием Красной Армии, борьбой со спекуляцией и обеспечением продовольствием рабочих в Москве и Петрограде. Легально существовали левые эсеры и меньшевики. Горьковская «Новая жизнь» ядовито писала «о маленьких недостатках большого механизма».

Среди студентов продолжали существовать группировки, которые вели борьбу «за свободную демократическую школу». Многие стороны жизни стали более острыми и даже свободными. Создавались оригинальные театральные постановки, все театры были переполнены. В Политехническом музее близ Лубянской площади выступали со своими стихами какие-то новые персонажи, в том числе ничевоки<sup>[22]</sup> (один из которых, наш второкурсник, по-моему, просто нарочно валял дурака; мы-то это знали и удивлялись, как ему аплодируют, а не побьют просто-напросто). Скульпторы лепили какие-то мутные фигуры — крестьян с необъятно толстыми ногами (якобы символ крепкого стояния на земле или связи с нею), рабочих с мощными мышцами и скошенным затылком, красногвардейцев с шинелью, точно саван, и свирепыми, якобы непреклонными, главами. На скверах Москвы ставили алебастровые памятники Марату и Робеспьеру; часть их, впрочем, вскоре размокала от дождей и разваливалась. Была свободная любовь, свобода аборт, свобода и равенство полов, появились романы «без черемухи», в которых определенный акт объявлялся таким же легким и беззаботным делом, как «выпить стакан воды». И все это кружилось и жужжало на фоне громовых раскатов разрастающейся героической и трагической Гражданской войны.

В столовке на Малой Бронной давали «форшмак» из мороженого картофеля с селедкой и водянистый компот из сухих яблочных корок. Впрочем, временами вдруг выдавали яблоки — тогда вокруг Москвы оставалось еще много плодовых садов; жители запасались мешками яблок. Родители посылали мне посылки.

Мне понравились практические занятия по гистологии —

ароматические составы, в которых заключались препараты, тончайшие срезы на микротоме, чистые микроскопы, напоминавшие мне занятия отца с парамециями, и вместе с тем — вечную ценность настоящей науки, не зависящей от лозунгов и агитации сегодняшнего дня. Я стал больше интересоваться медициной и биологией.

Летом, на каникулы, я вновь поехал в Красный Холм. Отец был по-прежнему занят больными. Из уважения к нему исполком оставил нам каменный дом и сад. Комиссары были как будто любезны, но общее политическое положение ухудшилось. К тому времени Колчак занял Сибирь, Урал и часть волжских городов, на Украине хозяйничал Петлюра, и бродили в степях какие-то банды. В ответ на белый террор был объявлен террор красный.

По городу пошли аресты. Группа бывших богатых купцов и некоторые интеллигенты, известные раньше своей принадлежностью к партии эсеров, были взяты заложниками. К ним присоединили попа Маслова, известного своими либеральными взглядами, двух-трех кулаков из деревень, в свое время вышедших из крестьянской общины на отруба по столыпинскому закону, и трактирщика Кузнецова, спаивавшего народ водкой и дружившего при царе с приставом. Всех их увезли в Тверскую губчека, часть их потом расстреляли. Расстрел заложников, не имевших какой-либо конкретной вины перед советской властью за исключением их неважного прошлого (то есть только, возможно, психологически настроенных против социальной революции), поразил народ — не только горожан, но и крестьян. Вскоре по городу пошла волна обысков; обыск был и у нас, ничего предосудительного не нашли, обращались корректно, перечитали письма, найденные в доме и в амбулатории. Стоял жаркий июльский вечер. Ушли уже под утро, забрав некоторые книги по истории и газеты периода Временного правительства, валявшиеся среди старого хлама в сарае.

А молодежь веселилась. Катались на лодке. У меня завелись приятельницы, две сестры Барит, и я никак не мог решить, кто мне больше нравится — Аня или Эмме. Приехали гостить мои товарищи из Москвы, члены нашего Совета старост — во главе с милейшим Львом Брусиловским, а также Кекчевым<sup>[23]</sup>, Смеловым и другими. Это были талантливые юноши, умные и энергичные (в дальнейшем они стали профессорами в Москве). Мы ходили с ними по полям, побывали на деревенском празднике в селе Лаптеве. Не помню, что, собственно, мы делали, но у всех нас осталось какое-то светлое чувство от этой встречи в разгар Гражданской войны в тихом пыльном городишке.

Третий курс. Первое знакомство с медициной. Мы ходим на кафедру

диагностики. Профессор Кишкин<sup>[24]</sup> говорит о служении врача, сравнивает врача со свечой, которая светит и сгорает, он показывает нам тяжелого больного. Мы должны видеть Нурростатика<sup>[25]</sup>, ощущать запах больного и т. п. Через день больной умирает. Профессор показывает нам только что принесенные из прозекторской его органы — гангрена легких. Нелепый, трагический случай: через несколько дней профессор Кишкин умирает от сепсиса (он поранил себе на лекции скальпелем палец и занес инфекцию). Мы идем на похороны, я, как староста курса, говорю речь и повторяю пример: свеча сгорела.

В Ново-Екатерининской больнице преподает внутренние болезни профессор Петр Михайлович Попов<sup>[26]</sup> — он хромым гигант, важный барин с красивой головой, бывший лейб-медик царя, ученик Захарьина<sup>[27]</sup>. Его лекции мы слушаем как-то даже торжественно, хотя ничего, кажется, особенного в них нет, говорит Попов просто и неторопливо, без лишних слов. Зато его помощник, доцент М. М. Невядомский<sup>[28]</sup>, заливается соловьем. Он любит эндокринологию и ничего, кроме нее, не читает.

Вскоре хирург Граес упал с лошади (он ежедневно перед операциями ездил верхом кататься), переломил себе позвоночник, и мы вновь ходили на похороны. Умер кто-то еще из профессоров. Что они все умирают? — думали мы, не ощущая тогда «бренности житейской», не имея в голове мысли о смерти, которая придет позже, к старости.

Выслушивание, выстукивание, ощупывание, больные, болезни — вот предмет нашего увлечения. Вступление в медицину — захватывающая пора!

С наступлением холодов жизнь стала труднее. Клиники не отапливались — не было дров. Новый профессор диагностики, Е. Е. Фромгольд<sup>[29]</sup>, был всегда в белоснежных воротничках и манжетах, но мы сидели в аудитории в верхней одежде — кто в пальто, кто в полушубках или каких-то ватниках; студентки носили черт знает что и выглядели гораздо хуже, чем были в действительности (может быть, поэтому мы за ними почти не ухаживали в то время). Ассистенты раздевали больного, рядом с койкой ставили таз со спиртом и бросали туда зажженную вату; огонь светил мертвенно-синим пламенем, но почти не грел. «Вот здесь вы слышите бронхиальное дыхание, — говорил профессор, приглашая какого-нибудь студента послушать больного в стетоскоп. — А здесь — крепитирующие хрипы, так называемые crepitatio indurata». Больной дрожал и от своей высокой температуры, и от низкой температуры в аудитории.

За дровами для клиник надо было ездить в Кунцево. В Кунцеве нам



отвели для заготовок дров прелестные участки леса на берегу Москвы-реки. Уже выпал снег. Вооружившись топорами и пилами, мы весело рубили вековые деревья и, как и другие группы организованных москвичей, уничтожали могучие березы, чудесные липы, столетние сосны, видевшие, возможно, еще Пушкина и, уж во всяком случае, Тургенева (мы вспоминали его описание этих мест в «Первой любви» и «Накануне»). А что Тургенев, что липы? «Лес рубят — щепки летят», — говорили мы не про лес, а про жизнь, про судьбу России.

Мы были всегда немного голодны. В Москве жилось уже трудно. Любовь Николаевна как-то доставала еду через театр. Она постоянно где-то выступала на концертах; платили «за халтуру» пайком — хлебом, крупами, иногда колбасой, из дома мне посылали караваи черного хлеба, в которые запекались яйца (нельзя было посылать яйца как таковые). Мешочники заполнили поезда; дачные поезда привозили молочниц с разбавленным водой молоком.

Я съездил домой на два дня в связи со смертью бабушки и оттуда возвращался, одетый в броню — мешок в форме жилета, наполненный мукой. Муку провозить не давали. В поезде производили облавы на спекулянтов, наши же считали, что взять с собою в Москву муку на оладьи не значит идти против Советской власти. Ехать в битком набитом вагоне третьего класса с мукою вокруг тела была мука. Всю ночь, пока поезд тащился, простояли на ногах, под утро — пересадка на станции Бологое, надо было брать штурмом подножку или буфера в переполненном поезде, следующем из Петрограда. Но вот, слава богу, в Москве.

Голод и мешочничество породили вспышку сыпного тифа. В Москве открылось несколько сыпнотифозных больниц и барачков. Студентов призвали на тиф. Особенно много больных поступало с вокзалов. Тиф свирепствовал и среди бойцов, сражавшихся на фронтах Гражданской войны. Я нес дежурства. Больные бредили, умирали. Не было мыла. Вши стали врагом похуже белогвардейцев. Народный комиссар здравоохранения Н. А. Семашко<sup>[30]</sup> широко привлек к работе специалистов-инфекционистов, санитарных врачей (Сысина<sup>[31]</sup>, Флерова<sup>[32]</sup>, Тарасевича<sup>[33]</sup>, Барыкина<sup>[34]</sup>, Гамалею<sup>[35]</sup>). Считалось, что врачи готовы положить все силы на борьбу с эпидемиями и что они преданы стране, что не может быть и речи о каком-либо саботаже, и, каковы бы ни были их старые политические убеждения, врачи абсолютно готовы сотрудничать с советским правительством. Можно сказать, что эпидемии, не сломив нового строя, привлекли к нему стихийно медицинских ученых, медицинскую общественность.

На каникулы я еле добрался домой. Мне хотелось отдохнуть и поправиться. Но в Сочельник у меня повысилась температура, и вскоре я потерял сознание. Сыпной тиф был в тяжелой форме, опасались за исход. Только на девятый день я пришел в себя, но по временам продолжал еще бредить. Бред был красочный. Я чувствовал себя разорванным на части, куда-то лез — не то вверх, не то вниз, кто-то бил меня по голове и поджигал, но потом я ощущал, что нас двое: один — это я, другой — тот, с которым я спорил на собрании. Потом бред стал более приятным: море, детство, дома — и наконец, окруженный испуганными родителями, я очнулся, да, действительно, дома. «Как хорошо, что вы тут», — сказал я.

Ухаживать за мной приехал из Москвы Борис Тихвинский. Он только что вступил в партию большевиков, что не помешало нам быть друзьями. С его помощью я стал вставать. Мои кудрявые волосы стали падать, выросли потом гораздо более редкие и слишком мягкие — начало плеша. Чтобы наверстать пропущенные занятия, я читал Эйхерта и Штрюмпеля (толстые многотомные руководства). Вообще, мы не стеснялись размерами учебных пособий и читали подряд том за томом.

В Москве опять лекции. Профессор Гавриил Петрович Сахаров<sup>[36]</sup> по общей патологии читал об иммунных телах так, точно он их ощупывал или видел. Он был учеником Эрлиха<sup>[37]</sup>, говорил заикаясь, но четко и интересно. Временами Сахаров прибегал к шуткам, чтобы снять неизбежное утомление аудитории. Иногда эти шутки были вызывающими. Например, демонстрируя так называемую висячую каплю с кишечной палочкой (*V. Coli Communis*), он шутил: «Передаю вам по рядам висячего Колю-коммуниста». Студенты, в том числе большевики, смеялись, не обращая внимания на выходки уважаемого профессора, кстати, холостяка и церковного старосты.

Надо было добираться пешком от Страстной на Девичье поле. Трамваи не ходили. В комнатах поставили дымящиеся буржуйки. Свет давали скудно. Магазины были заколочены. Базары разгонялись. И все же жизнь продолжалась: спорили, заседали, учились, ходили в театр и на концерты. И я помню, в воздухе было что-то такое захватывающее, героическое, как будто стучала поступь истории. Нам нравились тогда «Двенадцать» А. Блока.

Лето — опять дома. Отец по вечерам стал подолгу ходить в поле, собирая гербарий (скирды, ястребинки и другие травы). У нас жил мой товарищ по университету Виталий Архангельский<sup>[38]</sup>, он смеялся, когда отец произносил «плод волосистый, с хохолком» (по поводу какого-то

растения), — Виталий вообще подмечал всегда что-то комичное и милое и весело шутил. Он готовил себя в специальности офтальмологии, работал у Одинцова; приехал к нам с целью попрактиковаться на приемах у отца. Больные по-прежнему приезжали по базарным дням, иногда за прием совали пятьдесят яиц, шмат сметанного масла или немного мучки.

Мой брат Левик учил музыку, ему шел пятнадцатый год. Левик декламировал: «Глупый пингвин робко прячет тело жирное в утесах», и я иногда думал, что эта строфа о буржуазных интеллигентах, о либералах, которые робко прятались в своей профессии и тоскливо читали газеты и все чего-то такого ждали. Нет, они ждали не реставрации монархии, а свободы, как они ее понимали (слова, верований, личности). Но все это объективно уже сделалось антисоветским. Все партии исчезли. Оставались один Ленин и его партия, а главное — класс, отстаивавший свое государство.

Четвертый курс — весь на Девичке, и я переселился в Лепшкинское общежитие (на Зубовской площади). У нас с Сережей Поздняковым была комната на двоих. Дружелюбный и сговорчивый Сережа оказался очень подходящим компаньоном.

Моя мать переехала с Левиком в Клин, поступила доучиваться на врача на медицинский факультет, на пятый курс, и по временам жила в том же общежитии.

Поздней осенью стало в номерах холодно, и мы перекочевали на кухню. Мы ложились на плиту, столы, на пол. По субботам на воскресенье мы отправлялись в Клин, где тетка Ольга Александровна кормила нас запеканками, морковниками и кофе с булочками. Ее муж, доктор Н. П. Петров, похваливал большевиков и продолжал принимать больных; у них было сытно, уютно, тепло, как обычно, точно ничего в мире не случилось, только кофе был желудевый и булочки из полубелой муки. В Москве же мы варили пшеничную кашу или черные макароны. Нам выдавали паек, не помню какой (сколько разных пайков было за время моей жизни!).

Старостаты были распущены, студенческое самоуправление шло к концу. Была назначена «тройка по социальному обеспечению», в нее входил студент Кечкер<sup>[39]</sup> (в настоящее время — мой сотрудник, главный врач Института терапии). Вскоре медики были военизированы (и улучшился их паек). Вместо старостатов для «технических учебных функций» были избраны курсовые комитеты.

На студенческих собраниях шла довольно острая политическая борьба, и коммунисты, опиравшиеся на военкома (и, конечно, на всю

систему), все же не противопоставляли себя студенчеству; они даже участвовали в выборах курскомов на пропорциональных началах (и получали около 20 процентов голосов). Во всех остальных сферах общественной жизни, кажется, свободные выборы уже прекратились.

Сейчас я уже не понимаю, почему мы тогда так цеплялись за «студенческое самоуправление», «за свободу высшей школы». Страна вела напряженную борьбу с контрреволюцией. С юга на Москву шел Деникин. Его войска уже подступали к Курску. Новая власть боролась с экономической разрухой, с эпидемиями. Мы ей сочувствовали в этом, но что-то мешало нам отказаться от мальчишечьей фронды, которая сложилась в студенческой общественной жизни. Впрочем, большинство студентов были поглощены занятиями, пайками, некоторые где-то работали санитарями или дежурили; нанимали нас и «санитарными врачами» для контроля за рынками, полными грязи и гнили (рынки уничтожали, но они опять вырастали, как крапива).

В свете последующих исторических событий наша возня лилипутов, притом без какой-либо политической программы, вне влияния февральских партий (по крайней мере, так нам искренне казалось), представляется бессмысленной. Возможно, в ней проявлялся протест против диктатуры, юношеское стремление к свободе, тем более что мы были в большинстве отпрысками буржуазной интеллигенции.

Между тем нависла опасность контрреволюции. Деникин все еще наступал, он подошел совсем близко к Туле. В Прибалтике появился Юденич, наступавший на Петроград. В Москве в осенние дни 1919 года на некоторых заводах вспыхивали волнения — то ли на экономической, то ли на политической почве.

А мы ходили в клиники и слушали лекции. Особенно нам нравились лекции профессора Д. Д. Плетнева<sup>[40]</sup>. Этот блестящий клиницист нас привлекал как диагнозами, так и острой и яркой речью. Всегда элегантный, менявший каждый день костюм, не говоря уже о рубашках, надушенный, сверкающий запонками, окруженный хорошенькими женщинами (студентками, ординаторами), он входил в аудиторию, полный какой-то внутренней силы, и начинал говорить в абсолютной тишине хриловатым, довольно тихим голосом. Плетнев не прибегал к пафосу. Он нередко запинаясь, перескакивая с фразы на фразу, иногда как бы искал их. Но говорил оригинально, задушевно и просто. Его было легко слушать, хотелось даже, чтобы лекция не кончалась. Его лекции были неожиданными и свободными. Ясно, что он никогда к ним не готовился, входя в аудиторию, не знал, о чем и как будет говорить. Это были

блестящие импровизации. Он держался в аудитории как артист — в лучшем смысле этого слова. Как у всякого человека, привыкшего публично выступать, притом с успехом, у него выработались определенные движения: то он подбоченится одной рукой и вытянет другой указку вперед, то он изящно проводит по своим рыжеватым усам, то указку занесет за спину и выпятит грудь с галстуком, всякий раз новым, то сядет, то встанет, то ходит, то остановится. Некоторые студенты-хирурги подсчитывали его позы и насмешливо нумеровали: это поза № 1, а это поза № 7, № 12 и т.д.; им бы только что-нибудь резать, а что они понимают в патогенезе? «В чем сущность данного заболевания?» — риторически восклицал Д. Д. Плетнев и уводил нас в дебри своих рассуждений.

В первом ряду обычно садились студентки, либо поклонницы, либо стремившиеся все записать. «О, это слишком учено, я не могла записать, это для врачей, а не для студентов», — ворчала некая Минтер, не пропускавшая лекций вообще и их не слушающая, а лишь механически записывавшая их, как стенографистка. У нас была такая категория, главным образом студенток; мы же лекций никогда не записывали и или заинтересованно слушали, или не слушали вовсе, занятые своими делами.

Мы — это, конечно, мои товарищи. Среди них первое место занимал Осип Львович Гордон<sup>[41]</sup>, будущий известный гастроэнтеролог, профессор Института питания, далее Роман Александрович Ткачев, будущий невропатолог, профессор Института неврологии, Олег Ипполитович Сокольников, будущий биохимик, профессор и директор одного из институтов<sup>[42]</sup>. К ним примыкали Николай Андреевич Шмелев, будущий фтизиатр-терапевт, член-корреспондент Академии медицинских наук, директор Института туберкулеза, Григорий Васильевич Выгодчиков<sup>[43]</sup>, будущий бактериолог, действительный член Академии медицинских наук. Как видно, подобрался довольно способный народ, из которого вышел толк. Все были тогда просты и милы, а впрочем, и в дальнейшей жизни сохранили прекрасные душевные качества, дружелюбие, преданность делу. Ясно, что это были и тогда очень способные и умные ребята; ведь мы сейчас внутренне мало отличаемся от того, чем мы были тогда («какими в колыбельку — такими и в могилку»), и в нашей душе теперь живут основы прежнего самосознания, сохраняющиеся, несмотря на дополнение и деформации в результате последующей жизни (то есть старение). «Да ты все такой же, как был в общежитии — помнишь? Только, конечно, внешне изменился, постарел немножко», — сказал мне недавно побывавший у нас на даче Поздняков, а я ему: «Да и ты, Сережа, все тот же». И так обычно.

Факультетскую хирургию вел И. К. Спижарный<sup>[44]</sup>. На этой кафедре уже тогда работали наши студенты — Б. А. Петров<sup>[45]</sup>, А. А. Ремизов, К. А. Маркузе и другие (часть их также вышла в профессуру). Группы эти были как бы замкнутым «государством в государстве», они ничем иным не интересовались, кроме операций да перевязок (или мы просто не знали, чем они еще интересуются). И. К. Спижарный любил читать о костях и выкрикивал фальцетом лекции.

Мы были кураторами одной больной, очень милой женщины, артистки. У нее была очаровательная девочка шести лет; фотокарточку дочки она держала на прикроватном столике. Молодая дама страдала желчнокаменной болезнью, приступы, правда, были редкими, но ее уговорили лечь на операцию. На операционном столе она говорила: «Я боюсь. Помните, что у меня есть дочь». Мы стояли рядом (мы с нею очень подружились, она нас угощала конфетами, а ей в палату мы приносили цветы), она, засыпая под эфиром, еще улыбалась нам. Операция затянулась. Хирург не заметил, что лигатура на культю желчного протока соскочила, и желчь пошла в брюшную полость. Не приходя в себя, больная скончалась. Мы были потрясены. Возможно, с того момента я и стал терапевтом.

На занятиях по акушерству мы заучивали «Правая ложка называется правой потому, что вводится правой рукой в правую сторону матери и не имеет замка». Рождение ребенка нас трогало, счастливая улыбка матери говорила, что все хорошо в этом лучшем из миров.

На лекциях по кожным В. В. Иванов<sup>[46]</sup>, угрюмый, сутулый дядя в военном кителе, скрипучим голосом говорил что-то об элементах (то есть кожных сыпях) и любовно ощупывал сифилитическую папулу, предлагая это делать боязливым слушателям, приговаривая: «Спирохеты не прыгают».

На лекциях по нервным болезням профессор Григорий Иванович Россолимо<sup>[47]</sup> нас всегда привлекал не математикой топической диагностики и не безрадостным лечением больных (да и сейчас оно почти не улучшилось), а своим обликом. Мы знали, что это друг А. П. Чехова. Кроме того, Россолимо был крупный ученый, известный своими оригинальными трудами (студенты, не вникая в суть этих достижений, обычно угадывали, кто истинный ученый, а кто говорит с чужого голоса). Наконец, он казался нам обаятельным в своем душевном подходе и деликатной речи. На праздновании Татьянина дня он нам, студентам, сказал, перефразируя слова Калигулы: «Как жаль, что вы не имеете одной головы, но не для того, чтобы ее снять, а чтобы ее обнять» (и я был горд,

что при этом он обнял меня). Правда, мы подсмеивались над его детскими тестами (определявшими внимание, комбинационные способности и т.п.), нам казалось, что умный человек по этим пробам выйдет в дураки, а дурак, чего доброго, сойдет умницей.

На рождественские каникулы я поехал домой. Только начал я флиртовать с девицей, какой-то беленькой курсисткой, на катке, как заболел мой отец. Он ездил незадолго до этого к больному на станцию Сопково и запомнил, что его укусила вошь в переполненном и грязном вагоне (первых или вторых классов уже не было). Через положенный срок начался сыпной тиф. Отцу было 62 года, у него был, по-видимому, склеротический шум в сердце; последнее время он часто жаловался на боли в груди, но не прерывал работы, а только говорил жене: «Зинаида, я скоро умру». Но обычно таким заявлениям никто не придает значения.

Я почти все время дежурил у него в комнате. Он был в сознании, мы даже обсуждали с ним «Закат Европы» Шпенглера (книгу, тогда наделавшую шуму). Я сообщил отцу о том, что нового известно по сыпному тифу (только недавно вышли на эту тему монографии). Он говорил, что голова у него не болит, только как-то маетно. В ночь с 5 на 6 января температура стала падать, но он потерял сознание, наступила агония, длившаяся до полудня Крещения.

Смерть отца всколыхнула весь город и окрестные районы. Гроб дорогого человека в привычных комнатах, в которых протекало ваше детство, — жуткое зрелище. Но дело не в этом, просто было бесконечно грустно. Это был большой удар для меня, и я сразу перешел из поры юности в пору зрелости. Хоронили торжественно, при небывалом стечении народа, все служащие, учащиеся и т.п. были отпущены со службы и занятий, а все учреждения города закрыты; из деревень приехали крестьяне; члены исполкома и друзья сказали хорошие речи.

Потеря отца — для сына как будто неизбежное, предусмотренное самой природой испытание, и оно обычно преодолевается, как бы ни были крепки родственные связи. И вот я снова в Москве; я был так глубоко потрясен, что сосредоточил все свои усилия не на том, чтобы казаться театрализованно мрачным, а, напротив, чтобы спрятать свое горе и не показывать его чужим.

Мрачная зима, казалось, на исходе. Вот уже и февраль 1921 года. События на юге приняли более благоприятный оборот, но вдруг разразился Кронштадтский мятеж. Это был, по-видимому, кульминационный пункт борьбы после Октября. Ведь выступили, пусть обманутые, моряки — те самые моряки, кронштадтцы, которые брали Зимний и разгромили

Керенского под Пулковом. В эти дни оживились вылазки эсеров и меньшевиков на заводах и в высших учебных заведениях.

В Богословской аудитории была созвана сходка, на которой от горкома партии выступал Невский по текущим событиям и призывал к отпору контрреволюции. Потом выступали студенты, и в том числе я (и кто меня дернул, просто не понимаю). Говорил я о желании молодежи иметь самоуправление, о свободе личности и слова. После меня выступил кто-то, заявив, что речь моя в такое время звучит не только несвоевременно, но прямо подозрительно. Я уже и сам понял, что наболтал лишнего, и все последующие дни был в беспокойстве, так как шли аресты студентов. Каждый вечер я ложился спать и прислушивался, не стучат ли в дверь. Бежать? Куда? Почему? Что я сделал преступного? Через несколько дней ночью действительно раздался стук, и два или три чекиста предъявили мне ордер на обыск и арест. Помню, я дрожал, старался сдержать дрожь и не мог. В этот момент вошла в нашу комнату моя мать и стала собирать мне вещи и продукты. Мы попрощались с нею и с товарищами по общежитию — все мое волнение разом стихло, стало даже интересно. Меня посадили в легковой автомобиль и по пустынным улицам повезли на Лубянку. Там дали заполнить анкеты: «Чем занимался до революции отец», «Чем вы занимались до революции», «Ваше отношение к советской власти». Этот последний вопрос поставил меня в тупик. Как ответить? Я сам не задавал себе этого вопроса: как, в самом деле, я отношусь к советской власти, как это сформулировать? Не отрицательное и не враждебное, это ясно. Написать «положительное, лояльное» как-то неловко, за что же тогда меня посадили, это уже было заискиванием.

Нет, ничего не напишу. Если спросят, скажу (так и не спросил никто). Какая-то девица, служившая там, мне показалась знакомой. «И я вас узнала, я же студентка 2-го Университета»<sup>[48]</sup>. «Вот тебе и на», — подумал я; следовательно, и у нас, поди, имеются такие.

Потом меня ввели в переполненное людьми помещение, так называемый корабль — очевидно, это был раньше склад или антресоли бывшего зала. Какие-то галереи. И вот я — заключенный. Все «политические» посажены недавно, много студентов, это перевалочный пункт, потом уже настоящая тюрьма. Мы знакомимся. Уже утро, но не хочется спать; нам приносят кипятку, мы едим то, что было с собой захвачено; как будто действительно куда-то плывем, может быть, в трюме. Потом вызывают по партиям сгребать выпавший только что обильный снег. Мы весело действуем лопатами, но слышим где-то вблизи шум проснувшейся Москвы, и меня опять берет тоска. Потом все ждут допроса.



Наконец на второй день — моя очередь. Прекрасная комната, удобное кресло, следователь любезен: «Садитесь, вы курите?» — «Спасибо, я не курю» и т.д. «К чему же клонились ваши призывы на сходке? — спрашивает он строго. — Ты, видно, отсюда не скоро выберешься». Стало быть, дело дрянь.

Мы разделись, нас повели мыться, вещи пересмотрели, а особенно взятый мною том «Внутренней секреции» Бидля, и по мрачным коридорам рассовали по камерам.

В камере, куда я попал, было человек тридцать. В углу стояла большая параша с мочой, окно забито решеткой, своды, стены и пол каменные. «Вот это тюрьма так тюрьма», — подумал я. Будили нас рано, мы убирали помещение, пили кипяток; на обед — какая-то похлебка с просом; днем — прогулка во дворе под присмотром конвойных, в круг, как на картине Ван Гога. Как-то раз вошла молоденькая женщина в халате — тюремный врач. «Нет ли больных? Не надо ли лекарств?» Мы благодарно посмотрели на нее, сказали: «Нет, спасибо», и уткнулись в свои жесткие соломенные подушки.

Шли тягостные дни. Время от времени часовой посматривал на нас из коридора через окошечко. Изредка — вдруг вызов: такого-то к допросу, такого-то с вещами. Хуже всего просто вызов, неизвестно с какой целью (может быть, расстрел?). Вызов с вещами означал или перевод в другую тюрьму, может быть, за город, или освобождение.

Наконец раздался вызов меня с вещами. До последнего момента я не знал, куда меня ведут, и вдруг увидел светлую улицу из арки подъезда. Часовой получил пропуск и выпустил меня за ворота. Я шел, лучше сказать, летел теплым апрельским утром по Садовому кольцу — домой. Я на свободе!

Быстрое освобождение мое могло зависеть от двух причин: 1) от отсутствия состава преступления и 2) от заступничества, тогда оно еще было возможно. Наш военком Попов, казавшийся всегда симпатичным парнем, совместно с представителями студенческих общественных организаций явились к Н. А. Семашко и просили за меня. Н. А. Семашко через три недели позвал их и сказал: «Он просто наболтал что-то. Надеюсь, обойдется».

И обошлось. Хуже вышло с некоторыми однокурсниками, которые участвовали в оппозиционных партиях. Они призывали объявить «забастовку студентов», их арестовали и отправили в тюрьмы на периферию, надолго. Часть их погибла, часть была выпущена без права жительства в Москве и в других крупных центрах («минус шесть»). Они не

закончили курса; правда, часть восстановили позже в вузе.

Я по-прежнему был старостой курса и не помню, чтобы ко мне изменилось отношение как студентов, так и профессоров; и коммунисты были со мной довольно дружелюбны — Сакоян, Коган<sup>[49]</sup>, Жоров<sup>[50]</sup> и другие (они сейчас работают вместе со мной в I МОЛМИ<sup>[51]</sup>). Как будто бы благополучный конец ареста означал «проверку».

Вскоре Москва хоронила великого революционера Кропоткина<sup>[52]</sup>. Через Пречистенку (затем — улицу его имени) шел бесконечный людской поток. Шли под черными знаменами анархисты; под плакатами своих центральных комитетов и партийными лозунгами шли члены партий меньшевиков, левых и правых эсеров, народных социалистов. На короткий миг блеснула иллюзия общности, единства демократических целей — и в звуках «Вы жертвою пали» и «Варшавянки» слышалась героика революций 1905 и 1917 годов. Правительство разрешило выпустить политических заключенных под их честное слово — с тем, чтобы после кладбища они вернулись в тюрьму. Кажется, то был последний акт их открытого участия в жизни страны; потом они сойдут со сцены совершенно, и только вспышки злобы этих отвергнутых народом групп в будущем еще потрясут Москву (покушение на Ленина).

На пятом курсе — новые профессора. Среди них привлекал нас своей просвещенностью и умной хирургической тактичностью А. И. Мартынов<sup>[53]</sup>. Этот ровный, благожелательный профессор говорил тихо, но студенты жадно ловили его слова.

Напротив, другой талантливый хирург, повторявший нам по нашей просьбе забытую с третьего курса оперативную хирургию, П. А. Герцен<sup>[54]</sup> — внук писателя А. И. Герцена, громко кричал на ломаном русском языке (он воспитывался во Франции): «Нэ бойтесь кравитечений. Какая красивая картина. Пальцевое прижатие — вот ино — хлоп!»

Психиатр П. Б. Ганнушкин<sup>[55]</sup> вел в обстановке аудитории интимные и проникновенные беседы с сумасшедшими; он умел показать особенности их болезни столь ярко, что потом, шагая по улице, мы выискивали у самих себя соответствующие признаки и невольно начинали считать фонари и окна домов или предаваться навязчивым мыслям. Мы находили в каждом из нас черты психиатрических типов или конституций. Часто пациенты говорили о Чека, выдавали себя за Николая II, Керенского или Ленина. На Ганнушкина ходили артисты, литераторы и интересные девушки. Сам он был Квазимодо, но неотразимо нравился всем.

На кафедру госпитальной терапии был переведен Петр Михайлович

Попов (из Ново-Екатерининской больницы). Это был наш старый любимец. Его вступительная лекция (в той самой аудитории, в которой я все эти годы читаю) запомнилась всем. Он говорил, что имел в жизни три страсти: лошади, женщины и медицина. К сожалению, вскоре Попов заболел, думали, плеврит. П. М. Попов в свое время учился вместе на одном курсе с моим отцом, и когда узнал о смерти отца, сказал (как мы все в подобных случаях говорим): «Скоро, чего доброго, и мой черед». Так и вышло. Плеврит оказался кровянистым. Я навестил больного дома, он задыхался «точно Левиафан, выброшенный на берег». «Я поставил сам себе диагноз: рак легкого», — сказал он. Мы хоронили его с особой теплотой.

Скоро уже конец занятиям. Опять дуют весенние ветры.

Мы устраиваем разбор «Записок врача» Вересаева. Сам писатель участвует в дискуссии в Большом зале консерватории. Он полноват и желтоват, не таким его представляешь по запискам. Одни из нас защищают неврастенический тон записок; другие отмежевываются от них, призывают к бодрости, уверенности. Медицина совершенствуется, общество уже не то, испытания будут, но все-таки «впереди — огни, впереди новые формы деятельности врача», — возглашает юный третьекурсник Жорж Левин<sup>[56]</sup>, симпатичный парень. (Отец его лечит Кремль<sup>[57]</sup>, а мать его, красивую даму, написал недавно художник Пастернак<sup>[58]</sup>.)

Жорж, конечно, социалист, как и мы все, но он под давлением семьи сыграл свою свадьбу по еврейскому обряду в синагоге. Мы, не желая его обижать, даже идем туда и стоим с брезгливой миной, посмеиваемся над приятелем, надевшим черный цилиндр. Потом за торжественным ужином поет Собинов, вернувшийся из-за границы, он был уже очень толст, с четырехугольным лицом и немного задыхался.

Вообще у нас пошли другие знакомства. Стал пробиваться наружу нэп. Спекулянты превратились в еще полутерпимых торговцев. Мы нехотя приходили ужинать к богатеющим евреям, слышали о каких-то сделках (меняли кровельное железо на мешки соли или иголки на сахар и т.п.). Мы давали себе зарок не ходить в такие места, но там кружились хорошенькие девчонки, они кокетливо одевались, напевали: «Прощайте, други, я уезжаю и шарабан мой вам оставляю» и т.д.

Очень миленькая Зина взяла как-то меня под руку и сказала: «А я учусь на фоне (факультет общественных наук в университете). Я хочу быть юристом-прокурором. Да нет, шучу. Я выхожу замуж за нэпмана, мне нравится сила в мужчине — сила ума, сила денег, сила положения, сила... — ну, словом, еще одна сила», — и она расхохоталась. Я не мог

понять, дурит ли она или просто таковы теперь девушки. Зина была стройной шатенкой с теплыми коричневыми зрачками, в которых сверкали камешки, щечки ее пылали розами. Мы ходили с нею к храму Христа Спасителя. Это был (опять был!) грандиозный, прекрасный собор из мрамора, с золотым куполом, сияющим над Москвою. Русский его стиль вполне гармонировал с золотыми луковицами чудесных кремлевских церквей. Несмотря на свои размеры, он был чрезвычайно легок, светел и пропорционален. Находились люди, которые говорили, что он не представляет никакой художественной ценности и олицетворяет собой лампадное православие. Внутри собор сверкал отделкой и прекрасными произведениями русских художников второй половины прошлого столетия. Он величаво стоял на берегу Москвы-реки, и с гранитных плит его лестниц мы любовались Кремлем. Была уже поздняя весна, продавали сирень. Мы с Зиной гуляли до рассвета, я не прочь был завоевать ее сердце — с тем, чтобы положить его в карман и там носить его, авось потребуется.

Как-то раз я явился к ней (она жила на Молчановке) с букетом сирени. «Что ты, жених, что ли?» — подумал я и положил цветы в переплет перил лестницы. Я позвонил, и мы рассуждали о чем-то, о жизни, любви, но так и не сказали о чувствах (да, может быть, чувств и не было — или они были не в должной концентрации). Когда она провожала меня, увидела поникшие цветы, посмотрела на меня и рассмеялась. Мы целовались, сходя по ступенькам, и в подъезде, но...

2 июля был выпускной вечер курса. Экзамены, их было двенадцать, прошли быстро, как проформа (я не помню, готовились ли к ним). Под утро мы отправились на Воробьевы горы. Там зеленела молодая листва, стоял сладостный запах цветения, томная прохлада. Мы бродили с Зиной. Я не знал, что делать. Она была хороша, меня тянуло к ней, но... Мне казалось, что наконец я свободен, жизнь моя впереди, я врач. Чувство независимости, желание нового, неизвестность судьбы манили меня. «Ты куда едешь?» — спрашивал меня Сережа Поздняков. Он знал, что профессор Плетнев получил отказ в ответ на его просьбу оставить меня в его клинике ординатором (ему назначили Пункерштейна, сын которого много лет спустя учился у меня в клинике ВММА). Д. Д. Плетнев несколько дней тому назад шел со мной мимо клиники на Девичьем поле. «Я уверен, что придет время, и вы получите мою клинику», — сказал он. И я был все эти дни горд от этих слов. А пока Плетнев дал письмо к петроградскому профессору Г. Ф. Лангу<sup>[59]</sup>. «Стало быть, ты едешь в Петроград», — сказал Сережа, а Зина посмотрела на меня немножко грустно. «Так мы расстаемся», — произнесла она тихо. «Да, — ответил я, — но...»

Что я хотел сказать этим «но»? Мы подошли к группе молодых врачей. Они кричали: «Да здравствует юность, наша alma mater, выпьем за наше будущее, за встречу!»

## Клиника Ланга. Ленинград

Я подъезжал к Петрограду в ясный сентябрьский день. На станции Любань к вагону несли огромные букеты осенних цветов — астр, георгинов; мальчишки совали кулечки с брусникой.

Старый Николаевский вокзал показался грязным и беспорядочным. Стояла осень 1922 года, а в последний раз я был в Петрограде в 1915 году. За несколько лет войны и революции изменилось многое. Невский, теперь проспект 25 Октября, казалось, был тот же, но дома облупились и облезли; вместо блестящей публики — разодетых модных дам, ярких офицеров, черных господ в шляпах — шли, как и в Москве, обычные «граждане»: женщины в виде мешков и с мешками, мужчины, приземистые в своих кепках и бурых пиджаках; рубашки темного цвета совершенно вытеснили белые воротнички; штанины брюк, широкие и мятые, довершали картину пренебрежения к внешнему виду. Большие магазины оставались заколоченными, но там и сям, особенно в старом коммерческом гнезде, по Перинной линии или в Апраксином дворе, уже открылись лавки нэпа. Нэп предпочитал пока вести торговлю в подъездах и на углах — он еще жался, боязливо озираясь: не обман ли новая экономическая политика, только что возвещенная Лениным?

Так как извозчика нельзя было найти (а такси тогда, конечно, еще не было), мы с моим братом Левиком пошли пешком с вещами, частенько останавливались, чтобы отдышаться; впрочем, до Моховой недалеко. Там мы временно остановились у отдаленных родственников, а через несколько недель переехали на Пантелеймоновскую в отличную квартиру какого-то еврея, у которого «все уехали» (куда, мы не спрашивали). Он нам сдал комнату и зало с отоплением за 40 рублей в месяц — очень дорого по тогдашним деньгам, — и мы стали искать другое пристанище.

Тогда в Петрограде квартиры пустовали. Можно было и купить их (просто владелец квартиры вам передавал ее за тот или иной куш, не помню какой, а сам выделял себе часть ее с отдельным ходом; управдомы и жилотделы обычно не чинили препятствия, если, конечно, они были в этом определенным способом заинтересованы сами). Но у нас не было для такой покупки ни денег, ни умения.

Вскоре нам помогла найти комнату А. А. Тхоржевская. Она жила на Сергиевской улице и, за отсутствием других занятий, сделалась управдомшей. Тхоржевская нас сосватала к некоему Шарфману, который

жил один, занимая шестикомнатную барскую квартиру, и он сдал нам за пустяковую плату удобную комнату; ему было скучновато одному; он предоставил в наше распоряжение и зало с роялем. То был холостяк, богатый в прошлом коммерсант, не желавший в новых условиях ни служить, ни начинать вновь «дело» («не верю, это просто ловушка»); Шарфман был к тому же стар, хотя к нему частенько приходила какая-то молоденькая особа, якобы родственница, которая оставалась в квартире ночевать.

Первые месяцы я работал в Государственном институте для усовершенствования врачей (ГИДУВ)<sup>[60]</sup> на Кирочной, 41. Я пришел с рекомендательным письмом Д. Д. Плетнева к профессору Георгию Федоровичу Лангу, тогда заведующему терапевтической клиникой этого института.

Профессор мне показался важным и властным; одет он был безупречно (всегда белые рубашки со сверкающими чистотой манжетами и воротничками и хорошо выутюженный костюм; к тому же он облачался в белоснежный длинный халат). Его глаза сквозь очки светились умом, пронизательный взгляд заставлял как-то сразу подтягиваться, делаться как можно больше на высоте своих возможностей, стараться не уронить себя случайной глупостью. Большая фигура Г. Ф. Ланга всегда выделялась на обходах среди толпы врачей — точно слона окружали какие-то другие, более мелкие и незначительные звери.

Профессор принял меня довольно сухо, хотя и любезно и, почти ничего не сказав, направил к одному из своих ассистентов, М. Э. Мандельштаму<sup>[61]</sup>. Я был принят как экстерн — работать в клинике бесплатно. В то время многие врачи работали в клинике экстернами. Одни из них — большинство — где-то служили (в амбулатории, в медчасти завода и т.п.); другие стояли на очереди на бирже труда (на Кронверкском проспекте) и жили на случайный заработок (уроки, разгрузка вагонов и т. п.) или на средства родителей. У Ланга врачей-экстеров было два-три десятка. Все выполняли одинаковую со штатными работу в соответствии с их степенью подготовки и стажем.

М. Э. Мандельштам принял меня также суховато, но любезно (как и шеф). Он дал мне двух-трех больных в своем отделении и предложил помогать ему в электрокардиографическом кабинете. Электрокардиограф был старый, конструкции Эдельмана, я ничего в нем не смыслил; меня просили только включать и выключать штепсель. Я включал или выключал штепсель и посматривал потом на схемы, которые были приготовлены для

усовершенствования врачей.

М. Э. Мандельштам был небольшого роста, худощав, с розовыми щеками и черными волосами, он был похож на Иисуса Христа. Говорил он точно, делал все систематически.

Через некоторое время Мандельштам пригласил к себе домой обедать; как хозяин, он становился другим человеком — сердечным и разговорчивым. Каждое воскресенье он кормил меня обедом. Жил он один — с отцом, в большой квартире (позже он женился на молодой приятной даме и имел милых детей). М. Э. Мандельштам был специалистом по сердечно-сосудистым болезням; имел практику, которая давала ему возможность поддерживать высокий материальный уровень жизни. Прибавлю, что в последние годы жизни Сталина, когда многие профессора-евреи должны были поехать в периферийные вузы, он, будучи уже многолетним профессором терапии в Ленинградском педиатрическом институте, заблаговременно отказался от кафедры, а потом, когда времена изменились к лучшему, стал делать тщетные попытки вернуть свою кафедру (клинику). От огорчения ли, от возраста ли, он стал болеть и потом умер. Это был честный, образованный, европейского склада специалист, компетентно изучавший некоторые частные вопросы кардиологии (и, я думаю, никогда не прибегавший к «преувеличениям», вольным или невольным).

Однажды я имел наконец честь докладывать Г. Ф. Лангу на разборе своего больного. Это был сложный случай селезеночного заболевания типа болезни Банти — с кровотечениями из желудка и прямой кишки. Г. Ф. Ланг слушал благосклонно и при обосновании диагноза как-то незаметно направил меня в неожиданную и весьма интересную сторону: нет ли у больного тромбоза селезеночной вены? Тогда еще эта форма ни в руководствах, ни в лекционном курсе не фигурировала (и, естественно, я о ней ничего не знал). Под конец разбора мне стало даже казаться, что данный диагноз был столь же Г. Ф. Ланга, сколь и моим (самонадеянность? педагогический прием учителя? или, вернее, и то и другое одновременно?).

Параллельно я стал посещать кафедру бактериологии профессора Г. Д. Белановского<sup>[62]</sup>. Я сидел там за столом с платиновыми иглами и делал посевы на чашках Петри и т.д. и т.п. Профессор читал глухо и сбивчиво, но он работал в Пастеровском институте в Париже, и у него были своеобразные взгляды по важным вопросам его науки (не помню, впрочем, в чем они конкретно состояли, просто он всегда имел «свое мнение», якобы им доказанное, что особенно важно в глазах начинающих). Человек он был симпатичный, немного барин и лентяй; дома — очень любезная семья,



меня просили играть Шопена, я, по молодости лет, играл, не стесняясь.

Вскоре мне была поручена — раньше, чем Г. Ф. Лангом — научная работа об антигенетике<sup>[63]</sup> для серодиагностики туберкулеза; я растил коховские бациллы на яичной среде и ставил пробы с этим антигеном с сыворотками больных по типу реакции Вассермана на сифилис. Вне зависимости от того, что получалось (данные в практическом отношении не очень определенные, а потому метод не нашел широкого применения), мне было полезно изучить методику (а скорее даже дух) бактериологической и серологической работы. Неожиданно быстро статья моя была напечатана во «Врачебной газете» — первый печатный научный труд, через год после окончания курса! Это было радостным событием, повышавшим меня в собственных глазах.

Забавно, что первая научная работа моя была не по той специальности, которой я занимался всю жизнь и написал в последующем соответствующее число статей и книг, — ни по бактериологии, ни по туберкулезу я больше никогда не работал.

Вскоре Г. Ф. Ланг решил уйти из ГИДУВ в I Ленинградский медицинский институт (I ЛМИ) (где он давно работал, начиная еще с ординатора Петропавловской больницы). Он предложил перейти туда и некоторым экстернам, в том числе мне. Ланг узнал, что я не очень-то материально обеспечен (нам с Левиком посылала деньги мать, продолжавшая жить в Красном Холме и принимать глазных больных после отца).

Штатных мест в факультетской клинике I ЛМИ пока не было; Г.Ф. предложил помогать ему на его частных приемах больных дома два раза в неделю по вечерам — за что он уплачивал мне по червонцу за прием (тогда уже была новая валюта). Так как зарплата ординатора клиники была около 80 рублей в месяц, то выходило, что он платил мне за восемь приемов в месяц ту же сумму. Г.Ф. принимал в кабинете; я сидел в соседнем зале. Пациент приходил сначала ко мне, я расспрашивал его о жизни, о болезни, заносил все эти краткие данные на карточку, измерял все: пульс, кровяное давление. Потом — пауза. Г.Ф. еще не отпустил предыдущего больного; через дверь слышен его императивный голос: «У вас я ничего не нахожу. Только нервность на почве переутомления. Вот вам микстура, принимать так-то и так-то. Когда прийти вновь? Не надо. Все пройдет». Действительно, обычно все проходило. Большинство пациентов были невротики или мнительные, или кем-то (часто врачами) испуганные люди, им было важно побывать у знаменитого профессора, после чего они вскоре забывали о том, что считали себя еще недавно больными. На приеме

Г. Ф. Ланга я убеждался в том, как велик суггестивный компонент в лечении. И мне с тех пор понятно, почему в век расцвета терапии (антибиотики, гормоны, витамины) все еще популярна гомеопатия. Маленькие блестящие зернышки, полученные из рук знаменитого гомеопата (по сути дела, абсолютного шарлатана) действует так же, как бром с валерианой, полученные по рецепту Г. Ф. Ланга.

Г. Ф. Ланг во время своих приемов проявлял еще одну важную черту: он избегал обманывать больных, он всегда находил слова, которые бы давали понять больному сущность болезни. И хотя в прихожей была вывешена такса гонорара, он никогда не пользовался своим авторитетом с точки зрения выгоды, не назначал больным зря прийти второй раз или не отправлял на излишние исследования и консультации, не принимал денег, которые ему больные совали для того, чтобы он их положил к себе в клинику.

Сколько замечательных людей из ленинградской интеллигенции повидал я на этих приемах! Шлиссельбуржца Н. А. Морозова<sup>[64]</sup>, основоположника советской оптики Д. С. Рождественского<sup>[65]</sup> и других.

Приходилось мне — в связи с консультациями Ланга по лечкомиссии — быть у Зиновьева<sup>[66]</sup> и Евдокимова<sup>[67]</sup>, руководителя ленинградской партийной организации. Зиновьев был толст и зол, а Евдокимов искренне любил город, восхищался им даже как-то поэтически (он, кажется, тоже расстрелян?).

В перерыве между записями больных у Г. Ф. Ланга я читал медицинские иностранные журналы; Г.Ф. выписывал их около двадцати; кроме того, постоянно приходило по почте много бандеролей с иностранными марками с книгами. Вообще у Г. Ф. Ланга была превосходная библиотека, которой пользовались его сотрудники, они приходили читать журналы и книги в отведенную для этого специальную комнату. Г. Ф. Ланг отличался умением быстро улавливать самое главное, отличать нужное от ненужного; он обладал не только исключительной эрудицией, но и особым складом ума, позволявшим громадные литературные материалы быстро приводить в стройную и эффективную систему. Его критический ум не поддавался на моду, сенсацию, хотя каждую новую идею, новый метод он отмечал с интересом.

По окончании приема Мария Алексеевна, его жена (теперь — заведующая кафедрой патологической анатомии в I ЛМИ), приглашала нас к столу; это была приветливая и воспитанная дама, высокого роста, блондинка, с крупным полным лицом; детей у нее не было (у Г. Ф. Ланга

были дети от первой жены, изредка приходившие навещать отца).

Через год я получил штатное место ординатора клиники.

Ходить на работу было далеко, и мы стали искать квартиру на Петроградской стороне. Сперва поселились у какой-то странной особы, которая одна занимала семикомнатную квартиру на Каменноостровском (улица Красных Зорь); комнаты были заставлены богатой мебелью, стоял адский холод; мы поставили буржуйку в своей комнате, рядом с кухней. Потом мы переехали на Большую Дворянскую и зажили хорошо и спокойно. У нас была большая, отличная, теплая комната, хозяйева — милые люди; дочь их — молодая женщина, привлекательная с виду, была где-то артисткой, живая и остроумная особа, и мне немного нравилась (и я ей).

В клинике все годы шла интенсивная и увлекательная работа. Я ходил туда пешком к девяти часам и возвращался домой в шесть. Все молодые врачи активно участвовали в занятиях со студентами. Я довольно быстро стал замещать ассистента М. Я. Арьева<sup>[68]</sup>, который приходил в клинику лишь по определенным дням. М. Я. Арьев, мой второй после М. Э. Мандельштама непосредственный руководитель, был красивый мужчина с мефистофельским обликом; он был также кардиолог и вскоре написал отличную монографию о мерцательной аритмии и ее лечении хинидином. Мы с ним находились в дружеских отношениях в дальнейшем.

Впрочем, в клинике Г. Ф. Ланга все относились друг к другу хорошо. Это была как бы одна семья, объединенная отношением к шефу и увлечением научной работой. Я не помню, чтобы кто-нибудь с кем-нибудь там ссорился или был в натянутых отношениях. Лишь позже стали выделяться группировки сотрудников, более тесно связанных друг с другом, нежели с другими, но не настолько, чтобы возникали личные нелады.

Старшим ассистентом была Н. А. Толубеева, требовательная особа, которую молодежь побаивалась, так как она могла сообщить оценку вашей личности и ваших проступков Георгию Федоровичу, а все мы хотели показать шефу себя с лучшей стороны отнюдь не из-за соображений карьеры, а из самых лучших побуждений (уважения, самолюбия).

Занятия со студентами четвертого курса, естественно, привели к тому, что молодой ординатор стал ухаживать за хорошенькими студентками, и, наоборот, студентки стали ухаживать за молодым ординатором; они даже преподнесли ему шуточный подарок — шнурки для штиблет (после того как на обсуждении какой-то проблемы в палате увидели на одной ноге преподавателя вместо шнурка бечевку).

Весною мы ходили на острова, в белые ночи любовались на

серебряную гладь Невы перед восходом солнца. Кира Кульнева, дочь одного из наших профессоров, писала стихи; это была милая девушка с тонким умом и горячим сердцем.

Если уже писать о романтических делах, то через два-три года после приезда в Ленинград у меня появились почти в одно и то же время сразу три приятельницы, среди которых ни одной я не мог отдать предпочтение.

Татьяна Сергеевна Истаманова<sup>[69]</sup>, черненькая маленькая ординаторша клиники, начала со мной вести экспериментальную работу на кроликах. Мы вырезали у них селезенку и смотрели за кроветворением по кусочкам костного мозга, получаемым посредством резекции ребра. Маленькая комната, в которой велись исследования, получила название «крольком». Ловкие руки молоденькой девушки, ее пышные волосы, задевающие мое лицо, гибкие движения, живая острая речь сделали свое. Я стал получать от нее письма, она их оставляла в кармане моего халата или в тетрадке записей; это были пылкие излияния, очень милые и лестные; я отвечал. «Эпистолярный роман» вначале не сопровождался другими проявлениями; впрочем, мы встречались в филармонии на бетховенском цикле концертов дирижера Оскара Фрида или вдохновенных концертах Отто Клемперера. Позже я стал заходить к Т.С. на квартиру, но тут я обнаружил, что в письме — одно, а на практике — другое. Я примеривал: хочу ли я, чтобы она стала моей женой. Нет, не хочу.

Ирина Скржинская была крупной, мускулистой девушкой с низким контральто; в клинике она сидела в рентгеновском кабинете. С наступлением весны все свое свободное время она проводила на Невке, занимаясь гребным спортом. Ирина жила на Крестовском острове; сад их дома выходил к реке. Загорелая, крепкая, полуобнаженная фигура ее казалась мне бронзовым изваянием какой-нибудь античной (правда, грубоватой) богини. На одноместной гоночной лодке она выглядела, впрочем, иногда довольно ребячливо. На женских состязаниях она занимала первое место. Вместе с тем она была очень интеллигентная девушка, цитировала Мицкевича и Анну Ахматову. «Не любишь, не хочешь смотреть? О, как ты красив, проклятый! И я не могу взлететь, а с детства была крылатой».

Я переболел желтухой (болезнью Боткина), и эта болезнь дала мне толчок к изучению вопроса о желтухе и пробудила интерес к патологии печени. Еще лежа в клинике, в маленькой палате, я перечитывал старые и новые работы по этим вопросам. Именно тогда и родился у меня план последующих исследований в данной области.

Всю зиму и весну 1924 года после острой желтухи я ощущал тупые

боли в печени, она была увеличена — и летом мне посоветовали поехать в Ессентуки.

Мы отправились на юг с семьей Скржинских: Ирина с сестрой и матерью ехали в Крым, я решил их «проводить» и потом из Крыма морем через Новороссийск проехать на курорт.

В Джанкое Скржинские должны были пересесть на поезд в Феодосию (сестра Ирины была археолог и занималась гетуэзскими башнями в Судакe), но дочь упростила мамашу отпустить ее со мной прокатиться до Ялты. Ялта была тогда малолюдной, заброшенной, что придавало городу особую прелесть (увы, исчезнувшую). Мы остановились в какой-то гостинице, попросив два номера. «Зачем же вам два?» — спрашивал насмешливо портье. «Не ваше дело», — ответил я, вспыхнув. Два номера оказались смежными, сообщавшимися между собою через балкон.

Утром мы купались в море, потом бродили по Воронцовскому парку, весело обедали. Вечером прибыл пароход, на котором я должен был плыть на Кавказ, а она — в Феодосию. На палубе мы встретили моего приятеля по Московскому университету — Виталия Архангельского. Он, как и раньше, смешил нас, мы весело проболтали, спасаясь всю ночь от июльского ночного холода у паровой трубы.

Ирина сошла в Феодосии, а мы отправились дальше, в шторм; в Керченском проливе нас сильно качало. Добравшись до Новороссийска и сойдя наконец на землю, Архангельский посмотрел на море и, сказав: «Прощай, свободная стихия», плюнул в него.

В Ессентуках я скучно ходил по парку после грязевых лепешек на область печени. У источника № 17 я пил через соломинку горьковатую воду. На почте я получил два письма — от Ирины и от Татьяны. Первая писала, как она ждет встречи в Ленинграде, чтобы наконец все решить («Что решить?» — думал я с тревогой). Вторая сообщала, что едет в Тифлис и проездом собирается заехать ко мне. Я отправился ее встречать в Минеральные Воды, но опоздал. Тем временем Татьяна, не найдя меня на платформе, села в вагон курортного поезда и очутилась в Ессентуках. Найти меня там было, конечно, невозможно, и она оставила на почте «до востребования» заплаканное письмо, полное упреков попеременно с нежными словами. Вернувшись в Ессентуки, я, конечно, не пошел «до востребования» и только через два дня получил письмо.

Бросив лечение, я поехал в Тифлис. Вновь Военно-Грузинская дорога. Милый Тифлис, где прошли годы гимназии, дружбы, любви. Меня встретили Татьяна и ее дядя-профессор; жара, холодная ванна, сочные персики, чудное вино и т.д. Потом мы бродили по Головинскому (теперь

проспекту Руставели); дойдя до дома Ротинянц, зашли к ним — никого. Родители умерли, Катя за границей. Воспоминания о прежнем нахлынули на меня; я вспомнил, что такое любовь, и почувствовал, что ее со мной нет.

В Ленинграде мы все встретились в клинике. С Ириной мы продолжали часто встречаться — купались в Сестрорецке, катались на яхте в заливе. Она ждала моего предложения, а ее мать, почтенный психиатр, считала меня женихом. Но у Ирины стала повышаться температура, она стала кашлять — и у этой цветущей спортсменки открылся легочный туберкулез. Ее отправили в Детское Село, потом в санаторий «Халила» — по ту сторону границы с Финляндией. Часто я получал письма с финскими марками, письма, полные юмора и задушевности. Возможно, мои письма постепенно стали все короче и холоднее.

Наташа Белоногова появилась именно в этот период. Это была высокая блондинка с большими голубыми глазами навыкате; тощие ноги придавали ей легкость, она была худенькой, вся в длину. Душилась она крепкими духами («четырёх королей»); запах духов смешивался с табачным, так как она безостановочно курила. Было в Наташе что-то такое, что привлекало внимание, хотя не было недостатка и в пренебрежительных эпитетах по ее адресу («базедовичка», «скелет» и т. д.). Она была капризна и привередлива, но очень хорошо отличала, что благородно, что пошло.

В отсутствие Левика она приходила на Большую Дворянскую; обнимая ее, я чувствовал, как она хрупка и костлява, как далека от моих мечтаний о любимой женщине, — и притом этот табак! Но ее живой ум привлекал меня. В конце концов, пришло время жениться, чего доброго. Какая же из трех? Заблудившись в трех соснах, я мечтал о какой-нибудь балерине, артистке, а это все коллеги по клинике.

В январе 1926 года я как-то был дежурным врачом. В комнате для сестер я заметил хорошенькую девушку, которая недавно поступила к нам и как-то раз работала и в моей палате № 4, похожую на Мэри Пикфорд<sup>[70]</sup> (тогда все любовались этой артисткой). Некоторые студенты, курировавшие больных, частенько останавливались у ее стола, и сестра улыбалась. Я увидел, что она надела шубку, очевидно, отправилась за лекарствами в аптеку. Я вышел вслед и догнал ее во дворе больницы. Оказалось, что ее звать Инна, ей 19 лет, отец ее умер, мать работала на фабрике, теперь — нет, у нее еще три сестры младше ее. Инна говорила весело, простодушно улыбалась. Рот, глаза, талия — мне все вдруг так понравилось, что я стиснул ее и поцеловал. Так начался — совершенно неожиданно — наш роман.

Вначале я считал все это просто забавой. Но Татьяна, Ирина и Наташа

сразу куда-то отошли вдаль. Аппетит приходит с едой. В мае я уже чувствовал, что влюблен, а 2 июня мы уже шли в загс. Был теплый день, собиралась гроза, но опять засветило солнце. Потом мы были у нее дома, там собрались какие-то простые люди, после чего я привел ее на Дворянскую (Левик занял другую комнату в этой же квартире, он уже оканчивал университет). «Условимся, что это у нас пробный брак — через год разведемся», — сказал я. Инна, смеясь, соглашалась. Теперь, когда я это пишу, идет уже тридцать пятый год — и она тут стоит рядом.

Так я женился. Потом мы съездили в Красный Холм к матери. Та не была в восторге от случившегося. Ей хотелось бы, чтобы ее сын женился на принцессе или по крайней мере на талантливой пианистке или ком-нибудь в этом роде. А молодая не только не играла на рояле, она после обеда, встав из-за стола, подходила к хозяйке и по-простецки благодарила за руку. Только позже, со свойственной женщинам переимчивостью, она усвоила принятые в интеллигентном обществе манеры и заучила фамилии Шопена, Рахманинова и т.п. Нельзя сказать, чтобы Инна ничего не знала — она окончила школу второй ступени, немного учила даже французский, даже стишки писала, собиралась поступить в балетное училище или в театральную студию, но после смерти отца должна была, совсем девочкой, работать, чтобы получать средства к жизни. Она работала оспопрививательницей в Вологодском уезде, потом сестрой — и приехала наконец в свой родной город Ленинград.

Осенью я получил место ассистента в клинике Г. Ф. Ланга. К тому времени у меня появились научные работы по холестерину, одна из которых — холестерин в крови при атеросклерозе — была одной из первых по этому важному вопросу; ее я сообщил на съезде терапевтов, притом успешно (с этого доклада пошли мои дальнейшие, обычно успешные, выступления в научных обществах и съездах). Ее напечатали и в немецком «Zeitschrift für klinische Medizin»<sup>[71]</sup> и в дальнейшем в связи с этим стали цитировать в западноевропейской (а позже и американской) литературе. Хотя тогда работы по холестерину и очень меня увлекали (а Г. Ф. Ланг в шутку как-то назвал меня Cholesteringlehrter<sup>[72]</sup>), я не предвидел, что в будущем теория Н. Н. Аничкова<sup>[73]</sup> и проблема холестеринового обмена приобретет такую широкую популярность во всех странах мира и будет вновь изучаться и у нас — и именно с моим существенным участием. В другой работе я угощал яичными желтками студенток и врачей клиники и следил за холестеринемией. Затем изучался уровень холестерина в крови в зависимости от конституции, а также совместно с моим сотрудником

Б. В. Ильинским<sup>[74]</sup> (в будущем — профессором) — о пути всасывания холестерина в кишечнике и т.д.

Позже, по поручению Г. Ф. Ланга, я переключился на работы по изучению сердечно-сосудистой системы. Мы, совместно со Скржинской, А. А. Мюллер и другими, изучали вопрос о так называемом периферическом сердце. Под этим термином М. П. Яновский (между прочим, в свое время начал Г. Ф. Ланг у него свою академическую карьеру) понимал способность артерий сокращаться перистальтически, то есть гнать активно вперед кровь (как кишечник гонит к заднему проходу свое содержимое) и тем помогать «центральному сердцу». Мы различным образом проверяли доказательства, выдвинутые школой Яновского в пользу своей теории, и не нашли им подтверждения. Все эти данные были сообщены на Всесоюзных съездах — сперва мною (тему доклада «Клинические данные о так называемом периферическом сердце» П. И. Егоров едко перефразировал: «так называемых клинических данных о периферическом сердце»), а потом — в обстоятельном докладе Г. Ф. Ланга, после чего вся эта кустарная концепция прекратила свое существование.

За описываемый период в Ленинградском терапевтическом обществе имени С. П. Боткина делались доклады, хорошо запомнившиеся по их значению в нашей науке. Так, выступал Г. А. Ивашенцов<sup>[75]</sup> с характеристикой описанной им (совместно с Кулешей) новой болезненной формы — паратифобациллеза, присоединяющейся к возвратному тифу («желчный тифоид» старых авторов, Гризенгера и др., впервые наблюдавшийся в Каире). Молодой, красивый Глеб Александрович всегда привлекал наши сердца (особенно женские). Прошло немного лет, и его не стало: как-то вечером он переходил Невский и попал под грузовой автомобиль.

М. Д. Тушинский<sup>[76]</sup> представил данные об успешном лечении гангрены легких салварьином<sup>[77]</sup>. Михаил Дмитриевич всегда пользовался общей симпатией за свою непосредственность, за прямолинейность. Иногда, впрочем, эти качества переходили через край. Он все время как-то вертелся, не сидел на месте, поминутно вскакивал помогать докладчику показывать таблицы, бегал выключать свет. Лекции этот профессор читал бессистемно, субъективно, но привлекал шутками. Он был, конечно, оригинальным человеком, наблюдательным исследователем и врачом, как говорят, с интуицией; он отмечал такие черты болезни, которые выходят за рамки стандартных академических данных (особый вид пальцев, вид мазка крови на стекле, запах больного и т.п.). Излюбленные его области



медицины — гематология, болезни легких, острые инфекции.

М. И. Аринкин<sup>[78]</sup> сообщил о своем методе исследования костного мозга посредством пункции грудины. В настоящее время этот метод получил всеобщее признание как у нас, так и во всем мире и является одним из подлинных достижений советской медицины. Тогда, в 20-е годы, не было недостатка в скептиках (не опасно ли проткнуть грудину и попасть в органы средостения? отвечает ли составу костного мозга та жидкость, которая насасывается иглой? показателен ли счет кровяных элементов в этих каплях? и т.д.). Даже сотрудники Г. Ф. Ланга (да и он сам) не видели большого преимущества метода для диагностики по сравнению с исследованиями периферической крови — они выдвигали значение счета ретикулоцитов, определения гемолиза как более важных методов оценки регенерации и распада («обмена») крови. Ретроспективно нельзя не видеть, что такой подход односторонний; методы счета ретикулоцитов и определения гемолиза могли характеризовать лишь состояние красной крови; разработка этого вопроса гематологии в клинике Г. Ф. Ланга завершилась созданием направления «функциональной гематологии», что справедливо отмечается как заслуга Г. Ф. Но стерильная пункция в наиболее простой, наглядной и, как оказалось, точной форме характеризует кроветворение в целом, в том числе не только красной, но и белой крови и кровяных пластинок; кроме того, этот метод оказался ценнейшим способом диагностики многих атипических форм и разных стадий заболеваний системы крови, опухолей и т.п. и по значению своему в клинике стоит рядом с такими диагностическими методами, как, например, электрокардиография.

До М. И. Аринкина исследование костного мозга посредством трепанации грудины предложил производить немец Виктор Миллинг. Этот крупный гематолог приезжал в Ленинград, и мы имели удовольствие слышать его доклад на немецком языке. Но, конечно, метод пункции оказался непосредственно более удобным, простым и безопасным — и поэтому именно с Аринкина и началось практическое существование в медицине надежного способа динамического, повседневного исследования костного мозга (а следовательно — кроветворения).

Все работы, выполненные в клинике, сообщались сперва на клинических конференциях, проходивших, конечно, под руководством Г. Ф. Ланга. Обычно при этом устраивалось и чаепитие. Публика довольно активно обсуждала доклады, хотя и побаивалась сморозить какую-нибудь чепуху в присутствии шефа; Лангу же, естественно, принадлежало заключение, мне казавшееся всегда удивительно адекватным и, как сейчас

сказали бы, конструктивным. Потом уже работы докладывались в обществе терапевтов или на съезде и печатались.

Обработка данных требовала элементарной порядочности. Сколько раз я ловил себя на желании отбросить какое-нибудь исследование, которое не давало тех результатов, на которые, казалось, нужно было рассчитывать. То цифра вместо повышенной оказывалась пониженной, то пониженной вместо повышенной. Переставить бы, а то получается какой-то беспорядок. Ведь отрицательные данные исследования (то есть отсутствие искомой закономерности) были не только разочаровывающими, но и невыгодными. Всегда хотелось иметь «убедительные данные». Хотя я находил в себе настолько порядочности, чтобы не искажать результаты наблюдений, все же могу по себе сказать, как велик соблазн к приукрашиванию своей работы. Особенно склоняет к этому порочное требование вышестоящих инстанций чрезмерно детализировать планы научных работ и фиксировать их сроки окончания, да еще и «ожидаемые результаты». Неустойчивый юноша может эти «ожидаемые результаты» просто взять с потолка, не считаясь с какими-то там цифрами, полученными наспех неточными методами. Вероятно, столь частое в научной литературе расхождение между фактическими данными, полученными различными авторами, отчасти объясняется не только фальшью методик, но и фальшью исследователей. Со временем я убедился в том, как трудно проверить материалы «научных работ» и вывести на чистую воду некоторых их «авторов». Конечно, я не сомневаюсь, что многие молодые и немолодые научные работники проводят свои исследования с достаточной точностью.

Доклады на Всесоюзные съезды (а я выступал на каждом съезде) я выучивал наизусть, а таблицы обычно чертил сам. Съезды 7-й в Москве, 8-й в Ленинграде, 9-й в Москве, 10-й в Ленинграде были замечательными событиями нашей жизни. Ленинградские съезды требовали организационной работы, я был секретарем их; московские были приятны поездкой в столицу, на Девичье поле, где еще недавно протекала моя студенческая жизнь. В 20-х — 30-х годах съезды были многолюдными, торжественными, начинались со встречи на каком-либо концерте или в театре. Я вообще не вижу изменения характера и духа этих съездов на протяжении моей жизни. Меняется программа, меняются научные проблемы, несколько меняется техника съездов, но внутренняя суть этих событий остается неизменной: это этапы развития нашей науки, ее смотр — смотр уровня, смотр деятелей.

Заседания Терапевтического общества были местом не только выступлений, прений, слушания новых данных, но и встреч. Мне всегда

казалось, что врачи, с молодых до старых лет систематически посещающие эти заседания, делают это в угоду потребности встречаться друг с другом, даже в том случае, если нет между ними личного знакомства. Одни отмечают: «Как она постарела», другие ревниво следят, не умер ли кто-нибудь из тех, кто обычно ходит на заседания. Странно, что клиническая молодежь посещает эти общества, только если этого требует руководитель, или если выступает «свой», или, наконец, если ожидается спектакль — выступление видного профессора на особо интересную тему, может быть, дискуссионное. Оживление в работу общества вносит полемика между представителями «школ».

В то время в Ленинграде авторитет Ланга был безусловным, но все же представители Военно-медицинской академии (М. И. Аринкин) иногда выступали с острой и полезной критикой наших докладов.

М. И. Аринкин был умный, хитрый и властный генерал. Вместе с тем это была «русская душа». Мне нравилась его склонность к насмешливости. «Наши», то есть сотрудники клиники Ланга, готовы были считать его неискренним, даже злым; лично мне он нравился, я его считал, напротив, добрым — и вовсе не потому, что он ко мне относился хорошо.

Михаил Васильевич Черноуцкий<sup>[79]</sup> докладывал в обществе свои известные работы по конституции. Астеники, нормостеники и гиперстеники, измеренные по индексу Пинье и другим антропометрическим показателям, казалось, таили в себе «потенциал» свойственных им болезней; казалось, что между нормой («конституционной нормой») и патологией нет твердой грани, и, во всяком случае, имеются переходные формы или варианты. Эндогенные, наследственно-конституционные факторы в первую очередь определяют развитие одних заболеваний и особенности течения других. Эта общая концепция соответствовала тогдашнему духу времени и у нас, и особенно за границей. В дальнейшем она подверглась обвинению в «вейсманизме-морганизме», в «автогенетичности», а теперь не вызывает особых возражений, если не считать эндогенный фактор всегда главным, а лишь «одним из». Михаил Васильевич заведовал соседней с нами госпитальной терапевтической клиникой. Это был милейший, я бы сказал, обаятельный человек: сдержанный, спокойный, благожелательный, душевный. В его клинике все его, конечно, любили, но никто не боялся, и поэтому дела шли как-то бесформенно, расплывчато, сами по себе, без воспитывающего влияния шефа.

Странное впечатление оставил у меня Д. О. Крылов<sup>[80]</sup>. Это его

сотрудник, доктор Коротков, описал аускультативный метод определения кровяного давления и тем обессмертил свое имя. Было ли то случайным открытием? Возможно, но свою роль сыграл и общий фон — изучение сосудистой системы, ее реакции на различные фармакологические агенты, которое проводили в то же время и другие сотрудники данной клиники Военно-медицинской академии. Сам же Д. О. Крылов в 20-х годах выдвинул концепцию о «хронioseпсисе». Он включил в круг подобных состояний не только описанный Шоттмюллером<sup>[81]</sup> затяжной септический эндокардит, но и другие инфекционные хронические болезни, в том числе ревматизм, холецистит, тонзиллиты, нефриты и т.д. Тезис Крылова о том, что при затяжном эндокардите поражается и сосудистая система (васкулит), был прогрессивным, но по мере своих выступлений Д. О. настолько расширил рамки «хронioseпсиса», что стал включать в него все болезненные состояния, протекающие с затяжной лихорадкой, и довел, таким образом, свое предложение до абсурда. Внешне это был пузатый коренастый здоровяк с длинными полуукраинскими усами и хриплым проносом. Он жил в большой барской квартире один, как сурок.

Выступали у нас и видные представители других специальностей. Так, хирург С. П. Федоров<sup>[82]</sup>, умно и иронически поблескивая стеклами пенсне, сообщил о результатах операций на нервах при грудной жабе. Он сказал, что эта операция не имеет под собой достаточно веского анатомо-физиологического обоснования: хирург не знает, что он режет и почему режет то, что режет. Неясно, имеет ли сердце чувствительные нервы. Неясно, проходят болевые раздражения через симпатический нерв и его ганглии или через блуждающий нерв и его ганглии. Неясно даже, полезна ли боль («сигнал стрелочника») или вредна — способствует спазму. С. П. Федоров привел один случай. Его сосед по квартире страдал ангинозными приступами при ходьбе; он жил на четвертом этаже и для предупреждения приступов поднимался обычно медленно и на каждой площадке садился на подоконник для отдыха. Слухи о радикальном хирургическом методе лечения грудной жабы (публика всегда считает хирургический метод радикальным, хирургию — настоящей медициной, а в лекарства — аптекарскую кухню — не верит, хотя постоянно их принимает и требует, чтобы лекарства не только помогали, а всегда излечивали) дошли до него, и больной стал настойчиво просить С. П. Федорова сделать ему операцию. Нехотя С. П. сделал ее. И что же? Не прошло и двух месяцев, как больной, освобожденный от припадков

болей, как-то быстро шел к себе домой по лестнице, уже не задерживаясь на площадках, дошел до двери квартиры и, позвонив, упал мертвым в открываемую дверь. «Сигнал стрелочника» не сработал.

Тихо и как-то подобострастно мы слушали Л. А. Орбели<sup>[83]</sup>. Нас оставляла тогда равнодушными его новая теория об адаптационно-трофической функции симпатической нервной системы, но зато опыты с получением клубочкового филтратата при помощи микрохирургической техники и новые представления по запутанному (да и до сих пор не распутанному) вопросу о физиологии почек (что выделяют, а что всасывают клубочки или канальцы) нас прямо касались.

Из физиологов, сотрудников И. П. Павлова, я был тогда знаком только с Марией Капитоновной Петровой<sup>[84]</sup>. Она была наполовину терапевтом и работала в соседней с нами клинике в Петропавловской (или имени Эрисмана) больнице. Это была большого роста, плечистая, краснощекая особа, говорила громко, грубым голосом, смеялась, скаля свои крепкие зубы; одетая по-барски в манто, в элегантной шляпке дореволюционной моды, она олицетворяла собой своеобразную помесь здоровой деревенской бабы и культурной, бывавшей за границей барыни. От нее шел дух смеси французских духов и запаха павловского собачника. Мне она казалась жизнерадостной дамой, какие встречались когда-то в Красном Холме. Мария Капитоновна была замужем за известным священником Григорием Петровым<sup>[85]</sup>, часто выступавшим в 1915–1925 годах в различных аудиториях с лекциями, в которых он очень увлекательно рассказывал о философии религии, о Возрождении, о сущности жизни и т.д. Священнический сан он с себя сложил.

Мария Капитоновна всегда дружески обращалась с молодежью. Однажды она сказала мне: «Пойдем к Ивану Петровичу». Я бывал иногда на публичных лекциях великого физиолога, но видел его лишь издали, поэтому, конечно, обрадовался. Она привела меня к нему после того, как в зале Академии наук Павлов только что окончил доклад. «Иван Петрович, вот талантливый юноша — он терапевт, работает по печени». Иван Петрович бросил на меня быстрый взгляд, потом как-то странно мазнул рукой, издал какой-то неопределенный, немного визгливый звук — и вдруг вскочил с кресла и куда-то умчался из кабинета. Вот и все личное знакомство «талантливого и юного терапевта» с гением физиологии. «Ничего, — сказала Мария Капитоновна, — это с ним бывает. В следующий раз».

Клиника Г. Ф. Ланга больше всего уделяла внимание разработке

вопросов кардиологии. Классические работы Г. Ф. о гипертонии широко известны. Д. М. Гротэль<sup>[86]</sup> разработал основы электрокардиографии инфаркта миокарда и ревматического кардита. Правда, в этом направлении клиника не была пионером (английские авторы описали электрокардиографические отклонения при этих формах раньше), но для Советского Союза эти данные клиники имели большое практическое значение. (Давид Маркович Гротэль, между прочим, в документах был Гробокпатель, но какво врачу носить такую фамилию?) Это был целеустремленный, трудолюбивый научный работник, с утра до вечера сидевший в кабинете; он был покладист и благожелателен; рано растолстел, рано облысел и рано умер. С ним вместе работала — без антагонизма, но и без особого содружества — А. Ф. Тур<sup>[87]</sup>, маленькая, полненькая особа, также по характеру ровная и дружелюбная; в дальнейшем она получила кафедру в Калининe, но и туда не поехала (зато стала именоваться профессором).

С А. Ф. Тур я всегда был в приятельских отношениях. Помню, как в день 23 сентября 1923 года вечером разразилось наводнение, с залива дул ветер, палили пушки в Петропавловской крепости, был теплый осенний день; мы в приподнятом настроении ходили по улицам со студентами и молодежью из клиники. Нева вздулась, затопила набережные, ее волны залили Дворянскую, Каменноостровский; мы бежали по воде, догоняемые волнами, и спаслись в доме Туров. Отсюда, с балкона, мы смотрели на залитую Петроградскую сторону. Зрелище казалось нам нисколько не жутким, а веселым и красивым.

Колоритной была фигура Джангара Абдуллаева. Он прибыл к Г. Ф. Лангу из Азербайджана. Это был красивый человек с большим крючковатым носом и огромной черной шевелюрой. Девушки не могли на него не заглядываться, в особенности блондинки. Д. Абдуллаев вел экспериментальную и клиническую работу о влиянии дигиталиса на коронарные сосуды. Писать по-русски как следует он не мог, мне пришлось основательно исправлять его статьи. Между делом он болтал о конфигурации женщин, о том, что в них самое главное не цветок (лицо), а стебель. Потом, женившись и окончив аспирантуру, он уехал в Баку; сейчас он заслуженный деятель науки и профессор Азербайджанского медицинского института.

Тогда много было больных с висцеральным сифилисом; я изучал сифилис печени, сальварсановые желтухи и т.п., а М. И. Хвиливицкая, высокая горделивая блондинка, — сифилис аорты. Она заключала аорты —

после секции — в цилиндры и изучала их модель упругости (в дальнейшем она защитила на эту тему докторскую диссертацию). Мы застали случай смерти от разрыва аневризмы, проникшей через узору грудины на переднюю поверхность груди и лопнувшей: фонтан крови облил не только больного и его кровать, но и окрасил потолок; и в другом случае мы чем-то сдавливали аневризматический мешок, хирурги медлили с операцией (и не умели тогда ее делать), и больной умер на наших глазах от разрыва, залив нас своей кровью.

Я все больше и больше входил в работу по изучению патологии печени. С группой помощников я производил функциональные пробы путем биохимического исследования крови, мочи и испражнений. Мне стало ясно, что острая желтуха, которую тогда обычно считали проявлением застоя желчи из-за катара желчных путей, зависит от острого поражения паренхимы печени, а циррозы печени суть следствие главным образом гепатитов «эпителиальных» и «мезенхимальных». Вскоре я пришел к необходимости совершенно изменить представления об этих формах и отразил это в своей классификации. Даже на Пятой симфонии Чайковского в Филармонии Ф. Я. Чистович<sup>[88]</sup> в антракте сказал мне: «Что это за термин «эпителиальный гепатит» вы придумали? Эпителий не воспаляется». М. И. Аринкин возражал мне: «Всякий цирроз печени есть гематологическая форма; поражается ретикулоэндотелий». Даже в клинике неохотно принимали «мясниковские» данные, хотя Г. Ф. Ланг относился к ним благожелательно. Мне все указывали на лейкоциты в дуоденальном содержимом при «катаральных желтухах» как на якобы незыблемый довод в пользу старых представлений.

Семейная жизнь наша шла своим чередом. Мы переселились на другую квартиру — на Петропавловскую улицу, 8, против больницы имени Эрисмана — против клиники. Из трех комнат одну занимал Левик, одну — мы, одна — столовая. Это были холодные комнаты в первом этаже, зимою их не натопишь (большие изразцовые печи дымили), но они были хорошо расположены, просторны. Мы завели мебель, посуду и т.д. и т.п. Нэп облегчил нам жизнь: все можно было тогда легко купить.

Летом 1927 года мы поехали в Кисловодск, я работал там в санатории, жили мы весело, жена мне нравилась, и следующей весной, через девять месяцев, у нее родился сын Леонид. Пошли смешные и замечательные дни купания, кормления, рассматривания ручек, ножек, глазок, ротика, потом — зубки и т.п. и т.д. Летом 1928 года сперва жили в Красном Холме, Ленник то и дело пищал и даже орал, особенно ночью, я спускался вниз, хватал его и бешено ходил вокруг комнаты, тряся его (укачивая). Мама говорила о

неправильном кормлении, вызывающем колики в животике, а Инна обиженно отвечала, что она действует так, как ей советовали в консультации. Дискуссия о старых и новых методах, возможно, раздражала ребенка, но уж, во всяком случае, меня, и я ходил еще быстрее. Наконец все успокаивались, и утром взрослые пили кофе более или менее дружески, а Леник смотрел на них своими милыми глазками и улыбался.

На следующее лето мы отправились в Архипо-Осиповку. С полуторагодовалым малышом путешествие не особенно рекомендовалось, но все сошло хорошо. Мы переехали в открытой машине через лесистый Михайловский перевал и ночью прибыли; там уже были моя мать и Левик.

В Архипке хорош пляж, малыш купался (впрочем, главным образом в тазу); к нам присоединилась Леночка, жена моего двоюродного брата Гоги Григорьева, милотвидная блондинка с голубыми глазами. Инна и Лена составили мне достаточно приятное общество, а тут еще артисты Большого театра — моя тетка Любовь Ивановна со своим новым мужем Л. Ф. Савранским<sup>[89]</sup>, а также их приятель С. П. Юдин<sup>[90]</sup>, красивый тенор которого по вечерам привлекал к его домику толпы восторженных слушателей — под аккомпанемент морского прибора в сиянии луны.

Дома мы по временам немножко ссорились. Обычно начиналось с нового платья, которое жена примеривала перед зеркалом: ей хотелось бы, чтобы я сказал: «Замечательно, как идет», а мне платью не нравилось, и я мычал что-то неопределенное. Или шляпки. У моей жены хранится оттиск моей статьи с надписью: «Такой-то после шляпного скандала». Как был не прав Пушкин, когда писал: «А девушке в осьмнадцать лет какая шляпка не пристанет» (и дело не в том, что Инне шел двадцатый, двадцать второй, двадцать четвертый.). Только постепенно я понял, что хорошенькая женщина в большей мере, чем некрасивая, должна одеваться с особым выбором. Трудно было и с духами. Казалось, столько сортов! Между тем пришлось флакон самых дорогих духов, которые мне показались «противными», выбросить в окно прямо в реку Карповку. У меня выработалась практика пилить жену, слово за слово, с таким расчетом, чтобы довести ее до слез. И когда наконец ее милые зеленоватые глаза наполнялись слезами, я сразу «отходил». Мне казалось, что слезы ей очень идут, и все быстро кончалось нежностями. Это свинство моего характера — бормашины — сохранилось и в дальнейшем и в той или иной мере проявлялось и на работе с сотрудниками.

В дальнейшем летние каникулы мы проводили на даче — на Сиверской. Мы жили в деревне Пески; за рекой Оредеж темнел лес, а там дальше пробивались пышные зеленые лужайки и лесистые обрывы речки



Орлинки — это как раз те самые места, которые так поэтично отразил в своих этюдах художник А. А. Рылов<sup>[91]</sup>. Там много грибов — белых, красноголовиков, мы собирали их со старым Ф. Е. Туром<sup>[92]</sup> (отцом А. Ф.), физиологом, или с В. Д. Цинзерлингом, нашим прозектором по I ЛМИ, — тот говорил, что ему летом необходимо проветриваться в лесу от вскрытий. Наконец, недалеко от нашей дачи поселилось веселое общество, в том числе и студентки нашего института Люда Рокицкая, дочка хирурга Обуховской больницы; эта красивая девушка отправлялась босая в лес чуть свет и приносила всегда полные корзины; если идти с нею вместе, вы останетесь в дураках: она грибы видит, а вы — нет. «И о чем вы, собственно, мечтаете?»

Семейная жизнь, как известно, требует денег, мне стало не хватать ассистентской ставки, и я нанялся в областную страхкассу так называемым консультантом: ходить по поликлиникам, сидеть у лечащих врачей и проверять, хорошо ли они работают; занятие оказалось фискальным и нудным, хотя мы с С. М. Рыссом<sup>[93]</sup> и воображали, что своими замечаниями очень помогаем поликлиникам. Едва ли врачи могли чувствовать эту «помощь», поскольку чрезмерная нагрузка больными не менялась, а «писанина» (историй болезни, справок, рецептов) только возрастала. Все же эта работа была не бесполезна, когда она касалась осмотра больниц, приемных покоев, медпунктов. Кстати, она привела к знакомству с фабриками и заводами Ленинграда, к изучению профгигиены и профпатологии. Я побывал на Путиловском заводе, на «Электросиле», на вагоностроительном заводе имени Егорова, на текстильных фабриках, на «Красном треугольнике» и многих, многих других. Мне открылся мир, который составляет основу нашей жизни; я только тогда почувствовал, как тяжел труд рабочих и вместе с тем как он велик и благороден и как правильно, что именно трудящимся принадлежит государство. Мои студенческие настроения менялись.

## Жизнь в Новосибирске

В конце 1931 года общественная организация I ЛМИ направила меня и еще трех сотрудников в Узбекистан — «в помощь хлопкоуборочной кампании». Мы весело сели в вагон, шутили, но на душе было как-то беспокойно. Я только что начал писать мою первую монографию «Болезни печени», вез рукопись с собой; но без достаточного количества литературных материалов не мог рассчитывать на успех этой работы. Мы должны были разъехаться по различным районам (кишлакам?), да и неизвестно, когда нас отпустят, может быть, и вообще задержат.

В Ташкенте была теплынь, сухие листья чинар покрывали тротуары, низкие здания прятались в садах, и только в центре был город как город. Узбеки в местном Наркомздраве молча сунули нам направительные бумажки — кто куда. Я получил направление в город Каракуль, М. В. Кузнецов и хирург Линденбратен — в Ферганскую долину, а молодой Дмитриев (он заканчивал ординатуру у Тушинского) — в Гузар, ближе к Таджикистану. Распрощались и разъехались.

В Каракуль я приехал ночью, город от станции в двух-трех верстах; никто не встречал, какой-то восточный человек подвез меня на своей арбе. В больнице провели меня в кабинет врача, горело электричество, и я подумал, что это, очевидно, оазис культуры в среднеазиатской тучице.

Утром пришел главный врач, молодой парень, недавно окончивший институт в Ростове, хирург. Я поселился с ним в неубранной комнате, в узбекском доме с внутренним двором (снаружи — четырехугольник серых глиняных стен без окон, с плоской крышей). Мылись из чайника, есть ходили в столовку (давали лепешки на хлопковом масле и гуляш). На улицах — липкая грязь, дойти до больницы — целое испытание в ловкости.

Небольшая районная больница занимала новенькое светлое здание. Я сразу же занялся терапевтическим отделением (20 коек). Больные были преимущественно малярики с огромной селезенкой, а то и печенью, бледные и истощенные; поступали и больные в бессознательном состоянии, в коме, что требовало экстренной терапии: хинином в вену. Запасы хинина в аптеке все время бывали на исходе, что затрудняло лечение амбулаторных больных (лечение малярии требует больших доз и систематических повторных курсов). Позже я выезжал в очаги малярии; то были полумертвые селенья с полумертвыми людьми, похожими на скелет, с выпирающим вперед животом, занятым селезенкой. Я находил в крови

возбудитель тропической малярии и для исключения лейшманиоза пунктировал костный мозг. Именно там тогда и возникло у меня желание изучить висцеральную малярию, что и осуществилось позже в новосибирской клинике.

На прием являлись узбеки из селений в цветистых халатах и тюбетейках. Привозили и женщин. Некоторые молоденькие были более или менее красивы, хотя и не в моем вкусе, старые — сухи, черны и грязны. Многие еще закрывались паранджой, по крайней мере, кутали ею лицо, а все прочее можно было свободно открывать. Объяснялись через переводчика. Частенько по Каракулю проходили караваны верблюдов. По грязи ловко перебирали своими ножками ослики — несмотря на сдавливавшие их спины огромные тюки. Городок располагался среди плоской равнины, занятой хлопковыми полями или пастбищами овец с жесткой скудной травой; вблизи — река Зеравшан («дарительница») в берегах, заросших тростником. Мутная вода ее катится не спеша, величаво, точно понимает, что именно от нее здесь зависит жизнь.

Молодому хирургу здесь скучно, он пьет, пьет, пьет...

... [\[94\]](#)

Г. Ф. Ланг не выражал по поводу моей «профессуры» ни одобрения, ни возражения, но был настроен сердечно (мнение о его «сухости» или «холодной сдержанности», сложившееся у некоторых знавших его издали, для меня было давным-давно отвергнуто).

Левик остается в квартире с матерью, перебравшейся из Красного Холма. Он работает по акустике у профессора Андреева.

В апреле 1932 года я приехал в Новосибирск. Меня встретил замдиректора института профессор Б. Я. Жодзишский; вечером у него был в честь моего приезда ужин, на котором присутствовал заведующий крайздравом Трахман и некоторые профессора. Любезная хозяйка оказалась терапевтом, моим будущим ассистентом.

Наутро поехали в клинику за городом (за Ельцовкой) — большую, новую, светлую. Так начался новый период жизни. Мы получили квартиру, пайки, крайисполкомовские обеды, особый распределитель — словом, все блага советского специалиста высшей марки.

Итак, я — профессор и директор клиники. Конечно, мне нравилось мое амплуа, нравилась перспектива быть руководителем научных работ, увлекательно читать лекции, ставить, может быть, блестящие самостоятельные диагнозы, иметь большое число сотрудников и, может быть, учеников — и все это на тридцать первом году жизни (в Наркомздраве мне сказали, что я — самый молодой из профессоров-

клиницистов в СССР).

Сотрудники оказались приятными. Доцент Краснопольский был из Ленинграда, болезненный, культурный человек, через год он уехал на кафедру в Самарканд и там вскоре умер. А. Е. Степанов — сибиряк, из числа ученых, которые всю жизнь изучают один вопрос, всегда увлечены им, но недовольны результатами, занимался проблемой отека.

Вскоре я перевел в ассистенты двух способных ординаторов, один из них, Г. М. Шершевский, очень интеллигентный молодой врач, быстро воспринимавший все, что мне казалось интересным и правильным, сразу стал моим близким помощником. В организации новой клиники ему принадлежала большая роль — и было естественным, при отъезде обратно в Ленинград через несколько лет, оставить клинику именно ему. Г. М. Шершевский, между прочим, пытался найти эндогенный фактор, выделяемый органами пищеварения, который был бы необходим для образования кровяных пластинок (наподобие фермента Кастла) и недостаток которого мог бы лежать в основе тромбопении (болезни Верльгофа); доказать эту интересную гипотезу ему удалось только частично.

С Г. М. Шершевским мы организовали в Новосибирске терапевтическое общество. По нашей инициативе была созвана в клинике научная конференция терапевтов Западной Сибири.

Другой ассистент — Ф. К. Меньшиков. Это бывший фельдшер, черемис по происхождению, с простецкой, немного мутной речью, зато с большой напористостью и хваткой. Нельзя было не отдать должное его работоспособности и стремлению выйти вперед. Занимался он витамином С: по соседству с клиникой находился Институт питания, где он получил для своей работы лабораторию. Тогда среди больных было еще немало цинготных. Ф. К. и меня заинтересовал своей работой. В дальнейшем он выпустил книжку об авитаминозе С. Хотя душа его тянулась к наблюдениям над морскими свинками, но все же и большие люди, по крайней мере, в части их желудочно-кишечного тракта, являлись неизбежным объектом его опытов. Потом Ф. К. решил покинуть Сибирь, сделался профессором в Курске, членом обкома партии и, как мой бывший ученик, был привлечен в Москву заведовать клиникой лечебного питания — после смерти З. И. Певзнера. Как ассистент он был человек покладистый и терпеливый к замечаниям шефа, младшего на десяток лет.

Врачи женского пола, кроме вкрадчивой Б. М. Жодзишской, были довольно простыми молодыми дамами, которые окружили меня милым вниманием. О. П. Баранова — умная особа, жаль, что потом она застряла

на военной службе; возможно, впрочем, что ей льстят погоны полковника (в юбке — это карьера!). Е. В. Пономарева заведовала лабораторией, отличный гематолог, человек душевный, немного мечтательный. Ее муж — хирург из соседней клиники В. М. Мыш<sup>[95]</sup>: после смерти В. М. Мыша клиника осталась за ним, хотя он так и не может защитить диссертацию. Ох уж эти диссертации! Из опыта работы в ВАК я знаю, какова их ценность, и аплодирую не имеющему формальной докторской степени М. Д. Пономареву. Лучше уж пусть меня учит хирургии и меня оперирует опытный и умный кандидат, чем выскочка доктор.

Из Москвы в клинику прикатила в качестве ассистента окончившая аспирантуру во II ММИ М. И. Гарфункель — дева в очках и в чистых кофточках. Ее интерес ко мне как ученому, видите ли, привлек в эту сибирскую глушь. Впрочем, она оказалась хорошей и преданной сотрудницей.

Среди ординаторов выделялась своей женской привлекательностью К. М. Шустер. Это была двадцатипятилетняя женщина с округлым лицом, пышными светлыми волосами и красивыми синими глазами. Правда, можно было пожелать ее фигуре большего изящества; она была слишком плотной, а походка хотя и плавной, но не слишком легкой. К. М. мне нравилась, хотя и не вполне; я чувствовал на себе ее взгляды и думал, что у меня милая жена и было бы нехорошо изменять ей. Жена задерживается в Ленинграде (она поступила в медицинский институт и должна закончить третий курс), но все равно.

Институт для усовершенствования врачей в Новосибирске тогда был неплохо укомплектован кадрами профессорско-преподавательского состава. Часть профессуры переехала из Томска — этих сибирских Афин, к тому времени захиревшего.

Мы являемся все время свидетелями запустения одних городов и развития других. Как много бывших оживленных городских центров (даже когда-то столиц) превратилось в «мертвые Брюгге», и еще больше родилось и процветает новых, возникших или из ничтожных селений, или на пустом месте. Томичи (которые всегда, где бы их ни встретить, продолжают любить свой город) говорят, что роковую роль сыграло проведение Сибирской железной дороги на 30 верст южнее города; железнодорожная ветка как бы отодвинула город на задний план, в тупик; будто бы купцы поспешили на взятку, которую надо было вовремя дать начальству или строителям-инженерам. Но едва ли это так. Одними из инициаторов проведения линии Сибирской железной дороги южнее, через Крищеково и местечко Обь на реке Оби, были такие выдающиеся люди, как писатель

(инженер-путеец) Гарин-Михайловский (чьими романами «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты» мы когда-то зачитывались) и академик Карпинский, геолог, будущий президент Академии наук. Так предопределилось создание на месте пересечения великого сибирского железнодорожного пути с великой сибирской рекой Обью нового городского центра — Новониколаевска, в дальнейшем переименованного в Новосибирск.

Новосибирск рос исключительно быстро, застраиваясь большими современными зданиями. Я застал период этой активной стройки уже в момент ее временной ремиссии. Но потом стройка возобновилась с новой силой. Широкий Красный проспект, пересекающий город, всегда настраивал меня на приподнятый лад: вот жизнь на ваших глазах быстро идет вперед, гнилые избы царского времени исчезают. И надо выезжать из Москвы или Ленинграда, чтобы оценить пафос нового строительства.

Из Томска переселились в Новосибирск «стариками»: профессор В. М. Мыш, хирург; его клинические лекции по урологии впервые показали мне, как актуальна эта область (до той поры, несмотря на интерес к урологии таких выдающихся хирургов, как С. П. Федоров и И. Ю. Джанелидзе<sup>[96]</sup>, я считал эту специальность второстепенной и «низкой», обслуживаемой малокультурными практиками); профессор Н. И. Боголепов — дерматовенеролог, доказывавший, между прочим, нелепую точку зрения о близости между сифилитической спирохетой и туберкулезной бациллой; он опирался при этом на исследования чисто внешних особенностей «циклошаммов» кокковой палочки и на смутную фантазию об изменчивости видов, о переходе одних микробов в другие, предваряя этим жульническую эпопею Бошьяна<sup>[97]</sup>.

Профессор Н. И. Горизонтов, милейший акушер-гинеколог, любивший походы по горам Алтая (у него была очень славная дочка Таня, с которой мы бродили по алтайским горам и купались в горной речке Белокурихе); профессор А. Н. Зимин, отоларинголог, живший, как и другие томичи, поблизости от клинической больницы, но которому судьба уготовила умереть внезапно от сердечного приступа в номере Центральной гостиницы в городе (во время осмотра какого-то приезжего пациента из начальства, заболевшего пустяковой ангиной).

Пришли также и молодые: В. М. Константинов, с которым мы быстро наладили сотрудничество и регулярно собирались для обсуждения на клинко-анатомических конференциях секционной казуистики — разумный и сдержанный специалист, прошедший школу в лаборатории

Н. Н. Аничкова; Ф. И. Фукс — хирург, остроумный и резкий человек и другие.

Кроме меня были и еще ленинградцы. Один из них — А. В. Триумфов<sup>[98]</sup>, невропатолог, ученик Аствацатурова<sup>[99]</sup> и Бехтерева. Блестящий специалист и лектор, он в дальнейшем выпустил превосходный труд об исследовании нервной системы. Потом, в Ленинграде, он стал одним из видных невропатологов, был избран членом-корреспондентом Академии. Другой ленинградец, Арон Абрамович Коле, окулист, отличный ученый и милейший человек, дружба с которым продолжается и до сей поры.

Вообще в Новосибирске сразу сложилась приятная частная жизнь с хождением друг к другу в гости, что никак не выходило в Ленинграде и позже не вышло и в Москве, за малыми исключениями. Жизнь в столице в этом отношении беднее и скучнее, нежели жизнь в периферийных городских центрах. Там круг интеллигенции уже, да и «нагрузки» (дела) меньше. Любитель театра и музыки профессор Я. О. Бейгель вечно приглашал к себе в связи с приездом какой-нибудь пианистки или певицы. У Триумфовых моя жена подружилась с Марией Николаевной, дамой, говорившей ругательским резким тоном, но по существу доброй. У толстяка С. С. Кушелевского, врача с частной практикой, мы пили вкусные вина, Инна смеялась заразительным смехом в виде эквивалента легкого опьянения; молоденькая жена хозяина показывала набор модных туфель, которые коллекционировала. Вера Дмитриевна Колен угощала нас вареньем (она преподавала английский язык в каком-то вузе; мы с Триумфовым пробовали заниматься с ней, но я помню от этих уроков только первые слова «Old Coskosh», так как тут же мы переходили к чаю). Собирались и у нас и даже танцевали фокстрот и румбу — или, вернее, учились им у приехавшей в Новосибирск веселой и славной Вали, младшей сестры моей жены.

Я по приезде в Новосибирск закончил свою книгу «Болезни печени» (писал ее периодически, главным образом во время летних каникул; все последующие книги я также писал обычно в летнее время, а зимой только дополнял или исправлял; писал я всегда по заданному числу страниц в день, напишу одну — похожу, погуляю, потом вторую и т.д.; норма восемь страниц в сутки, но часто ее недовыполняешь, а иногда перевыполняешь). В 1934 году книга была выпущена Медгизом.

Монография, книга — это, конечно, всегда приятно, а тут еще она первая. В предисловии Г. Ф. Ланга стоит фраза: «Написать такую книгу мог только сравнительно молодой ученый; ведь, к сожалению, чем старше мы

становимся, то тем больше наша мысль — по крайней мере, у большинства — идет по старым путям или таким путям, которые встречают меньше сопротивления». Эта фраза как бы фиксировала оригинальность представлений, мною высказанных, в этой сложной области медицины.

Вскоре в короткой рецензии был дан положительный отзыв, но такой, из которого следовало сделать заключение, что новое в книге не было понято, — и только потом, при ее переиздании, оно стало доходчивым, но тогда оно уже перестало быть новым и даже потеряло определенную связь с автором. Постепенно высказанные в книге представления стали настолько известными, что последующие авторы стали даже делать вид, будто ничего нового в этих представлениях и нет, что они-де имеют своих предшественников в трудах даже прошлого (а может быть, и позапрошлого) столетия, что то же пишет и немец Рессле (на самом деле — на год-два позже и притом далеко не совсем то же) и т.д. и т.п. Наконец, нашелся видный профессор, который публично, на одной из Всесоюзных конференций, предложил классификацию хронических гепатитов, полностью повторяющую мою, хотя та была дана на двадцать лет раньше и изложена в трех моих последующих изданиях книги, притом совершенно умолчал об авторе, несмотря ни на то, что этот автор председательствовал, и ни на то, что авторство этого автора ему и всем присутствующим было, конечно, хорошо известно.

Монография «Болезни печени» явилась первой и на протяжении последующих тридцати лет единственной книгой (в переизданиях), трактующей данный важный раздел внутренней медицины. Мое имя стало широко известным во врачебном мире как «специалиста по печени». Я считал себя специалистом не по печени, а по внутренней медицине вообще, ибо тогда еще отстаивал идею о единой внутренней медицине и был против ее дробления на кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов и т.п.

Книга послужила основанием для присуждения мне ученой степени доктора наук без защиты диссертации, и я был утвержден в звании профессора (1935). Об этих формальных, но приятных постановлениях в Москве мне сообщил любезной телеграммой в Новосибирск М. П. Кончаловский<sup>[100]</sup>.

Клиника была полна больных с тяжелыми формами малярии — результат плохого ее лечения в те годы за недостатком снабжения импортными хинином, атебрином и плазмоцидом. Вскоре советской фармацевтической промышленностью было налажено производство отечественных препаратов — акрихина и плазмохина; положение круто изменилось, но тогда еще можно было наблюдать те картины



спленомегалий, нефритов, анемии, гепатитов, отеков и асцита. Мои сотрудники изучали состояние печени, почек, костного мозга, гемолиз и т. п. у таких больных. Я решил систематизировать эти данные, что составило вторую мою монографию «Висцеральная малярия», выпущенную Ленинградским отделом Медгиза в 1936 году. Писал я книгу в 1934 году, также, конечно, летом, на курорте Белокуриха.

Белокуриха находится в предгорьях Алтая, в 70 верстах на юг от Бийска. Мы ехали эту дорогу на каком-то разбитом грузовике, переправлялись на пароме через мутную многоводную Катунь, потом тряслись в объездах, по пыльной степной дороге или по засасывающей грязи через село Смоленское. Впрочем, бывали поездки и на легковой машине: однажды даже на машине, покрышки которой, вместо воздуха, были набиты бумагой. Тогда, как и теперь, — не было резины. Путешествовали мы туда и на лошадях, поездка эта была с остановками для еды — напоминала она давно прошедшие времена и поэтому была поэтичной. Наконец, позже можно было перелететь и на маленьком самолете.

Белокуриха — живописный уголок. Радиоактивные теплые лучи дали основание для организации сперва примитивных, потом более современных условий для курортного лечения больных с заболеваниями суставов, ревматизмом, сердечными заболеваниями, некоторыми гинекологическими формами<sup>[101]</sup>.

Мне предложили быть научным руководителем этого курорта, и мы жили там четыре года подряд, потом еще раз приехали уже из Ленинграда. Я стал заниматься дебетом воды, измерением махе-единиц<sup>[102]</sup>, альфа-бета частиц гамма-лучей; мы вырабатывали показания к лечению, противопоказания, схемы процедур и т.п. Сотрудники клиники стали вести специальные работы, что в дальнейшем составило два сборника трудов, вышедших под моей редакцией. Червь скепсиса меня все время точил, я вспоминал «Лурд» Золя или «Монт-Ориоль» Мопассана. Все больные выписывались «с улучшением», некоторые, прибывшие на костылях, к концу лечения бросали костыли и отбывали с бойко двигавшимися конечностями.

Мы измеряли показатели функции кровообращения (например, скорость тока крови) до ванны и после ванны — радоновой и пресной для контроля. В ванном корпусе мы задыхались от «эманации» (попросту — от влажности), потели — но удовлетворенно отмечали «разницу», «динамику» и т.д. Вода действует специфически, это показывают

объективные, клинические способы. Исследовали и биохимические показатели, ставили эксперименты — купали кроликов и морских свинок или оставляли их на ночь дышать радоном. Собирали научные конференции, читали больным лекции об осторожном отношении к процедурам, «сильнодействующим». Слово «радий» говорило само за себя и способствовало доверию и послушанию больных. И все же, несмотря на личный опыт, у меня и до сих пор гнездится где-то подозрение насчет суггестивной природы эффекта лечения водами.

К Белокурихе с юга подходят горы, покрытые смешанным лесом; в логах, спускающихся к долине, по которой сверкает речка, пышные заросли высоких алтайских трав с крупными, яркими, но не пахучими цветами. Речка Белокуриха скачет по огромным глыбам гранита; брызги, пена и шум воды наполняют ущелье. Мы отправляемся верхом — к Синюхе. Это великолепная гора, верстах в 25 от курорта. Надо проехать маленькие алтайские деревеньки, пасеку, на которой нас славно угощали медовухой; можно переночевать на сеновале и утром, чуть свет, начинать взбираться по склону горы, по тропинке, теряющейся в травах между вековыми деревьями. Наконец, альпийская зона — низкорослые кустарники, сочная изумрудная трава, а дальше — голые скалы причудливой формы, напоминающие развалины старой крепости. Мы — на вершине, перед нами Алтай, море сумрачных, точно волны, темно-синих гор, утопающих на горизонте в тумане облаков (это все же север). Назад возвращаемся в лунную ночь, зеленый свет обливает наш путь, тени наши закрывают и без того запутанную тропу. Едва идешь — после непривычной верховой езды все болит, но приятно.

Другой маршрут — на Шиши, горы, в виде полукруга охватывающие наши ближние, знакомые и исхоженные горки. Поход пешком — 20 верст. Идем по гребням вершин, как в фантастическом запущенном парке, где на фоне яркой лиственной зелени чернеют пихты и краснеют гроздьи кислицы (дикой смородины); спускаемся весело с горы Церковки с криками: «Все выше, выше и выше стремим мы полет наших птиц!» Наш Леник уже бежит за нами, он хорошенький мальчишка, играет с ребятами в «Чапаева».

В Новосибирске два-три раза в год повторяются циклы врачей для усовершенствования; обычно на четыре месяца приезжают врачи из разных областей Сибири, даже из Якутии, из Владивостока, с Камчатки, но большей частью — из промышленных центров Кузбасса. Обычно это небольшая группа — от пяти до пятнадцати человек, изредка до двадцати. Все врачи разные, хотят разное, понимают по-разному — как им читать? Но они народ вежливый и благодарный; расстаемся друзьями,

фотографируемся. Повторять одно и то же столь часто — не страшно; я всегда читаю без подготовки и без плана: просто демонстрация больного и его разбор с более или менее обширными экскурсами в теорию. Но нет того подъема, который создает многочисленная и молодая студенческая аудитория. Вот если бы был здесь мединститут! И он должен быть в таком крупном центре. И перейдет сюда учиться Инна (а то она уже бросила институт — не жить же на два дома).

И действительно, институт открывается. В 1936 году в Новосибирск переводят студентов третьего курса из Омска и Томска на кафедру Института для усовершенствования врачей, который одновременно становится и Новосибирским медицинским институтом, с общим директором. Я привлечен в качестве замдиректора по учебной части. Прихожу в канцелярию, правда, на короткий срок, дела решаю, сидя на столе, болтая в нетерпении ногами; но быстрота моих действий нравится и преподавателям, и студентам; готовили к открытию кафедры как старшего, четвертого, курса (это легко, так как клиники имеются), так и младшего курса, первого — новый набор в будущем году. Необходимо пригласить преподавателей анатомии, гистологии и других предметов. Перед моим отъездом из Новосибирска молодой институт уже в полном составе, полон студентами, празднуем третий выпуск — и я рад, что небольшая доля участия в создании нового медицинского вуза внесена и мною.

В новом институте я читал двум курсам: сперва — диагностику, потом — факультетскую клинику. Кафедра пропедевтики внутренних болезней была создана в советских медицинских вузах для преподавания двух, ранее самостоятельных, дисциплин — диагностики и частной патологии и терапии. Первая, диагностика, была посвящена методам исследования, вторая, частная патология, представляла собой систематический курс внутренних болезней в теоретическом плане, без практической работы у постели больного. Таковы были эти кафедры, когда я учился, но позже в медвузах обе кафедры слились в одну — кафедру пропедевтики. В разных институтах это слияние было осуществлено различно; одни сохранили на одной кафедре две самостоятельные дисциплины и читали их или параллельно, или последовательно, другие пытались слить обе части курса, но в официальных программах точно не указывалось, как это сделать, — да и такого учебника (пропедевтики), по которому можно было преподавать на новой единой кафедре или учить студентам, не было. Когда я начал читать пропедевтику студентам третьего курса, мне бросилось в глаза, что подлинной новой дисциплины нет, что ее надо еще создать.

Что идея была правильной, не вызывало у меня сомнения. Едва ли

логично говорить о методах исследования в отрыве от объекта этого исследования: нельзя обучать выслушиванию порока сердца студента, не знающего, что такое порок, в чем состоит и чем вызывается. С другой стороны, скучно абстрактно читать «частную патологию» — все равно, параллельно дисциплине или вслед за ее окончанием, — раз в руках студентов нет еще методов исследования, позволяющих обнаружить эту «частную патологию». У меня возникла потребность осуществить изложение нового курса так, чтобы методы исследования и болезни, являющиеся предметом этого исследования, давались в наивозможно более тесном сочетании, одновременно. И читал я курс, все время стараясь претворить это слияние на практике; я был очень увлечен этим делом и уже тогда решил, что должен быть для третьего курса написан специальный учебник.

В 1935–1936 годах в Западной Сибири наблюдались вспышки массового заболевания, вначале возбудившего страхи — не чума ли? В районе Итима, между Тюменью и Омском, стали вдруг умирать жители определенных сел при картине болей в горле, кровотечений и лихорадки. С перепугу район оцепили войсками, поезда, следующие через железнодорожную станцию, быстро пропускали, не позволяя никому выходить из вагонов; медперсонал надел маски и т.п.; из Москвы была прислана группа инфекционистов и патологов.

И. В. Давыдовский<sup>[103]</sup> как будто был первым, снявшим противочумное одеяние и заявившим после вскрытия трупов больных, что болезнь ничего общего с чумой не имеет. К москвичам присоединились и мы. Теплым майским днем я вылетел вместе с И. В. Давыдовским на маленьком открытом самолете в один из районов Алтая, где свирепствовала эта болезнь. И.В. едва удерживал обеими руками шляпу, готовую сорваться с его круглой бритой головы; в уши он вставил толстые куски ваты. Мы приземлились на зеленой поляне в селении Старая Барда; кругом возвышались миловидные лесистые холмы, уступами переходившие в более основательные горы.

Село казалось безлюдным, мертвым. В больнице мы застали человек тридцать умирающих, исходивших кровью. Первое время умирали все. Притом, казалось, болезнь приходила молниеносно: боль в горле, некрозы миндалин, дужек, языка, геморрагическая сыпь, кровотечение из слизистых рта, кровавая рвота, кровавый стул, температура 39–40 градусов, погибают в полном сознании. В палатах — какой-то особый запах (от крови ли, от некротического распада во рту), ни вздохов, ни крика; переходишь от одного больного к другому, расположенному то на топчане, то на койке, то

на полу, — этот еще жив, а этот уже труп. Исследование крови показывает почти полное отсутствие белых кровяных телец и кровяных пластинок — геморрагическая алейкия, или, как я предложил именовать болезнь, острый агемоблатоз (или ланмиэлопарез, то есть прекращение выработки кровяных телец костным мозгом).

В дальнейшем выяснилось, что это отравление. Само население подсказало нам причину болезни. Болели только люди, съедавшие хлеб или кашу из просяного или пшеничного зерна, собранного на полях ранней весной, после того как стаял снег. В эти годы осенью население не поспевало убирать урожай, он оставался частично на корню. Сдавать же государству полагалось по размерам запашки. Неудивительно, что к весне крестьяне стали испытывать недостаток в хлебе — и ринулись подбирать в поле перезимовавшие колосья («болезнь неубранных полей», как остро выразился наш гигиенист профессор В. А. Пулькис, много сделавший в расшифровке заболевания). Позже удалось выяснить, что в зернах, пролежавших под снегом, под влиянием особого вида грибков из семейства фузарий появляются токсические вещества, обладающие действием, парализующим функцию костного мозга; некрозы ткани, кровотечения и лихорадка — следствия поражения крови. Инфекция развивается вторично, носит неспецифический характер (*microbes de sertie*, «микробизм»). Все же вскоре оказалось возможным бороться с этой ошеломляющей болезнью (введение сальварсана, а позже — сульфидина, переливания крови, витамины, а особенно введение лейкоцитарной эмульсии или пасты из простерилизованного гноя и т.п.). Собранные с полей зерна приказано было изъять, их сожгли, в пораженные районы были направлены эшелоны с зерном. «Чума» стала слабеть и к осени прошла — с тем чтобы потом опять повториться с теплыми днями мая-июня. «Агранулоцитарная ангина злакового происхождения», или «алиментарная ангина», наблюдалась в те годы и в других областях. В Ленинграде созывалась конференция, издавались сборники, в том числе с моим участием. Чего только не увидишь, уехав из столицы и окунувшись в жизнь страны!

В Новосибирске был организован Институт соцздравоохранения, главными секторами которого был профгигиенический и профпатологический. Директриса Голубева — большевик с 1909 года — была из той категории кончивших медицинский институт, которые никогда не лечили ни одного больного и не запомнили ни одного описания больного, но зато у них был правильный социально-политический фарватер, по которому они и шли без рассуждений (по крайней мере, собственных). При всем том это была справедливая женщина, даже

способная приветливо улыбнуться. Молодой профессор мог взять на себя еще одну задачу: заведование клиникой профессиональных заболеваний; пусть это будет хотя бы две палаты в моей основной клинике: в качестве сотрудников были даны доктора Шубины (муж и жена) и аспиранты, которые должны были учиться прежде всего терапии и, конечно, участвовать в научной работе по специальности (то есть профилактике).

В Новосибирске с профпатологической точки зрения привлек внимание мясокомбинат. Мы открыли, что сотрудники этого вкусного учреждения почти поголовно заражены бруцеллезом, у большинства протекавшего скрыто, и только у отдельных работников — в активной форме с болями в суставах, гепатолиенальным синдромом и лихорадкой (но шедшей под диагнозом малярии). Эти наблюдения послужили отправной точкой к изучению бруцеллеза: клиника стала заполняться такими больными, стали изучаться отдельные проявления болезни — наподобие того, как это делалось в отношении малярии. Позже я собрал истории болезни бруцеллезных больных и материалы наблюдений сотрудников и уже в Ленинграде написал мою третью монографию «Клиника бруцеллеза», в свое время получившую хороший прием и до сих пор достаточно часто и широко цитируемую.

Таким образом, сибирский период моей научной работы позволил мне закончить первую и составить две новые книги.

Поучительны были также поездки в Кузбасс с сотрудниками по сектору профпатологии. Мы побывали в шахтах Ленинска и Прокопьевска. Я познакомился как со старыми, дореволюционными, сырыми и тесными шахтами, и новыми, просторными, залитыми электрическим светом шахтами социалистическими. В некоторых забоях добывали уголь еще так примитивно, что мы с облегчением вылезали на свет божий, и нам было неловко измученных людей еще «обследовать» — измерять у них там, в этом аду, кровяное давление и т.п. Но в других работали врубовые машины, ходили поезда, работала вентиляция; и вместо черных от угля людских фигур с багрово-грязными лицами из-под спецодежды даже белели чистые рубашки.

Затем мы побывали на Кузнецком металлургическом заводе в Сталинске — одном из первых капитальных сооружений советского времени, созданных под руководством академика Бардина<sup>[104]</sup>. Нам показывали, чем был до революции этот заводик и этот захолустный маленький городишко Новокузнецк — и мы видели, чем уже стал этот великолепный завод, мощное, уверенное дыхание которого как бы возносило гимн новым хозяевам, строителям и рабочим, а огни доменных

печей озаряли сибирский морозный воздух. Мы жили в новом огромном городе с проспектами и трамваями — пока еще, впрочем, новостроечными, но явно рассчитанными в недалеком будущем служить одному из крупнейших городских центров восточной части нашей страны.

В горячих цехах меня удивила выносливость людей (я плохо переношу жару). В этом пекле надо было пить не просто воду, а воду с поваренной солью (физиологический раствор), так как пот вымывает из тканей хлористый натр, что усиливает жажду и способствует утомлению. Ставились опыты с заменой соленой воды раствором сахара (глюкозы). Было поразительным также, что, несмотря на крайние колебания температуры (в цеху — раскаленный воздух, на улице — тридцатиградусный мороз, окна открыты, рабочие полуодеты), простудных заболеваний было меньше, чем среди обычного контингента городских жителей, как будто бы лучистая энергия убивает вирус гриппа.

Ужасно понравился мне рельсопрокатный цех своей поразительной механизацией (толстая огненная болванка стали, получаемая из печи, шустро бежит по конвейеру, ее жмут и давят прессы, она вытягивается, дальше — больше, а единичные рабочие наблюдают ее бег и нажимают рычаги механизмов).

Посетили мы и Белевский цинковый завод, где наблюдали у отдельных рабочих «меднолитейную лихорадку» (периодические вспышки температуры с общим недомоганием, якобы грипп), а также коксохимический комбинат в Кемерово.

Кемерово еще недавно было жалким селением на берегу реки Томи. Мы застали большой город с населением около 150 тысяч; стандартные дома, впрочем, мне не понравились, к тому же весь город пропах тяжелыми запахами химии. Новая больница была так хороша, что могла бы быть базой институтской клиники, да и врачи оказались опытными, особенно хирурги, не хуже каких-либо ассистентов (а может быть, и с большим опытом).

Первые годы жить на новом месте интересно, но в дальнейшем вас начинает сосать «охота к перемене мест» — весьма мучительное свойство. Все чаще вспоминался чудесный город Ленинград — мы не могли смотреть на его виды в кино без чувства плаксивого восторга. Правда, ежегодно мы бывали там всем семейством; на Петропавловской благополучно жили мать и брат; брат женился, появились дети — мальчишки. Мы ходили по театрам и концертам, к Лангу, к друзьям по клинике. Мы говорили, что живем хорошо, довольны и все такое; да и действительно, мы жили хорошо, но вот довольны ли — это другой вопрос. Собираемся ли мы навсегда

остаться в Сибири? Когда какому-нибудь молодому ученому министерство предлагает кафедру на периферии (или он под напором приглашения и обстоятельств подает на конкурс), он считает, что едет на периферию на время, на три-пять лет, а потом рассчитывает возвратиться домой. Но у большинства, естественно, такой уверенности быть не может — да и надо же, чтобы периферийные вузы обеспечивались не временными, а постоянными руководителями кафедр. К тому же в те годы уже стало складываться положение, когда переехать из центра на периферию было легко, а вернуться домой с периферии — крайне трудно, хотя бы ты и был избран «по конкурсу». «Не отпускают местные организации» — вот тебе и «избран по конкурсу». Это обстоятельство сильно тормозило (и тормозит) поездку на периферию молодых ученых — и многие предпочитают торчать до старости ассистентами или доцентами клиники в Москве или Ленинграде, прекращают даже работать в научной области, бросают докторскую диссертацию, лишь бы не ехать на периферию. Я не боялся «застрять на периферии» и был в глубине души уверен, что, несмотря на «блокаду» на местах, я получу в свое время кафедру в дальнейшем в Ленинграде или в Москве (просто потому, думал я, что буду там нужен).

Поездки в железнодорожном вагоне занимали до Ленинграда в прямом поезде № 93, через Вологду, пять-шесть дней (поезд зимою обычно сильно опаздывал, тянулся от станции к станции), до Москвы в скором поезде через Казань и Красноуфимск — трое суток или на проходящем курьерском двое с половиной суток (в этот поезд было трудно попасть, а из Москвы редко давали билеты, так как будто бы для данного поезда три тысячи до Новосибирска было слишком близко — на самом же деле билеты тогда распределялись в зависимости от важности организации, по брони или по блату). Ленинградский поезд имел обыкновение задерживаться перед мостом через Обь на несколько часов, покуда не пройдут другие, более высокие по чину; из вагона уже видишь свой дом, освещенные окна, там ждет Леник, а на станции, встречая, мерзнет Инна, но не идти же пешком! И вот наконец дотащились. А раз в поезде, скором из Москвы, мы ехали всей семейкой, и у Леника заболело горло. Он горит, на коже красные точки — скарлатина! Но не сходить же (мы ехали в двухместном купе международного вагона). Наконец Новосибирск. И, должен со стыдом вспомнить, мы быстро выскочили с поезда, забыв даже предупредить проводника о заразной болезни.

Ездили мы и на Черноморское побережье. У новосибирцев была мода непременно «лечиться» на Кавказе, добрую половину своего отпуска тратя



на переезд. Наше трио успевало объездить все Сочи, Гагры, Рицы, Красные Поляны и т. д. Почему-то надо было подыматься на машине на Ахун всякий раз, как очутишься в Сочи.

Между тем Алтай представлял красивую горную страну, в которую мы не углублялись, воображая, что ее знаем по Белокурихе. Только раз мы с Н. И. Горизонтовым проехали на легковой машине по Чуйскому тракту, побывали в Чамале, любовались Катунью в русле гранитных берегов, проехали дальше — к Белухе. У подножия Белухи мы переночевали в чистенькой районной больнице, которой заведовала молодой доктор, наша ученица.

Природа Алтая красива, но сурова. Бесконечны просторы гор и долин (в отличие от стесненного Кавказа, там горы и долины не ограничивают пространства, а только лишь его усложняют, к тому же безлюдность также создает впечатление простора). Хороша трава, сочная, яркая. Забавно сочетание горных видов, напоминающих юг, с флорой Севера. Мы побывали в «чумах» горных алтайцев — конусовидных хижинах с отверстием вверху для дыма, стены из деревьев, наскоро составленных и покрытых сухими сучьями; внутри посередине очаг, по бокам валяется темная грязная одежда, домашняя утварь, спят на сене, покрытом кожами. Алтайцы плохо говорят по-русски и хорошо улыбаются своими широкими скулами. С эстетической и исторической точки зрения, думал я, эта жизнь должна была бы быть сохранена, но с точки зрения социальной она должна быстро сгинуть в мрачное прошлое.

В Чамале мы остановились у А. И. Нестерова — профессора-терапевта из Томска. Он жил тогда летом в Чамале в качестве научного консультанта, как я в Белокурихе. Чамал — красивый климатический курорт. Кругом синие скалы, в серебряную Катунь вливается какой-то другой темный, мощный поток. Алтайские ели и пихты наполняют горный воздух живительным ароматом.

Там — дом отдыха ВЦИК под руководством Е. И. Калининой, прежней жены М. И. Калинина<sup>[105]</sup>. Профессор Нестеров оживлен и любезен, мы отправляемся верхом на какую-то гору, с вершины которой открывается чудный вид.

Утром перед отъездом на Белокуриху я выхожу из флигеля, вижу картину. Н. И. Бухарин<sup>[106]</sup>, тогда редактор «Известий», только что возвратился с охоты. Он сидит на крыльце в окружении секретарей и председателей различных «комов» и дразнит подбитую красивую птицу — дрофу; та скачет на одной ножке, другая ножка на веревочке. Все

подобострастно умиляются. В это время и сам Бухарин, в сущности, уже был подбитой птицей и вертелся на тонкой нити связи с жизнью; скоро и она оборвется.

Политический небосклон стали закрывать грозные тучи.

Для нас, врачей, особенно симптоматичной стала история с Д. Д. Плетневым. Вдруг объявили, что он — профессор-садист. Будто бы на одном из своих частных приемов он укусил в грудь какую-то пациентку. Его сняли с кафедры и подвергли общественному суду. Пострадавшая бросала в его адрес невероятные обвинения, которые странным образом находили официальную поддержку. Терапевтическое общество поспешно исключило садиста из числа своих членов, а профессор Лурия<sup>[107]</sup> громил его в газете и в докладах как лжеученого, которым не место в среде честных советских специалистов. «Укушенная» была препротивная немолодая особа. Казалось странным, чтобы такой интересный мужчина, имевший к тому же чудесных поклонниц, мог польститься на эту «рожу» и на ее грязную черствую грудь. Он сам, конечно, отрицал обвинение, но «советская общественность» должна была от него отвернуться.

Через год выяснилось, для чего нужна была вся эта история. Умер Максим Горький. Вскоре было опубликовано сообщение, из которого следовало, что великого русского писателя... отравили лечившие его врачи — Д. Д. Плетнев и Л. Г. Левин. Будто бы они его травили лекарствами — прописывали большие дозы и назначали слишком много лекарств одновременно. Д. Д. Плетнева сослали, а Л. Г. Левина потом расстреляли. Я не поверил фальшивке. Я отказался выступать по поводу врача-отравителя, врача-убийцы. Тогда я имел смелость так поступать (к сожалению, я не знал, что история повторяется, и во второй раз я окажусь более малодушным). Я знал, что Д. Д. Плетнев, как бы он ни относился к советской власти в душе, никогда не мог бы пойти на убийство писателя России, которую он любил (да и писателя если не любил, то уважал). К тому же казалось бессмысленным убивать Горького, не имевшего тогда ни малейшего политического значения. Кроме того, и сама идея, что врач может сознательно убивать пациента, казалась безумной, дикой — и не могла найти отклика в сознании медика. Ссылки на времена Борджиа не были, конечно, убедительными. Чудовищность всей этой истории была ясна и ее авторам, потому и было, очевидно, необходимым еще за год раньше превратить Плетнева в зверя.

Мне известно было, кроме того, одно важное обстоятельство: Плетнев не лечил Горького последние дни его болезни — его лечил Г. Ф. Ланг. Именно Ланг был привлечен по указанию Сталина в Горки и десять дней

подряд находился там неотлучно; под его личным наблюдением и проходило лечение М. Горького. К счастью, постановщикам трагедии тогда не нужен был Ланг, на него не распространялся ее сюжет, имя Ланга не фигурировало и на «процессе», как будто его там и не было. Следовательно, Д. Д. Плетнев не несет ответственности даже за ошибочное лечение, даже если допустить, что оно в чем-либо было ошибочным.

Я был свидетелем последующего разгрома как ленинской партии, так и кадров советских специалистов.

Вслед за уничтожением Зиновьева, Каменева<sup>[108]</sup>, Бухарина, Рыкова<sup>[109]</sup> и других очередь дошла и до сообщников.

Нашли очаг правобухаринского заговора и в среде партийного и советского начальства в Новосибирске. Заведующий крайздравом Трахман, который так весело за ужином распевал «Моряк был с крейсера «Аврора», он был без страха и позора» и потом играл в преферанс с профессорами, вдруг был арестован. Одновременно арестовали председателя крайисполкома Грядинского и некоторых других видных местных советских работников. Нам сказали, что они предатели.

Вскоре были объявлены выборы в Верховный Совет. Новосибирску предложили выбрать двух депутатов — Эйхе<sup>[110]</sup> и Антонова<sup>[111]</sup>. Антонов — командующий Сибирским военным округом — был человек новый, его никто не знал, а потому было за него голосовать просто. Но Эйхе? Эйхе был первый секретарь Западно-Сибирского крайкома. Этот высокий, тощий латыш производил впечатление идейного партийного деятеля; авторитет его был велик, его считали наместником Сталина в Сибири. Роберт Генрихович Эйхе был, нам казалось, честным, несгибаемым ленинцем. Ни о каких уклонах, ни о каких оппозициях его никто никогда не слышал. Лично мне (я неоднократно его смотрел как пациента, старый пневмосклероз) он imponировал, был деликатен, прост, прям. Но Грядинский, Трахман и другие арестованные — это его близкие сотрудники и друзья. Как провести между ними грань? Может ли она быть? Я, правда, не верил в заговоры; уже тогда, как и многие, мы считали, что просто идет расправа Сталина с прежней партией (которая могла мешать ему в укреплении личной диктатуры).

Случаю было угодно поручить мне быть «доверенным лицом» на выборах Эйхе. «Доверенное лицо» — плод той фальшивой демократии выборов, которая установилась в нашей стране (можно сочувствовать идеям коммунизма и всячески работать на благо советского народа, но выборы, или лучше сказать «выбора», — это всеми молчаливо

принимаемый универсальный обман, превращение себя в роботов, выбирающих одного. из одного, по команде). Правда, Эйхе знали все новосибирцы. Мы величали его «верным соратником великого Сталина» (бурные, несмолкаемые аплодисменты). Кстати, он был передвинут из кандидатов в члены Политбюро.

Вскоре мы узнали, что наш дорогой избранник уезжает из Сибири, он назначен министром (земледелия). И вдруг он — уже не член Политбюро, и не член ЦК. Более того, его вообще нет, исчез, сидит? Говорили, что он застрелился. Как стало известно уже много лет спустя, Эйхе в тюрьме истязали; в письмах к Сталину он говорил об измене в партии, об ужасах, испытываемых в застенках старыми, верными членами партии, взывал о помощи — он не знал, что Сталин не мог помочь ему против самого же Сталина; Эйхе помогли, может быть, лишь тем, что вскоре убили.

Затем в городе пошли аресты. Инженеры, врачи, ученые, советские служащие. Всем давался для подписи обвинительный акт. Должны были признать себя виновными: одни — в том, что систематически заражали реку Обь холерными и дизентерийными микробами (хотя ни одного случая заболевания холерой не было десятки лет), другие — что они подсыпали яд в молоко, предназначенное для детских яслей, третьи — в том, что заразили скот бруцеллезом, и т.д. и т.п. Фантастичность, нереальность вины не играла никакой роли: к тому же было некогда сочинять что-нибудь более правдоподобное.

Заклоченных заставляли по суткам стоять на ногах, потом их били — по щекам, затылку, груди; их обливали ледяной водой. В прострации некоторые подписывали — их отправляли, но не домой, подальше, держали где-то — на работах или в тюрьме, кто знает, ибо потом они умирали. Более стойкие, по крайней мере, некоторые из них, освобождались (без подписи в том, что преступник сознался, процесс не получал формального доказательства, а следовательно, столь же преступные, сколь и трусливые следователи не могли в дальнейшем считать себя в безопасности). Через некоторое время, волею меняющегося вверху начальства, следователи сами переходили в категорию преступников.

Патофизиолог, профессор, милейший и культурный человек Пентман [\[112\]](#), когда-то работавший у Негели [\[113\]](#) в Германии, был арестован; его обвиняли в том, что он (еврей) — гитлеровский шпион и «готовил чуму в Сибири»; Пентман погиб. Доктор С. С. Кушелевский был также посажен; этот толстяк ничего не подписывал, претерпел все муки и был отпущен тощий, как жердь.

Нет, самая пора уезжать отсюда поскорее, как только можно! Наверно,

думали мы, в Москве или в Ленинграде нет этих ужасов, в провинции утрируют и извращают. К тому времени я получил три приглашения занять кафедры: в Харькове, в Москве и в Ленинграде. Я подал на все три и на все был избран (в Москве это была небольшая клиника МОКИ<sup>[114]</sup>, вскоре закрывавшаяся; в Харькове — клиника пропедевтической терапии, а в Ленинграде — факультетская терапевтическая клиника недавно открывшегося III Медицинского института). Я предпочел поехать восвояси в Ленинград. Мы стали готовиться к отъезду, хотя надо было иметь еще разрешение на отъезд (из Москвы). В Москве в Министерстве здравоохранения отделом медицинского образования ведал И. Д. Страшун<sup>[115]</sup>. Он, очевидно, был обо мне положительного мнения, а может быть, и директриса III Ленинградского медицинского института Марнус, сестра жены Кирова, была особа не без влияния; так или иначе, я получил санкцию на переезд в Ленинград.

Последнее лето в Сибири. Белокуриха. Инна шьет распашонку. Она вышивает на приданом букву «О». Если будет девочка, понятно, это будет Ольга. А если мальчик? Какое же мужское имя на О? Что-то не припоминается. А-а! Олег! Ольга или Олег — древнерусские имена. На этот раз я не против девчонки, но если будет опять мальчишка, то Олег Александрович — это отлично! Но жене еще надо сдать государственные экзамены — тогда они были почему-то осенью (август — сентябрь). А тут переезд. Мне необходимо быть в Ленинграде к началу учебного года, следовательно, я должен ехать один, «а ты уж сдашь, родишь и переедешь».

Я желаю Инне успешно родить, сдать, переехать (ее мать, вызванная из Ленинграда, ей, конечно, поможет; Елена Калинишна — человек верный и практичный), а сам сажусь в скорый поезд в Москву, а оттуда прибываю в Ленинград. Сибирь кончилась! Пожили там хорошо, впереди — волнующие перспективы дальнейшей работы. Мне уже 38 лет (август 1938 года) — через месяц будет 39. Мало? Много?

3 сентября я получаю телеграмму: Олег Александрович!

Через несколько дней я встречаю нового доктора — мою жену, с маленьким чудным новым бебе, с двумя вагонами книг и вещей и с дипломом об окончании института.

## Великая Отечественная война

По возвращении в Ленинград я стал работать параллельно в двух учреждениях: профессором кафедры в I ЛМИ (снова у Г. Ф. Ланга) и заведующим кафедрой факультетской терапии III Ленинградского медицинского института (III ЛМИ). В первом своем амплуа мне пришлось читать параллельный Г. Ф. Лангу курс вновь открытому морскому факультету. В самой же клинике я, не помню уже зачем, приходил на короткий срок не каждый день (и не знал, собственно, что делать: я считал эту свою должность совместительством временного, переходного характера, но целых два года так шло по инерции). «Своя» же клиника имела не очень важную базу — терапевтическое отделение больницы им. Урицкого (на Фонтанке).

III ЛМИ помещался главным образом в старинной и славной Обуховской больнице (или больнице имени Нечаева) — ею в свое время руководил ученик С. П. Боткина — Александр Афанасьевич Нечаев<sup>[116]</sup>; я застал его в живых. В 20-х годах Нечаев был одним из учредителей и первым председателем Ленинградского терапевтического общества; этот благообразный старик, впрочем, не произвел на меня никакого впечатления. Инициатива превращения этой больницы в «больницу-медвуз», а потом в III Ленинградский медицинский институт в наибольшей мере принадлежала профессору Михаилу Ивановичу Горшкову. Немалую помощь в организации нового вуза оказал Институт экспериментальной медицины, клинические отделения которого имелись в Обуховской больнице, а особенно Максиму Горькому, с которым были в дружбе М. И. Горшков, и некоторые другие обуховские и ИЭМовские деятели. М. И. Горшков занявший кафедру терапии третьего курса, вскоре отошел от руководства нового института (а потом и умер).

Состав профессуры нового вуза был довольно симпатичным и заслуживающим уважения. Среди клиницистов были отличные хирурги — профессор Буш, крепкая рука которого и сдержанный ум редко когда подводили, профессор А. В. Мельников<sup>[117]</sup>, приехавший из Харькова (крупный онколог и специалист по брюшным операциям, красной). Одновременно со мной переехал из Новосибирска и А. В. Триумфов. Среди теоретиков кафедру физиологии возглавляли Константин Михайлович Быков<sup>[118]</sup>, под его же руководством находились учреждения Института экспериментальной хирургии, в том числе клинический сектор (изучение

пищеварения на оперированных больных — секрция «малого желудка», поджелудочной железы, желчи); кафедру биохимии возглавлял В. М. Васюточкин<sup>[119]</sup> (работавший и в ИЭМе у К. М. Быкова); анатомии — Б. А. Долго-Сабуров<sup>[120]</sup>, впоследствии член АМН СССР; кафедру патологической анатомии вел С. С. Вайль<sup>[121]</sup>, ученик А. И. Абрикосова<sup>[122]</sup>, человек чрезвычайно способный, весьма эрудированный, обладавший филигранной техникой морфологического исследования, яркий и едкий оратор — между прочим, феноменальный рассказчик анекдотов, притом в неисчерпаемом количестве и всегда удивительно к месту. В III ЛМИ работал и В. С. Галкин — завкафедрой патофизиологии; его научные идеи определялись тем, что он был раньше сотрудником А. Д. Сперанского<sup>[123]</sup>; В. С. Галкину удалось установить ряд новых и интересных факторов из области нервных регуляций (так, он установил, что точкой приложения некоторых гормонов служат центры гипоталамической области; он показал, что во время наркоза безвредными могут быть некоторые токсические воздействия, смертельные вне наркоза, и т.д.). В работах В. С. Галкина «нервная трофика» казалась более убедительна, нежели в работах некоторых других учеников А. Д. Сперанского, от которых часто шел дух лабораторных фортелей, а может быть, и жульнических трюков. В. С. Галкин был популярный лектор, лекции читал сочно, просто, все быстро входило в студенческие головы и даже застревало там (иногда даже слишком надолго). Вящей славе этого профессора служили еще два момента: 1) он мог фантастически много выпить спирта и 2) шел слух, что ни одна женщина не может против него устоять. Сам Галкин это мнение охотно поддерживал. Кроме того, он был поклонником красивой бронзы и старинной мебели красного дерева. В каждой комнате его большой квартиры висели изумительные люстры дворцового типа; уникальные бронзовые канделябры и жирандоли стояли на столах и зеркалах павловской эпохи; в черных рамах смотрели на вас персонажи фламандских и голландских мастеров (другой живописью В. С. Галкин не интересовался).

Не все клиницисты III ЛМИ могли поместиться в Обуховской больнице. Факультетская терапевтическая клиника, которую я получил, была открыта на базе больницы им. Урицкого — тесной, старой, мало подходящей для занятий со студентами и для организации научной работы. Моими ассистентами оказались Евзеров, Эдвард, Ронинсон, Фишер и др.

Вскоре после открытия клиники явился ко мне и еще один сотрудник — Зиновий Моисеевич Волынский<sup>[124]</sup>. Тогда это был плохо одетый, не

очень чистый, волосатый парень. Он явился прямо из тюрьмы. В тюрьме сидел в связи с ежовскими арестами военных (Ленинградского гарнизона). Он заведовал санаторией для желудочных больных, обслуживавшей гарнизон, и его посадили «за компанию» с другими высокими чинами, держали год, подвергали различным мучительствам, но доктор оказался крепким и не подписал обвинительного акта (он будто бы должен был отравить под видом диеты какую-то определенную группу больных). З. М. Волынский вскоре показал себя исключительно способным сотрудником и в дальнейшем сделался моим верным помощником по клинике вплоть до моего отъезда из Ленинграда в Москву. В настоящее время он заведует кафедрой Военно-медицинской академии. Волынский оказался весьма восприимчивым к научной работе, хорошо улавливал мои мысли в этой области и развивал их. Мне как-то смешно представлять его, пришедшего тогда в залатанном кителе, тощим и бледным, похожим скорее на управхоза, — и сравнивать с теперешним холеным, толстым профессором с богатой квартирой и важной уверенной осанкой.

Доцентом кафедры был сын А. Аф. Нечаева — Александр Александрович. Это был (теперь его уже нет в живых) добродушный и неторопливый доктор. Научные работы его касались практических вопросов, диссертация — о воспалении легких у раненых — оказалась одной из многих монотонных работ на эту тему, послужившей для необходимой «научной» квалификации врачей во время войны. А. А. был человек скромный; наука его не сильно тормозила, он слыл зато «прекрасным диагностом» (я заметил, что клиницисты, не имеющие особого отношения к науке, обычно считаются «хорошими врачами», а клиницисты с талантом научных исследователей обычно считаются «теоретиками», хотя бы они и были одновременно отличными врачами и диагностами; ошибки первых прощаются или забываются, вторых — нет). В дальнейшем А. А. стал профессором кафедры, то есть моим заместителем (эта должность, как показывает мой опыт, не служит единству кафедры, а приводит к «деполяризации» ее, и даже тактичные и ровные «профессора кафедры» не являются хорошими помощниками).

Так как в больнице Урицкого никаких лабораторий у клиники не могло быть (теснота городской старой больницы), научная работа, которую я в Новосибирске насаждал среди сотрудников, не могла особенно развиваться. Впрочем, несколько «печеночных» тем были даны сотрудникам, главным образом, по так называемой функциональной диагностике (то есть те или иные биохимические пробы); данные этих работ послужили дополнительным материалом ко второму изданию



«Болезни печени», вышедшему в 1940 году.

Чисто больничный опыт в те годы для меня, может быть, был более важен. Ведь в обычных городских больницах, в гораздо большей мере, чем в специальных клиниках, бывают весьма сложные в диагностическом отношении больные. Я помню больного 32 лет от роду, слесаря, худощавого человека, поступившего в больницу в 6–7 часов утра с резкими болями в груди. Дежурный врач подумал о перфорации язвы желудка или двенадцатиперстной кишки. Больного подвергли рентгеноскопии для выяснения вопроса, нет ли газа в брюшной полости. Газа не оказалось, и диагноз был изменен на острый панкреатит. Больного стали готовить к операции. В 9 часов утра, когда я пришел, он был еще в нашем терапевтическом отделении, боль под ложечкой и в середине груди продолжалась, никаких симптомов перитонита не было. Хирурги настаивали на операции, я медлил с решением. Прошел еще час, я делал обход, в другой палате, и вдруг меня вызвали и сообщили, что больной умер. Какой диагноз? Принимая во внимание внезапную смерть, мы поставили диагноз «острый инфаркт миокарда», что и подтвердилось на вскрытии.

Или другой случай. Операционная сестра больницы заболела желтухой, но не захотела ложиться в палату, а продолжала оставаться на ногах. Внезапно у нее развились сильные приступы болей в области печени. Хирург (профессор Теплиц) поставил диагноз — желчнокаменная болезнь. Мы занимались тогда пробой с галактозой, которая оказалась у больной положительной, что говорило за острый гепатит. Больную, однако, оперировали, камней не нашли — острая желтая атрофия печени (больная умерла).

После этого случая я с большей осторожностью оцениваю печеночные колики как проявление заболевания желчного пузыря и протоков; как часто в дальнейшем приходилось отмечать их и при тяжелых острых гепатитах! Вместе с тем уважение к лабораторным биохимическим пробам после того случая увеличилось.

Домашние дела шли хорошо. Рос маленький Олег, болел каким-то крупом, задыхался, привозили к нему профессора Тура, Глухова, вводили сыворотку. Потом болел скарлатиной, вводили пенициллин (только что появившийся в Ленинграде, канадский). Все благополучно прошло. Мальчишка все время улыбался, при слове «папа» показывал на лампу, а при слове «лампа» — на папу и т.д. Жена, тогда еще молоденькая (тридцати трех лет), немного ссорилась с моей матерью, и та, как король Лир, то жила у старшего сына, то у Левика (тот женился на докторше, имел

двух сыновей, продолжал жить на Петропавловской улице в старой квартире, а у нас была хорошая четырехкомнатная новая квартира на Лесном проспекте. Мне казалось, что обе женщины одинаково правы и не правы, и я ничего не делал, чтобы мирить их (и это было бы еще хуже), а злился на обеих. Но потом наступило затишье.

Летом 1939 года мы жили опять в Сибири — Белокурихе, с нами поехала няня Олега — Сергеевна (когда-то окончившая Институт благородных девиц, старая особа, которая потом жила у нас и в Москве на даче и там умерла). Теперь уж ясно, что это был преданный нам и честный человек; при ее жизни мы иногда ссорились с ней, но Олега она любила так, как только могут любить одинокие культурные и несчастные женщины, не имеющие никакой другой личной жизни. В Белокурихе мы снова встретились с новосибирскими друзьями. Сейчас я могу сказать, что в будущей моей жизни в Ленинграде и в Москве не было столь милых друзей, как в Новосибирске.

Возвращаясь в Ленинград, мы в дороге читали о странных событиях: Риббентроп и Молотов заключают договор.

Союз страны социализма с фашистской Германией! Злые, подстрекательские заявления в адрес Франции и Англии («пусть они повоюют, если хотят, — посмотрим, какие они вояки»). Гитлер — наш союзник! Все понимают, что надвигаются страшные события. Гитлер уже оккупировал Чехословакию и Австрию.

Зима 1939–40 года ознаменовалась войной с Финляндией. Мы сидели в нашей уютной квартире на Лесном, я рассматривал только что приобретенные в комиссионном магазине на Невском пейзажи Крыжинцкого и Рылова. Недавно у нас побывали из Москвы Савранские, и Леонид Филиппович подарил мне на новоселье этюд Петровичева (с него и пошло начало моей картинной коллекции). Инна включила в 11 часов вечера радиоприемник: и вдруг — о ужас, речь Молотова о нападении на нас Финляндии! Маленькая страна в три миллиона жителей напала на гиганта с 200 миллионами населения! Эта декларация о нападении имеет мало прецедентов по своей явной лжи.

Война неожиданно оказалась крайне тяжелой. Финны сражались как львы, отстреливались в лесах с деревьев; они хорошо укрепили границу на Карельском перешейке (линия Маннергейма), и много пролилось крови наших бойцов, чтобы наконец преодолеть финскую оборону. Весь Ленинград был забит ранеными. К тому же стояли лютые морозы, с фронта поступали больные с «отморажением легких» (род крайне тяжелого диффузного бронхиолита). Терапевтическое общество вместе с горздравом

приняло большое участие в организации терапевтической службы в помощь фронту.

Но война не была популярной, и публика злорадствовала: молодцы чухонцы, так нам и надо! Особенно насмехались над откуда-то взявшимся Отто Куусиненом<sup>[125]</sup>, якобы лидером советской Финляндии, собравшим где-то на клочке захваченной территории «финское правительство». Война с белофиннами была, впрочем, полезной тем, что показала плохую подготовку Красной Армии; как репетиция в новой войне, она имела значение. Финляндию нам так и не удалось сломить; а впрочем, нельзя было вязнуть в этой войне, несправедливость которой уж слишком бросалась в глаза всем.

Летом 1940 года мы жили на даче на старых местах (деревня Пески, Новосиверская). Стояло жаркое лето. Был необыкновенный урожай грибов. К войне, говорили в деревне. Грибы росли даже у заборов, по дорогам. Я по два раза в день тащил из леса огромные корзины белых. Приезжал на этот феноменальный фестиваль грибов Левик. По утрам младший сын смело ступал в прохладные воды Оредежи в пижаме и чистил зубы.

Я писал учебник пропедевтики внутренних болезней и, каюсь, немало списывал при этом с «Основ диагностики» Плетнева и Ланга, а также со скучного учебника диагностики Черноруцкого. Смысл нового учебника состоял в том, чтобы слить воедино «диагностику» и «частную патологию и терапию внутренних болезней» — и это мне как будто удавалось.

Многие годы студенты третьего курса всех вузов нашей страны учились, да и сейчас учатся по моему учебнику. В настоящее время он переведен на немецкий, румынский, китайский, корейский, азербайджанский языки. Немецкое издание учебника (1960) имело хорошие отзывы в медицинских журналах, в том числе и в капиталистических странах.

Получив мой учебник на немецком языке, я подумал, как переменялось время — еще недавно мы учились по немецким книгам, и ни одна русская медицинская книга по нашей специальности (все равно — учебник или монография) никогда не была переведена на немецкий — или какой-либо другой из международных европейских языков. Пусть теперь немцы поучатся по нашим книгам! Но я забегаю вперед — ведь это уже результат победы в войне с Германией.

1 августа 1940 года состоялось постановление об организации на базе III Ленинградского медицинского института и морского факультета I ЛМИ Военно-морской медицинской академии. Обуховская больница приняла под свои своды моряков. В главном здании засело начальство —

профессуру и некоторых ассистентов взяли в кадры военно-морского флота, К. М. Быков получил чин дивизионного врача, я — бригадного врача. Форма морского офицера мне, говорят, шла. Среди слушателей оказались и девицы (из I ЛМИ), они также стали носить форму — синюю блузку, темную юбку и берет с кокардой. Больше всего я был доволен фуражкой (извините, головным убором), так как шляпы мне почему-то не шли. Нам стали читать морское дело и собирались по очереди отправлять на флот.

Моя клиника — факультетская терапия — была переведена на территорию академии (то есть Обуховской больницы), я получил очень симпатичное здание, недавно выстроенное для приемного покоя. Оно состояло из малых палат, обширного лабораторного крыла, просторной учебной комнаты.

В клинике было открыто туберкулезное отделение, был приглашен на должность доцента доктор Эмдин, до того заведующий Ленгорздравом и еще вдобавок тогда депутат Верховного Совета. В дальнейшем доктор Эмдин стал профессором, а потом, потом... в конце сталинского «царствования» был арестован и замучен в тюрьме до смерти. Перешел еще к нам из I ЛМИ Иван Тимофеевич Теплов, бывший ланговский ассистент; он только что выпустил книгу «о скорости кровообращения». Это был скромный и дельный сотрудник, впрочем, вполне самостоятельный. В дальнейшем он многие годы оставался в клинике, но, по совести, я бы не мог его считать своим учеником (он был старше меня и даже раньше меня получил ассистентство у Ланга); только через десять лет он получил профессуру. Был включен в состав кафедры П. И. Беневоленский, защитивший позже докторскую диссертацию на тему о каком-то желтом штамме туберкулезных бацилл. Из моих прежних ассистентов в Военно-морскую медицинскую академию прошел только один, а именно З. М. Волынский. Именно этому энергичному человеку в немалой мере принадлежит заслуга в организации кафедры на новой базе; в дальнейшем кафедра еще несколько раз в связи с войной «перебазировалась» и «реорганизовывалась» — и я не знаю, как все это шло бы без опытной руки Волынского.

В Европе шла война. Гитлер, правда, медлил с наступлением на Францию, немецкая армия зацепилась за старую «линию Мажино» — но дальше не шли; зато на море их подводные лодки сильно нарушили англо-французское судоходство, парализовав снабжение союзников, а английские города, начиная с Ковентри, а затем и Лондон подверглись жестоким разрушительным бомбежкам с воздуха.

Вскоре французские правители предали свою страну Гитлеру. Они сделали все, чтобы посеять неуверенность и придать беспорядок в обороне родины. В то же время англичане мужественно стояли один на один перед фашистской Германией. Налеты немецкой авиации на Англию и ее блокада подводными лодками не только не сломили сопротивления англичан, но точно умножили присущее этой нации упорство характера.

Нас возмущало поведение Петэна<sup>[126]</sup>. Но мы радовались все же, что Париж спасен от разрушения (пусть ценою позора, падающего, однако, на голову не французского народа, а его правительства). Впрочем, как знать, что в исторических событиях хорошо и что плохо? Мы привыкли к тому, что исторические события задним числом приобретают разное освещение в зависимости от политических и партийных вкусов, что история не объективная наука (а потому вообще не наука), а объект политической демагогии, что в ней ничего не стоит принимать черное за белое и наоборот, — так, всех нас коробило возвеличивание в сталинские годы Ивана Грозного, стремление придать ему не только щит героя, но и одежды демократа-народолюбца. Этому извергу самовластия!

Весною 1941 года в Ленинграде, несмотря на войну в Европе, царило оживление. Как-то странным образом — после неудачной войны с Финляндией — публика успокоилась. Хотелось почаще встречаться с друзьями, повеселиться. Даже мы с Инной стали ходить по гостям и возвращаться домой под утро после вечеринки у Рысса или Эммы Барит. Мы шли по пустынным ленинградским улицам, спеша перейти Неву до разведения мостов. Белая ночь пробуждала жажду жизни, романтических ощущений, счастья. И всего было много в магазинах — в этот год «жизнь стала лучше и веселее», как гласили газетные лозунги.

В этот год — перед войной — мы почувствовали некоторые положительные стороны сталинского режима: правящей группой были использованы критические высказывания партийных фракционеров. Фракционеров уничтожали, но их предложения под шумок стали претворяться в жизнь, особенно в сельском хозяйстве. «Долой уравниловку и обезличку» — эти призывы не остались лишь фразами (как некоторые другие), а благоприятно отразились на положении некоторых групп населения — особенно ученых, специалистов, интеллигенции. Стало казаться, что социализм с его «каждому по его труду» — система, вполне приемлемая для «трудящихся», а так как мы все теперь «трудящиеся», то, следовательно, для всех. Тем более что старых людей — живых свидетелей ушедшего в прошлое дореволюционного строя — становилось все меньше; меньше становилось поэтому и латентных, или потенциальных, врагов

нового строя. Молодежь же, принимающая регулярно коммунистическую (комсомольскую) вакцинацию, хотя бы и пассивную, перестала интересоваться политической жизнью или задумываться над общественными вопросами и нехотя отправляла положенную службу «общественно-политической работы» — не с большим рвением, чем те, с которыми мы учились Закону Божьему в дореволюционной гимназии или ходили на исповедь целой группой к школьному попу, которого считали ханжой и обманщиком.

Во всяком случае, едва ли было бы преувеличением сказать, что накануне Великой Отечественной войны в нашей стране не осталось групп населения, которые хотели бы реставрации, рассчитывали бы на восстановление капитализма. Казалась дикой сама мысль о водворении царя, буржуазии и т.п. И вместе с тем «морально-политическое единство партии и беспартийных», «блок коммунистов с беспартийными» существовали только, конечно, на бумаге (как не было единства и в самой партии, несмотря на ее кровавое очищение после ежовщины и т.п., а были только страх и подчинение). Это были своеобразные противоречия: с одной стороны — принятие «нового мира», с другой стороны — отчужденность, скрытое недовольство Сталиным, маскируемое его превознесением как родного отца, гениального ученого и т.п. («бурные, долго не смолкающие аплодисменты, переходящие в овации, все встают»).

Первую половину 1941 года немцы, в сущности, воевали только с Англией, которая сопротивлялась, несмотря на разрушительные налеты «Мессершмиттов» и блокаду. Весною Гитлер навалился на Югославию, оказавшую сопротивление, которое продолжалось в дальнейшем на протяжении всей войны в горных районах страны под руководством Тито. Советский Союз ограничился протестом, но более резким, чем прежние реакции на гитлеровские экспансии.

Нападение на Сербию у многих из нас создало ощущение неминуемого включения в войну и СССР, но другие признаки, казалось, этому противоречили. Так, незадолго до объявления войны ленинградский хлеб был отправлен в Финляндию (позже стали объяснять эту роковую для Ленинграда ошибку не ложной оценкой ситуации, а попыткой «задобрить» недавних врагов — «купить» их нейтралитет, что оказалось трагической глупостью). Партийные работники и газеты настраивали население, что «войны не будет».

В июне у нас дома были как-то наши друзья — К. Ф. Огородников и его жена Кира (бывшая Кира Кульнева, моя милая студентка 20-х годов). Инна собиралась с ребятами и моей матерью на юг, на Черное море,

в Геленджик. Я все не мог решить, стоит ли семью отпускать в такое время. Кирилл Федорович, профессор университета, член партии, сын видного военного деятеля, сказал нам: «Пустяки, войны не будет, ручаюсь, поезжайте!» И они действительно уехали, а вскоре, в первые же дни войны, с большим трудом благодаря энергии, проявленной Инной, выбрались оттуда обратно домой. Обычно в доказательство, что войны не будет, ссылались на отпуска, которые широко предоставляли в начале лета 1941 года военнослужащим; курорты были полны военными, в том числе и из западных районов, а также из военно-воздушного и военно-морского состава.

И вдруг 20 июня германская армия перешла границы. Ее танки устремились по нашей территории, а авиация бомбардировала ряд городов. Началась Великая Отечественная война.

Объявление войны застало меня на даче Г. Ф. Ланга в Карголово. Был солнечный воскресный день. Ленинградцы отправились за город в поездах и в машинах. Много цветов, было весело и жизнерадостно. И вдруг — грозные звуки громкоговорителя. Речь В. М. Молотова<sup>[127]</sup>. Должен сказать, что (такова сила инерции и людской беспечности) наше настроение изменилось не сразу. Война так война, даже интересно. Чувство приподнятости. Может быть, мысли об изменении сложившихся условий жизни, что-то новое. Только потом подступили отрицательные эмоции — тревога, неуверенность, да и то главным образом в семьях, члены которых должны были немедленно отправляться на фронт или, по крайней мере, подлежали мобилизации. Надо полагать, что в районах страны, подвергнувшихся вторжению врага, было нечто совершенно иное.

Сразу же стали объявлять воздушные тревоги. Вначале завывание сирен казалось зловещим, но так как явного вреда появление немецких «Мессершмиттов» первое время не причиняло, все стали относиться к этим сигналам равнодушно: впрочем, веселый отбой был всегда приятным. Вечером город погружался в темноту, окна задраивали, на улицах и в трамваях зажигали мертвенные синие лампочки. Работа, занятия продолжались. Из продовольственных магазинов, переполненных до войны, быстро выкачивались товары. Воздушные нападения встречали беспорядочную и, нам казалось, напрасную стрельбу наших зениток; отдельные смельчаки «МиГи» нападали на строй черных воронов, стычки над городом (точнее, в его окрестностях) кончались взрывами в воздухе; машины падали, оставляя после себя широкий шлейф темного дыма.

Публика отправлялась в подвалы, в наспех возведенные бомбоубежища; шутили, что это делается для удобства захоронения, так

как казалось нереальным спастись в подвалах под падающей лавиной здания. Но здания падали еще редко, и только осенью налеты стали причинять городу более заметные разрушения.

Г. Ф. Ланг регулярно отправлялся со всей своей семьей в подвал, где читал первые главы своей монографии «Гипертоническая болезнь». Я не спускался в бомбоубежище и оставался спать дома. Позже мы стали переселять в бомбоубежище под клиникой наших тяжелых больных; там было довольно уютно, но вся эта возня казалась бессмысленной: двухэтажное здание клиники было только что построено, притом небрежно, и при попадании в него бомбы или снаряда шансы на гибель людей в подвале, казалось, увеличивались (но приказ есть приказ).

Постепенно воздушные налеты стали более регулярными; немцы посылали самолеты к 7 часам вечера, в сумерках, трамваи останавливались, и толпы населения, возвращавшегося домой с заводов и из учреждений, бежали в укрытия. Я обычно шел пешком по пустынным улицам. Великолепный город был особенно красив в свете то и дело вспыхивавших зажигательных бомб. Проносились со змеиным шипением и фугаски. Переходя Неву по Литейному или Троицкому мосту, останавливался, любуясь на мрачную симфонию взрывов и пожарищ. Было ли страшно? Почему-то не было. Только однажды я почувствовал, что поступаю неправильно. Переходя с Петроградской стороны (где жили моя мать с братом и его семья) на Выборгскую сторону к себе домой, по Гренадерскому мосту, во время падения бомбы где-то поблизости меня подхватила взрывная волна, и я с одного тротуара моста был брошен на перила другого и уцепился за них, избежав купели в Невке. Кстати, особенно красив был город с потухшими огнями в лунную ночь; совершенно тихий, мертвый, безлюдный город, с темными глазницами окон, залитый серебристым светом с неба, по которому иногда сновали точки самолетов, после чего там и сям на горизонте вспыхивал красный огонь; горела часто Новая деревня, близкая к нам.

А на Петропавловской в крепком старом многоэтажном доме в первом этаже, в котором жили наши, казалось уютно и спокойно. Моя семья — Инна с обоими мальчишками — в августе эвакуировалась из Ленинграда на Волгу, в Тутаев Ярославской области. Вообще с этой эвакуацией детей из города творилось много нелепостей. Многие школы и детсады были отправлены в район Луги — то есть как раз в пасть наступавшему на Ленинград врагу. Одним удалось вовремя бежать обратно в Ленинград, но другие попали под удар войны.

Инна сделалась врачом детского лагеря нашей академии. Проводы



ребят на Октябрьском вокзале были веселыми и грустными одновременно. Я, впрочем, не верил, что будет что-то нехорошее, но стало как-то тоскливо. Инна с детьми благополучно прожили в Тутаеве два-три месяца, а потом погрузились на волжский пароход и отплыли в Казань, где в то время жила сестра моей жены Валя; через некоторое время они двинулись дальше, в Новосибирск. Письма не доходили, но отдельные телеграммы просачивались с опозданием в несколько суток.

Мать моя вначале также уехала из Ленинграда в Красный Холм, но в силу своей привязанности к детям не могла оставаться там. Обеспокоенная движением событий, она погрузилась в поезд и проникла в Ленинград — это был один из последних железнодорожных составов, дошедших до города. По дороге поезд несколько раз останавливали, пассажиры убегали в леса из-за бомбежки, потом возвращались в вагоны и следовали дальше. Я был очень рад матери, но мне казалось уже тогда, что в Красном Холме она бы уцелела, а здесь — неизвестно. Мама пила свой неизменный кофе и угощала им всех нас, отдавала свой хлеб и т.п.

Продовольственное положение города ухудшалось с каждым днем. Лавки закрылись, стали выдавать по карточкам хлеб, по 200 граммов. В столовых гражданские могли получать жидкий суп. Военные жили лучше, они получали паек. Я относил часть пайка домой, на Петропавловскую, но большая часть его шла в нашу столовую («кают-компанию»), где мы ели по утрам и после работы (между 6 и 7 часами вечера).

Еще до установления блокады были сожжены так называемые Бадаевские склады, в которых было нелепым образом сосредоточено продовольствие города. Пожар Бадаевских складов я наблюдал с крыши нашего дома на Лесном, потом маслянистый удушливый дым покрыл весь город. С этого момента с едой стало еще хуже. Из пригородов двигалась толпа жителей; беженцы хлынули из районов приближавшегося фронта, население города возросло. В окраинных дачных огородах откапывали картошку, тащили кочаны капусты; резали скот.

Всем стало жутко от возросшего, властного желания есть.

Немцы (или, как тогда чаще говорили, «немец» или «он») быстро наступали. Их танки молниеносно опрокидывали оборону, вклинивались в расположение наших частей, окружали их. В августе фронт под Ленинградом откатился от Луги до Пулковских высот и вскоре придвинулся к заставам города. Попытки остановить лавину не удавались. Высылались отряды горожан рыть противотанковые рвы, вооружались добровольцы. Наш приятель профессор Огородников пошел простым красноармейцем и пролежал в окопах поблизости от «Красного путиловца»

всю блокаду. Убитые и раненые пропадали под пятой врага. Постепенно его движение стало замедляться, а наше сопротивление под стенами города возросло. Играли роль и отряды морской пехоты, а также залпы кораблей, скопившихся в устье Невы. Корабли прибыли из Таллина, впрочем, с большими потерями. Трагический поход Балтийского флота из Таллина в Кронштадт под началом бывшего фельдшера, а ныне адмирала Трибуца, возможно, и был вынужденным; но если бы начальство имело больше способности предвидения и меньше тупого послушания (и партийного «ура-ура»), оно бы могло совершить его раньше и тем спасти тысячи жизней славных моряков для той же самой обороны Ленинграда. Флот шел под обстрелом с обоих берегов Финского залива, под градом бомб немецких самолетов. Суда тонули одно за другим. Соленая купель поглотила и наших военно-морских врачей, в том числе и наших милых воспитанников и воспитанниц. Впрочем, некоторые из них спаслись и, лежа у нас в клинике, рассказывали о пережитых ужасах.

Погиб и начальник санслужбы флота бригаврач Кривошей. Незадолго до войны мы с К. М. Быковым были у него в Таллине, жена Кривошея сопровождала меня в покупках по магазинам (тогда Эстония казалась нам цветущей страной, «как у нас до революции», кусочком западноевропейской жизни; фасоны одежд и коричневые — цвет загара — женские чулки пошли в ход у нас оттуда — после того, как Эстония «добровольно присоединилась» к Советскому Союзу и он быстро выкачал все ее богатства). А до катастрофы со флотом мы с Р. Я. вдвоем ходили в филармонию, и звуки Пятой симфонии Чайковского под управлением Мравинского прерывались воем сирен.

Следом за одной катастрофой разразилась вторая. Окончившие в 1941 году академию наши молодые врачи получили приказ отправляться на Большую землю. К этому времени немец дошел до Ладожского озера; кольцо блокады замкнулось (у Мги). Город превратился в осажденную крепость — переполненную женщинами, детьми и стариками. Эвакуацию города проводили до того крайне неохотно, вопрос о ней упирался на «ура-патриотизм» со стороны партийных и советских работников. Мы вот-вот отбросим врага от Ленинграда, утверждали они, и вообще никакого окружения не может быть, только антисоветские элементы говорят о таких вещах, распуская панику; все должны оставаться на местах, работать и защищать грудью город Ленина — колыбель революции. Как должны были защищать город дети и старики — это уже другой вопрос. Всякие разговоры об эвакуации учебных заведений, учреждений и заводов пресекались до тех пор, пока она еще могла быть осуществима

сравнительно успешно — эвакуация позже пошла по ледовой дороге над Ладожским озером, под обстрелом орудий с южного берега и бомбардировок вражеской авиации, то есть когда она стала опасной и нечеловечески трудной для голодных людей, проваливавшихся под лед, замерзавших в сугробах или умиравших от поноса или истощения. «Героизм» переходов через Ладогу — не более чем расплата послушного народа за тупую бюрократическую самоуверенность так называемых ленинградских руководителей и, скорее всего, прямую недооценку военной ситуации со стороны верховного командования.

Но еще до эпопеи с ледовой дорогой, когда лед на Ладоге не стал, делали попытки эвакуации на маленьких озерных пароходиках или на баржах. Осенью Ладога сердита, бушуют волны. Морское командование решило переправить из Ленинграда через Ладогу молодежь, окончившую только что военно-морские учебные заведения. Слушатели Военно-морской медицинской академии были в том числе. Это были славные молодые врачи, наши ученики, среди них — десятка три женщин. В академии на Фонтанке мы их проводили. Они добрались до какого-то поселка на Ладожском озере, вечером погрузились на баржи. Бушевал шторм, темень, баржи были старые, их раскидало, налетели немецкие самолеты, почти все суденышки разбились и потонули, а с ними — и несколько тысяч специалистов.

Когда ужасная весть дошла до нас, мы про себя возмущались преступным легкомыслием командования, но едва кто-либо робко заикался об этом, политкомиссары свирепо одергивали нас, напоминая, что виноват во всем начавший войну Гитлер. Или мы не понимаем, что такое военная дисциплина? А было очень-очень жаль утонувших, и образы их долго еще представлялись нам.

Вскоре состоялось решение сделать попытку эвакуировать из Ленинграда нашу академию. Быстро погрузили в ящики оборудование кафедр, конечно, самое необходимое в будущем или наиболее ценное, распрощались о близкими (отправлялись только преподаватели и слушатели, семьи — никому не нужные в осажденном городе дети, женщины, старики, уже изнуренные голодом, — должны были, видите ли, оставаться) и сели в пригородный состав. В сумерках поезд прошел мимо моего дома на Лесном. Потом на какой-то еще сохранившейся станции была объявлена воздушная тревога; мы вышли из вагонов и разбежались в соседние кусты и огороды и (помню, было даже смешно и стыдно) ждали бомб. Бомбы не упали, и мы снова влезли в состав, который пошел дальше.

К ночи мы где-то остановились. Велено было выходить из вагонов и

рассредоточиться в примыкавшем к железнодорожному полотну лесу. Лес оказался низкорослый и болотистый. Моросил дождь. В мертвой и мокрой траве под чахлой елочкой мы расстилали плащи и укладывались друг около друга; капли октябрьского дождя мочили наши лица. Костер, конечно, развести не разрешили. К утру стало ужасно холодно, и вообще никто не спал; в тумане рассвета промокшие фигуры в военно-морской форме стали натекать друг на друга. Вскоре орда эвакуированных «по плану» добралась до Ладоги; тут оказались сухие пустые бараки, в которых, конечно, можно было бы всем удобно переночевать, если бы... если бы начальство удосужилось хотя бы накануне съездить сюда. У берега мы оглядели темно-синие разъяренные волны озера и подскакивавшие на них старенькие баржи, ожидавшие очереди не сегодня, так завтра потонуть с очередной порцией эвакуируемых ленинградцев.

Дисциплина есть дисциплина. А признаться, лично я готов был сесть в эти утлые ладьи. Там, в России, семья, страна с ее непобедимым пространством, а Ленинград казался обреченным на голодную смерть. Никто уже не верил в какого-то Кулина (оказавшегося изменником и перешедшего к немцам), армия которого-де победоносно движется к Ленинграду и вот-вот снимет его блокаду<sup>[128]</sup> (по слухам, он уже у Мги; вообще, слово «Мга» — название станции Северной железной дороги — было тогда на устах ленинградцев, с ним связывали как ужас окружения, так и надежды на освобождение).

На пристани, однако, сообщили, что вчера вечером было получено распоряжение приостановить переправу людей через Ладогу. Наше перебазирование не состоялось. Мы отправились обратно в Ленинград. Я доехал до Лесного и тут сошел с поезда прямо домой.

Стоял ясный день, в воздухе реяли черные «Мессершмитты», город был пуст (воздушная тревога); к вечеру я уже — на Петропавловской у матери, радостный, что с нею не расстался. Ящики инвентаря, кажется, остались на складе нераспакованными; для преподавания клинические кафедры перевели в военно-морской госпиталь на Васильевском (будто бы там было более спокойно по части обстрела, ведь фронт приблизился вплотную к южным районам города).

Появились первые дистрофики. «Алиментарная дистрофия» (так академически и камуфляжно стали обозначать голодную болезнь) давала в своем развитии два варианта — отечную и сухую формы. На улицах то и дело подбирали истощенных и отправляли в больницы, которые быстро заполнялись подобными больными, вытеснившими обычных (даже стало казаться, что обыкновенные заболевания мирного времени исчезли, в их

числе даже инфекционные заболевания; как выразился М. Д. Тушинский, «стрептококк эвакуировался из Ленинграда»). Пока еще смерть лишь притаилась, голодных кормили в госпиталях и на время помогали им.

Кое у кого были небольшие запасы сахара, варенья, шоколада. Их быстро съели, как и овощи, выкопанные в опустевших пригородах. Становилось холоднее. Стали разбирать на дрова деревянные строения. Пайки еще выдавались, хотя и ничтожные.

Но вот отзвучали пламенные речи в Москве в Октябрьскую годовщину на Красной площади. Речь Сталина была полна спокойного эпоса. Люди слушали ее и заражались патриотизмом и надеждами. Кем бы ни оказался Сталин в последующие годы своей жизни (а в особенности после смерти), в ту пору он, его имя, его слова внушали необходимую уверенность в борьбе, в сопротивлении трагическому ходу событий. Для многих он был знаменем спасения, победы. При всем моем критическом отношении к нему с самого начала его сурового, жестокого и демагогического правления я не мог не почувствовать положительного влияния его личности (может быть, авторитета его личности) на морально-политическое состояние как армии, так и населения.

После Октябрьского праздника продовольственное положение осажденного города стало катастрофическим. Еда исчезла. Стали питаться более или менее сносно только военнослужащие, персонал госпиталей, а также служащие продовольственных учреждений (некоторые из них меняли хлеб на ценные картины и другие предметы искусства, книги, одежду, мебель; спекулянты сильно подработали на несчастье города, хотя сами они, конечно, могли стать жертвами бомб или пожаров). Алиментарная дистрофия охватила почти все население города. На улицах можно было видеть истощенных людей, еле передвигающих ноги и вдруг падающих мертвыми на тротуар. А отечные люди постоянно останавливались по углам, чтобы помочиться (сильные позывы на мочеиспускание стали в этот период общим нашим недугом).

Война шла плохо. Красная Армия отступала, немцы гнали нас на Украине, приближались к Москве. Двигался на восток нескончаемый поток эвакуируемых учреждений и беженцев.

Из Ленинграда можно было эвакуироваться только воздушным путем над Ладожским озером. В ноябре группе профессоров нашей академии предложено было отправиться в Киров (Вятку), где к тому времени открылся крупный военно-морской госпиталь (обеспечивавший лечение больных и раненых, поступавших с Северного флота и отчасти с Ладоги). В эту группу включили и меня. Мы должны были выяснить, можно ли туда

перебазировать академию.

Однажды вечером я пришел на Петропавловскую попрощаться с мамой, а также Левиком и его семьей. Они все уже плохо питались, имели неважный вид, и я сговорился о А. Ф. Тур и другими моими бывшими товарищами по клинике Ланга, что в случае нужды как мама, так и Левик поступят в больницу Эрисмана. Пока что мать, конечно, старалась все, что можно, отдавать семье сына, а сама пила свой кофе. Мужчины вообще гораздо хуже переносили голод и гораздо скорее погибали, нежели женщины, и Левик едва держался. Очень, очень горестно было расставаться, но мама утверждала, что ее радует, что один из сыновей наконец будет спасен, ну а она уже старая, что ж делать. До сих пор меня гложет мысль, что следовало ее взять с собой, хотя технически это и было почти неосуществимо — я ведь отправлялся как военный.

Туманным осенним утром мы выбрались из Ленинграда на какой-то аэродром, потом летели над озером, прижимались к воде, далее — на юг и приземлились на станции Хвойная. В Хвойной нас замечательно накормили: такой вкусный черный хлеб прямо из пекарни, масло, мясо, горячий крепкий чай с сахаром! Далее мы двинулись на Череповец, притом на санях (тут уже была зима, мягкая и пушистая). Это была поистине замечательная поездка! Мы ехали на лошадях по исконным русским северным лесам, лежа в розвальнях, одетые в чужие тулупы. Мне понравилась Устюжна с ее милыми старинными церквями.

В Череповце на вокзале стоял большой состав из пассажирских и товарных вагонов, в который нас и посадили. Оказалось, что это эшелон Военно-медицинской академии, эвакуировавшейся в эти же дни. Мы встретили некоторых профессоров; их отъезд из Ленинграда прошел с приключениями (они попали в налет немецких самолетов, потом долго где-то блуждали по деревням и проселочным дорогам и т.п.). Отправлялся эшелон в Самарканд, который достиг, кажется, через месяц. Нам нужно было остановиться в Вологде, где находился генерал-майор, начальник военно-морского тыла.

Вологда мне понравилась своим дореволюционным уютом и соборами. Как хороши были эти русские провинциальные города, начиная с Красного Холма и Бежецка; как жаль, что уходит в прошлое их простодушная жизнь!

Важный военно-морской начальник попросил меня послушать его сердце и пощупать ожиревший живот и дал «добро» на дальнейшее движение наше в Киров.

В Кирове мы обосновались в Военно-морском госпитале, занявшем большое новое помещение Центральной гостиницы. Толстый начальник по

прозвищу Федя-кипяток нас вволю накормил, точно в санатории. Вскоре стали прибывать новые группы сотрудников нашей академии, затем — слушатели. Часть их эвакуировалась уже по ледовой дороге через Ладожское озеро. Как будто бы поход обошелся без жертв, но в Вятку добрались многие еле живыми. Что только стало с людьми! Профессор Вайль был цветущим толстяком, просто смешно стало смотреть на него теперь: тонюсенький скелетик, на котором повисли широченные, как бы с чужого плеча, китель и брюки. Странно, как меняется конституция: гиперстеник в прошлом, Вайль остался худым астеником и после войны надолго.

Прибыли мои сотрудники — и мы стали искать базу для организации клиники. Сперва открыли клинику в одном из эвакогоспиталей, потом решено было главные клиники разместить в военно-морском госпитале. Получились небольшие, но достаточно благоустроенные отделения, с хорошими лабораториями. Возобновились занятия со слушателями. Для теоретических кафедр было отведено здание педагогического института, за базарной площадью.

В это время моя жена с детьми жили у профессора В. А. Пульниса в Новосибирске. В ночь на Новый, 1942 год я приехал за ними. Дети подросли, Инна служила врачом-лаборантом в клинике Н. И. Горизонтова. В Новосибирске было мирно, сытно, славно — наши милые старые друзья, воспоминания о прошлой жизни и т. д.

В это время Великая Отечественная война достигла одного из своих кульминационных пунктов: врагу не удалось наступление под Москвой, он был остановлен и даже отброшен. Впервые возникла реальная надежда на поворот событий.

В Сибири были налажены заводы, оборудование и имущество которых удалось вывезти с театра военных действий. Нельзя было не заметить тех колоссальных усилий, которые с энтузиазмом проявляли все в тылу для фронта. Упадочные пораженческие настроения первых месяцев войны сменились уверенностью в том, что страна выстоит.

Помощь союзников также, несомненно, усиливалась. Она выражалась главным образом в доставке в Россию продовольствия (мы питались в последующие годы войны почти исключительно американскими продуктами: «улыбкой Рузвельта» — резиноподобной мясной массой, белым, точно снег, сахаром, яичным порошком и т. п.), возможно, шли и машины, в том числе пушки и самолеты, как об этом все говорили, но я таковых сам не видел.

Вскоре по приезду семьи в Киров я был назначен главным терапевтом

Военно-морского флота СССР и по этой должности стал участвовать в поездках в действующие флоты.

Первой поездкой на флот была поездка в блокированный Ленинград весной 1942 года. Сообщения из Ленинграда от наших почти не приходили. Только однажды пришло письмо от мамы, что они находятся в клинике Ланга, как и мой брат Левик. Письмо было составлено в обычных для мамы грустно-оптимистических тонах (все о нас, а не о себе). Продовольственные посылки, отправлявшиеся нами по почте, по назначению не доходили. Из Ленинграда шел поток полумертвых голодных людей; с эшелонов снимали больных с поносами, вскоре умиравших.

Мы достигли Ладоги и стали ожидать самолета для прыжка в Ленинград — шла уже весна, дорога по льду закрылась. Чудесные дни таяния снега, игра весеннего солнца в талых ручьях пробежала быстро; оказии все не было. Уже вскрылся Волхов. Наступили майские теплые вечера, какие-то молодые женщины из госпиталя нас приглашали кататься на лодках (старинный городок с покинутым собором на пригорке почему-то совершенно не пострадал от войны, хотя фронт был совсем близко).

Наконец пришел из Москвы зеленый «Дуглас», и мы погрузились. Вскоре мы были уже в окрестностях Ленинграда и пробирались на грузовике через опустевшие улицы Охты.

Мы жадно вглядывались в черты исстрадавшегося города. Вот и Лесная. Наш дом не пострадал, если не считать вылетевших стекол, и окна закрыты теперь фанерой. В нашей квартире все цело. Сергеевна, няня Олега, жива, она что-то вроде домкомши; проживала в своей комнате около кухни, обогревалась буржуйкой.

Первым делом я отправился на Петропавловскую к своим. В квартире я застал тени Левика, его жены и детей; бледные скелеты едва двигались в комнате. «А мать в больнице, жива». Я пошел туда. Клиника превратилась в ночлежный дом голодных людей. Их кормили кое-чем, было сравнительно тепло, сиделки ухаживали за слабыми. Маму я нашел в одной из четырехкочных палат (которую когда-то вел как ординатор). Она была одутловата, сера, эйфорична, даже как-то безучастна, хотя мне обрадовалась чрезвычайно. Было решено, что всех их — мать, брата, его семью и семью моей жены — надо скорее эвакуировать.

Наша академия организовала целый эшелон машин, погрузив в них родственников военнослужащих, перезимовавших в городе. Мама была очень слаба, ее устроили лежать. Вечером мы отправились к пристани на Ладожском озере. Рано утром, чуть свет, мы достигли берега. Маленький ладожский пароходик «Рассвет» ждал очередной поток ленинградцев.



Хорошо, что утро выдалось теплое! Мой друг профессор А. В. Триумфов решил помочь мне в проходах семьи и сопровождал нас. Мы с ним переносили маму на руках. Она была послушна, печальна; нежно прощалась со мной. «Не вынести мне поездки, — говорила она тихо, — но как ты хочешь». Наконец — свисток парходика, объявившего посадку. Как всегда, у нас мало порядка, хаос поднялся и тут. Наконец мы водворили мать вместе с Левиком и другими родственниками на парходик; тот быстро отчалил. На горизонте над озером вставал огненный шар солнца, и казалось, маленький «Рассвет» плыл туда, к этому шару спасения, к этим лившимся с востока лучам надежды.

К сожалению, надежды оправдались не вполне. После железнодорожных мучений, погрузок и перегрузок из теплушек в теплушки Левик и его семье удалось добраться до Москвы, где он и устроился на работу. Дольше длилось путешествие тех, кто отправлялся в Киров. Они наконец добрались и туда, но на другой день по приезде мама, доставленная прямо со станции в госпиталь, умерла.

## Окончание войны. Переезд из Ленинграда в Москву

В мае 1942 года Ленинград был пустынным. Большая часть жителей или умерла от голода, или эвакуировалась. Если не считать военных, остались главным образом женщины, худые и серые. Но по улицам уже мчались трамваи и машины, жизнь налаживалась. Линии и проспекты на Васильевском острове покрылись травой. В вырытых еще осенью ямах (куда надо было, по идее, бежать спасаться от бомб, их осколков или взрывных волн — мне кажется, ни в одну траншею ни разу никто так и не спрятался) теперь лежал мокрый снег, а в нем можно было иногда заметить позабытые человеческие останки. Можно было войти в какой-нибудь подъезд, открыть двери квартиры и спросить, есть ли кто дома. Не услышав ответа, можно было пройти по комнатам, среди чужих вещей, мебели. Никого. Или услышать слабый стон — в углу кто-то лежит, скелет. «Вам письмо от такого-то», — говорю я, выполняя поручение. «А я вот умираю — передайте».

Но небо, весеннее петербургское небо, нигде нет такого милого неба! Его серо-голубая прозрачность утра, переходящая в матово-блеклый тон робкого дневного солнца, затем — в светло-зеленый колорит приближающегося вечера и наконец — розово-оранжевый закат. Небо Ленинграда можно писать акварельными красками.

Строгий город особенно хорош вечером или ночью. Белые ночи в Ленинграде всегда чудесны. И я никак не мог понять, почему их считали меланхолическими или неврастеническими (очевидно, так их считали или считают неврастеники). Они нежны и деликатны, они поэтичны и таинственны, но их нельзя назвать грустными. Пожалуй, они создают иногда ощущение той грусти, которая неизбежно связана с любовью, но скорее это желание или воспоминание и никоим образом не плохое настроение. Белые ночи были особенными в этот май. Город без освещения, с задрапированными окнами, пустынный — «спящая красавица», окутанная синеватой мглой весеннего неба. Как хорошо, что он сохранился, этот чудесный город, вечный, как наша великая Родина!

Теперь уже ясно, что немцы не в состоянии или не будут разрушать Ленинград. К тому же, хотя кольцо блокады еще крепко, здесь, в городе, перенесшем страшную зиму, уверены, что второй такой зимы не будет и

победа близка. Поразительна эта уверенность, питаемая инстинктом самосохранения, свойственным человеческой натуре оптимизмом! Меньше всего она зависела от «объективных» «научных» или стратегических или политических оценок положения, хотя, конечно, и они могли приниматься в расчет.

Как главный терапевт Военно-морского флота СССР, я должен был посетить госпитали моряков-балтийцев. Флот стоял тут же, в устье Невы. Его роль в военных операциях оказалась довольно скромной. Корабли Балтийского флота посылали снаряды по немецким линиям, все еще находившимся вблизи города. Только маленькие суденышки осмеливались выходить в море; и то до Кронштадта и до южного берега залива — в район Ораниенбаума — Красной Горки, изредка — к острову Готланд. Но моряки — хвастуны и, стремясь поддерживать честь мундира, склонны преувеличивать свои военные заслуги, тем более что их личные высокие качества — храбрость и дисциплинированность, подчас подлинный героизм — не подлежат сомнению (только развернуться им было негде). На меня произвела тоскливое впечатление чрезмерная примесь в скудном населении Ленинграда людей в морской форме, то и дело козырявших друг другу. Я сам носил эту форму (бригврача) и ловил себя на сознании какой-то неловкости — точно это что-то не настоящее (а настоящее — форма Красной Армии, единственной и решающей силы войны). Во флоте (или «на флоте») еще сохранилась какая-то психология замкнутости, «кастовости» с оттенком мнимого превосходства, между тем значение флота с каждым месяцем войны становилось все меньшим, а экипажи кораблей стали «сухопутными», отважно воюя на земле.

Вскоре мы направились в Кронштадт. Надо было в самое темное время белой ночи переплыть из Лисьего Носа на остров. Только через этот узкий участок и в короткий период времени можно было благополучно добраться, избежав обстрела из финских Териок и немецкого Петергофа.

В Кронштадте мы ночевали в старом добротном каменном госпитале; утром я сделал обход больных с врачами, оказавшимися моими учениками, потом с Джанелидзе побывали в хирургическом отделении и т.п. Далее нас повезли в форты, на корабли, на батареи. «Хотите в честь вашего приезда пошлем подарки в Териоки?» — спросили нас какие-то любезные молодые люди в военно-морской форме, и, прежде чем мы успели ответить, раздались команда и грохот выстрела дальнобойных пушек. Куда попали снаряды, пущенные в шутку? Попали ли они в людей, разрушили ли дома, может быть, госпиталь с ранеными или столовую? Шутка войны, быть может, стоившая нескольких жизней людей, родные и близкие которых

в Берлине или Гельсингфорсе о них беспокоятся так же, как за нашу жизнь наши где-нибудь в Кирове. Я заметил только, что снаряды разорвались за териокской церковью (она выстояла всю войну). Затем, точно так же поздно вечером, мы сели на другой катер, переправивший нас на «южный берег» — к пирсу Ораниенбаума.

Я помню странность тогдашних ощущений. Мы идем к берегу с опаской, как бы не обстреляли нас из Петергофа или не накрыл нас какой-нибудь «Мессершмитт». И вот — Ораниенбаум, городок, куда я ездил из Петергофа гимназистом, где тогда жили мои родственники и где можно было ожидать счастья случайно встретить в парке одну белокурую девочку, в которую я считал себя влюбленным. Да ведь как легко было сесть на станции Старый Петергоф в «кукушку» и через зелень парков сойти в тесные улицы городка, почему-то мне казавшиеся тогда (я еще не бывал за границей) европейскими — в отличие от Красных Холмов, Бежецков и Клинов!

Нас встретили военные врачи, местное начальство, и мы отправились в госпиталь. Ужин был царский — давно так не ели. На этом клочке земли, оставшемся свободным от неприятеля, скопилось много продовольствия, к тому же еще осенью почти все население ушло, лишь в окрестных фермах остались старые чухонки. Ночью слышался гул орудий, фронт был рядом. Береговая полоса не была занята немцами из-за защиты ее огнем батарей Кронштадта и Красной Горки.

Днем мы отправились на Красную Горку. Весенняя листва сияла влагой на теплом солнце. По лугу ходили бело-желтые коровы и щипали подраставшую травку. Иногда наплывала тоскливая мысль: доехала ли мать и жива ли? Не надо ли было самому проводить? Но я же на службе, успокаивал я свою совесть, объезжаю медико-санитарные учреждения. На Красной Горке таковые также были, но особенно интересны были вращающиеся батареи двенадцатидюймовых пушек, поставленные здесь еще при царе перед Первой мировой войной, как стражи у входа в столицу. Грандиозные сооружения, как они мне показались, оказались, однако, так сказать, нерентабельны; они могли стрелять слишком редко!

Из Ленинграда мы летели на «Дугласе» в Москву. Над Ладогой опасались «Мессершмиттов», но прошли благополучно — приземлялись в Хвойной. Я вспомнил, как мы тут были полгода назад. У временного аэродрома улыбалась своими юными желтовато-зелеными листочками березовая роща; по косогору росли ландыши.

В Москве шла конференция военных врачей, обсуждались вопросы первичной обработки ран.

Мой брат устроился сносно, поселились в небольшой комнатке (часть коридора) в детсаду, врачом которого поступила его жена Лиза. «Что с матерью?» — спросил он, вестей не было. Но в тот же день в мой номер люкс в гостинице «Националь» доставили телеграмму из Кирова от Инны: «Мама умирает». Я сел в сибирский экспресс и утром на заре сошел на вокзале Кирова, где меня встретила жена. Потом были похороны. Посадили на могиле тополь.

Позже, через десять лет, я съездил из Москвы в Киров на могилу матери. Кладбище изменилось, заросло, я метался в поисках могилы, топтал какие-то округлые бугры. Нет и нет. Кресты и ограды сгнили и развалились, как узнать, где она? И вдруг, после двух часов блужданий по затерявшимся и беспризорным могилам, — тополь! Стройное дерево выросло, как страж у могильного холмика, тут нашлись и остатки креста с надписью. Затем мы вновь, уже с Левиком, посетили кировское кладбище, уже с точным планом; тополь стал еще выше.

Киров периода войны был довольно оживленным и большим городом. Разместились вокруг какие-то заводы. Бесчисленные эвакогоспитали заняли лучшие здания. Собирались конференции врачей, даже научные. Госпиталь для торакальных больных работал прямо как институт — с хорошим рентгеновским кабинетом, биохимической лабораторией и т.д. Мне приходилось там бывать на консультациях.

Поезда привозили из Ленинграда истощенных. Мы в клинике занялись систематическим изучением новой для нас болезни — алиментарной дистрофии. Результатом этих наблюдений была небольшая монография «Клиника алиментарной дистрофии», написанная мною в 1943 году, но выпущенная издательством ВММА позже, уже в Ленинграде, в 1945 году. Стали исследовать также вопрос о влиянии важнейших витаминов на различные внутренние органы и обмен веществ, что послужило в дальнейшем основой многих наших работ уже в Ленинграде и Москве.

Вообще работалось хорошо, несмотря на то, что наша семья (четыре человека, считая двоих детей) помещалась в маленьком номере гостиницы, где Инна и стряпала. Ходили на базар менять папиросы на масло. Выручал военный паек, включая свиную тушенку, «улыбку Рузвельта» и т.п.

Все как-то хорошо подружились. Особенно подружились мы с Быковыми. Константин Михайлович Быков был не только известным физиологом, учеником Павлова, но и культурнейшим и обаятельным человеком. В Кирове он писал свою замечательную монографию «Кора мозга и внутренние органы». Основные данные для этой монографии были получены еще в Ленинграде до войны, а частью — в первый год блокады.

Надо заметить, что в ту пору мы не предполагали, какой резонанс получит эта книга в дальнейшем и как широко охватит — на время — наши научные представления учение К. М. Быкова о кортико-висцеральных взаимоотношениях в физиологии и патологии. Я помню, что на все его суждения об условных рефлексах на мочеотделение, основной обмен и т.п. я отвечал равнодушным согласием, про себя считая это само собой разумеющимся и недостаточным для того, чтобы деятельность мозга поставить во главу тех процессов со стороны внутренних органов, которые нарушаются при «наших», то есть внутренних, заболеваниях. Кора нужна, чтобы думать, а не регулировать стул — стулу она, пожалуй, скорее мешает. Константин Михайлович уже в то время проповедовал невроз как общую доктрину медицины — но делал это сдержанно, на основе добытых им и его сотрудниками физиологических фактов. Клинику он уважал — не в пример некоторым другим теоретикам, считающим клинику не наукой, а практикой.

Подружились мы с ним и на почве интереса к картинам. В Кирове как раз еще жили родственники Васнецовых. Мы посетили их дом и посмотрели оставшиеся там второстепенные вещи (созданный Рыловым в Вятке художественный музей был тогда закрыт). На пайковые селедки выменяли этюды Хохрякова и Деньшина.

Из Ленинграда приехал профессор Буш. Он имел хороший вид, нехотя отправился в небольшой дом отдыха, устроенный нашей академией за 100 верст от Кирова по Котласской железной дороге близ станции Пинюги. Вдруг телеграмма: Буш умер! Прожил благополучно блокаду, приехал отдохнуть — и вот конец. Вскоре такой же второй случай — с профессором Шапшевым<sup>[129]</sup>. Есть что-то роковое в этом повороте образа жизни — от напряжения к покою.

Летом я с женой и двумя сынами жили в этих самых местах — близ станции Пинюги. Мы поселились в просторной избе, чистой половине из двух комнат, в очень миловидной деревушке Выползки. Она действительно точно выползла из леса, из-под холма.

Два-три раза в день мы ходили в санаторий, перебирались вброд через речку Пушму, холодная вода которой нас освежала, а ребят манила купаться. Кругом были пышные травы, ковры цветов и масса земляники. В соседних лесах на полянах все краснело от ягод. Ягоды были крупные, спелые, висели обильными гроздьями; ничего не стоило набрать их любую корзинку. Ни до, ни после я столько земляники не собирал, и до сих пор мне мерещатся, когда закроешь глаза, эти волшебные ягодные заросли! Мне тогда было сорок два года, жене — тридцать пять, она была еще тонка

и красива, было приятно смотреть, когда она, нагибаясь, в легком платье, срывала землянику.

Осенью Джанелидзе и меня вызвали в Москву. В самолете военноморского министра (наркома) адмирала Кузнецова<sup>[130]</sup> мы спешно отправились на Кавказ — близ Сочи был ранен адмирал Исаков<sup>[131]</sup>. С нами полетел и генерал Андреев, начальник Главного медицинского управления флота. Лететь пришлось через Куйбышев на Гурьев и потом — над Каспием в Баку и Тифлис, и далее — в Сухуми.

Перелет от Баку до Сухуми шел параллельно Главному Кавказскому хребту — как бы на уровне его снеговых вершин. Мы вволю нагледелись на алмазные грани гор в синем небе.

В Сухуми мы сели в «Морской охотник», который помчал нас в Сочи; в ночной темноте сверкали лишь пенистые волны, отражая месяц и звезды; огни корабля были тщательно задраены. В небе по временам шумел мотор немецкого самолета. Немцы находились около Туапсе, но все побережье просматривалось ими с воздуха.

Нам рассказали, что адмирал Исаков, Каганович<sup>[132]</sup> и командующий армией генерал Тюленев<sup>[133]</sup> несколько дней тому назад ехали на машине по Черноморскому шоссе около Сочи; их обстрелял «Мессершмитт»; хотя они вышли из машины и спрятались у обочины, осколок бомбы все же попал в адмирала Исакова и раздробил ему ногу. Ногу пришлось ампутировать, что и выпало на долю прибывшему еще вчера главному хирургу Черноморского флота Б. А. Петрову (мой однокурсник). Сейчас адмирал в тяжелом состоянии, высокая температура (сепсис, пневмония).

Иван Степанович лежал строгий, страдающий и подозрительный. Начальство. Еще неизвестно, лучше ли (то есть добрее ли) больное начальство здорового. Его жена, воспитанная, но требовательная дама, считала, что она не хуже разбирается в медицине, нежели профессора, да к тому же она как будто из врачебной семьи или что-то в этом роде. Кругом вертелась смесь из адъютантского и медицинского составов. Антибиотиков тогда еще не было, и больному назначен был коньяк повторно в изрядных дозах.

Поздняя осень в Сочи — пустом, простом — сияла прохладным морем, ласковым солнцем, цвели какие-то цветы. Остались только озабоченные войной люди — работающие, а не отдыхающие.

Вскоре решено было эвакуировать адмирала в Тифлис. Ночью погрузили его на небольшое судно и, несмотря на то, что немцы все время следили за побережьем (и, по слухам, знали об истории с адмиралом),

благополучно добрались до Сухуми.

В Сухуми уже начиналась железная дорога. Дали состав из паровоза и двух вагонов, из которых один — салон, для больного. Быстро промчались по Западной Грузии. В Тифлисе также был военно-морской госпиталь, за бывшим дворцом наместника; поместились в особом павильоне — и тут же, по грузинским законам гостеприимства, пошли обеды, вино, излияния тамады и т.п. Адмирал болел, мы старались его лечить, но нас наперебой зазывали к себе толстые тифлисцы — откуда у них так много еды и денег? Разве война не продолжается? «Грузия не воюет», — говорили наши раненые моряки в госпитале.

Между тем война вступила в свою решающую фазу. Немцы заняли западную половину Предкавказья. Их передовые части дошли до перевалов. Правда, Военно-Грузинская дорога удерживалась нашими. Основной удар неприятельских войск был направлен на Сталинград. Героическая оборона Сталинграда началась.

Я помню, мы читали сообщения о Сталинградской битве с очень большим чувством. Как здорово удалось не только остановить, но и «прищемить» неприятеля (а позже — отсечь его зажатую в тиски голову)! Сообщения о так называемом втором фронте союзников в Северной Африке у военной публики вызывали только насмешливое раздражение.

На Головинском проспекте (Руставели) по широким тротуарам слонялась молодежь. Столько мужчин, как будто нет войны! В оперном театре состоялся симфонический концерт — исполняли только что написанную Д. Шостаковичем Седьмую (Ленинградскую) симфонию, дирижировал Гаук. Публика разделилась: большая часть пожимала плечами или высказывалась: «не понимаю», «странно», «сколько шума и хаоса», «грубые ритмы» и т.п. Другая воодушевленно восприняла это новое творение молодого гения русской музыки, созвучное грохоту войны и героике ее противоречий. Тифлисцы всегда были музыкальным народом, и концерт имел громадный успех. Мы ходили также и на грузинские оперы Палиашвили.

Была сухая и солнечная тифлисская зима, на горах Кавказского хребта лежал снег, но близкие горы в сине-коричневой дымке создавали ощущение теплоты юга. Моей спутницей по театру была врач-невропатолог, грузинская еврейка, дочка местного врача, у которого мы кутили (потом она вышла замуж за Н. И. Гращенкова), или же я ходил в театр с одним из адъютантов Исакова, очень интеллигентным юношей, мечтавшим быть в дальнейшем, после войны, архитектором, но позже погибшим в одной из подводных лодок.



Адмиралу становились постепенно лучше, и мы обратились к своим более широким служебным обязанностям: я слетал на каком-то самолете в Баку и посетил лечебные учреждения Каспийской флотилии (не шутите! ведь рядом Иран!), а также вместе с Джанелидзе мы посетили Батуми и Поти.

Близ Батуми в прелестном Махинджаури работал военно-морской госпиталь. Вокруг росли бамбуковые рощи и сады цитрусовых — среди темных вечнозеленых ветвей желтели золотые мандарины.

Затем мы посетили одиноко стоявший на рейде крейсер «Кавказ» — красивый корабль, принимавший некоторое участие в операциях, связанных с отдачей врагу Одессы и Крыма, но в то время, очевидно, укреплявший наши части на турецкой границе вблизи Батуми (позже мы подъехали и к границе на машинах — и побывали в отряде сухопутных моряков, очень милых ребят в бескозырках и тельняшках). У командира крейсера в салоне мы выпили за победу.

Самым странным мне показалось посещение Поти. Вернее, не Поти, этого скучного городишки, а какой-то реки (кажется, притока Риони), в которую заползли военные корабли нашего славного Черноморского флота. Они стояли на приколе, закрытые грязно-зеленым брезентом, сливавшим их с окружающей опорой болотистых зарослей и жиденького, кишящего комарами леса. Гордые морские красавцы — в какой-то вонючей луже! И, кажется, корабли проторчали там большую часть войны. Могли действовать только морские охотники, катера и подводные лодки (их было мало). Экипажи загнанных в ил кораблей болели малярией. Стала появляться и желтуха — болезнь ли Боткина или какая-то иная, было нелегко сказать, как и сейчас еще нелегко сказать об острых желтухах, одна ли это форма или несколько разных.

Возвратившись в Тифлис и убедившись в улучшении состояния адмирала, мы отбыли в Москву. Летели через Баку, Каспий, Красноводск, Ашхабад, Ташкент. На севере свирепствовали снеговые бури, ташкентские «Дугласы» не летали, и нам пришлось отправиться поездом.

Опять зима в Кирове: глубокие сугробы снега, снег совсем завалил одноэтажные домики. Старший сын, ему уже четырнадцать лет, дружен с моряками и мечтает поступить на флот. Младший, малыш, катается на коньках во дворе. Он поймал крысу, сделал на ней операцию и решил быть медиком.

Весною 1943 года в Москве состоялся так называемый пленум Ученого совета Медико-санитарного управления ВМФ. Обсуждались злободневные вопросы военной хирургии и терапии (см. труды). Начальник

управления Ф. Ф. Андреев<sup>[134]</sup> — славный, хотя и несколько напыщенный толстяк, больше похожий не на генерала, а на штабс-капитана царской армии, — но, впрочем, он хирург и даже назначен профессором. Он целует ручки дамам, хорошо пьет, курит сигару и даже вставляет в свою цветистую речь французские слова. Андреев несколько любит себя — ведь это он ввел широкий погон врачам (а в Красной Армии носят какие-то паршивые узкие!). Я бы прибавил еще и дозу иронии, но вспоминаю другую картину, много лет спустя: мы собрались на консилиум по поводу его болезни в Главный военный госпиталь в Лефортове (в Москве), просмотрели рентгеновские снимки, анализ крови. Явно или бронхогенный рак легкого, или лимфогранулематоз; надо посмотреть больного. И вот открывается дверь — и на коляске везут Федора Федоровича: отечное лицо, черные черви вен, на вздутой шее — «голова консула», а на голове водружен генеральский военно-морской головной убор. Вскоре он умер, и вспоминать хочется добром.

Лето в Кирове. Леник — в пионерлагере в Гольцах, на реке Вятке. Мы идем туда проведать ребят пешком через цветущие луга берегом. Леник набрал для меня большую кружку земляники — это одно из немногих проявлений нежности к отцу на всем протяжении дальнейшей жизни. Обрато плыли на лодке с прицепленным к ней плотом.

Скоро пришлось плыть и на большом речном пароходе в красивых каютах — Джанелидзе, я и еще кто-то из профессоров Военно-морской академии отправились в Архангельск по Северной Двине (очередной инспекторский вояж «главных специалистов»). Тут уж я насмотрелся на наши северные селения с обширными двухъярусными избами и чудесными древними церковками!

От Холмогор до Архангельска Двина особенно широка и мрачна. С моря дул холодный ветер. Краски осени, огненные на юге, стали ржаво-мертвыми. Зато оживилась жизнь реки — парусные лодки, баржи, пристани.

Архангельск был мокр от дождя, от каналов. Немножко что-то голландское — в Соломбале. Повяло историей, Петром Первым. Длинные деревянные мостики. Склады леса. В центре — город как город.

Юстин Юлианович Джанелидзе навел панику на хирургов в их отделении, а я, может быть, слегка подражая, обрушился на примитивное ведение больных в терапевтическом отделении. Но Джанелидзе пользовался непререкаемым авторитетом, а я, кто был к тому времени я? Ученик Ланга, подумашь, мало ли там всяких учеников, хотя бы и автор «Болезней печени и желчных путей».

Далее мы отправились поездом в Мурманск. До Мурманска поезд тянул долго. Дорога до Кеми была сооружена недавно, она шла по пустынным топям.

Мурманск был затемнен. В тот же вечер, едва мы выгрузились из вагона, объявили воздушную тревогу, бомбы попадали в станционное здание, и мы видели, как над вокзалом показались языки племени. Машина несла нас под грохот взрывов; три немецких самолета бросали бомбы.

В госпитале происходила судорожная эвакуация больных в жалкие подвалы, называемые бомбоубежищами; тут уж, конечно, не до важных визитеров. В разгар возни с перемещением больных налет вдруг окончился, но в течение всей ночи поступали пострадавшие.

Мы оставили сильно разрушенный Мурманск, отправившись на катере по заливу (фьорду) в Полярное. Поселок взгромоздился на склоне гранитных гор. У причала стояли подводные лодки, морские охотники и катера. Госпиталь построен на скале (с настоящим подземным бомбоубежищем). Нас поразили порядок, чистота, изобилие еды и лекарств. Врачи — знающие и симпатичные.

Вечером мы пошли в клуб, где наши моряки и молодые женщины из врачебного и интендантского персонала обычно встречались с английскими моряками, когда под эскортом английских военных кораблей прибывали предназначенные для нашей армии транспорты с вооружением и продовольствием. Как раз при нас пришел такой отряд. Можно было видеть англичан в смешных (для нас) брюках и куртках, приветливо улыбавшихся: «О'кей», «Вери гуд», «Вери найс». В клубе англичане дружески обнимались с нашими офицерами, угощали дам, дымили сигарами.

План посетить полуостров Рыбачий был, казалось, реален. Мы вышли в открытое море. Ледовитый океан! Мы видели вблизи айсберг, сверкающую ледяную гору. Как вдруг был получен приказ: ввиду сложившейся военной обстановки вернуться обратно в Полярное. Выяснилось, что немцы предприняли в эти дни яростные атаки, чтобы выбить нас с полуострова, и связь с ним временно была прекращена.

В дальнейшем я еще несколько раз побывал на действующем флоте (вернее, среди воевавших моряков). Поездки эти, вероятно, приносили некоторую пользу в смысле улучшения организации медицинской службы флота, поэтому, может быть, не было удивительным награждение меня, среди многих других врачей, орденами Красной Звезды, Красного Знамени и медалями за оборону Ленинграда, Кавказа и т.п. Но я не помню, чтобы я проявил себя на войне хотя бы немножко героически: обнаружил бесстрашие, совершил какой-либо смелый поступок, спас друга, убил врага

и т.п. Конечно, не тот «вид оружия» и не та специальность. Хирурги — те могут перелить свою кровь, под обстрелом сделать спасительную операцию, например на корабле во время боя и т.п., а наша область прозаическая: ставь диагноз (хотя бы предположительный), давай лекарства, какие есть, смотри камбуз и гальюн. И все же славные ребята — врачи, в том числе и терапевты! Они действуют уже своим присутствием, придавая бодрость самой идеей медицинской помощи там, где царит смерть (ибо у войны прямая цель — смерть).

Осенью 1943 года я опять побывал в Ленинграде. Тогда там появились первые случаи острой гипертонии. Заметили появление этой формы окулисты, отмечавшие ретинопатию и отправлявшие больных к терапевту измерять кровяное давление. Главным терапевтом Ленинградского фронта был профессор Е. М. Гельштейн<sup>[135]</sup>, молодой тогда человек (да он и до самой своей преждевременной смерти — от гипертонии! — казался молодым). Он дал одну из первых сводок блокадной гипертонии. Интересные данные об этой форме сообщили работавшие в блокированном Ленинграде Баранов и Святская, а также Черноруцкий. Мне пришлось тогда лично наблюдать ряд случаев острого развития высокой гипертонии (случай возникновения гипертонии у молодой женщины-врача 25 лет сразу после попадания снаряда в палату, где она находилась, — снаряд прошел в подвал и не разорвался).

Обсуждение сущности этой болезни состоялось в Горьком, на конференции терапевтов с участием Ланга и Стражеско. Всем было ясно, это не что иное, как вариант гипертонической болезни, — и развитие ее в связи с нервным перенапряжением в условиях длительной блокады явилось одним из веских аргументов в пользу нервной теории патогенеза эссенциальной гипертонии, выдвинутой Лангом. Фон истощения, дистрофии играл роль предрасполагающего к болезни фактора.

В последующей своей научной деятельности (в Институте терапии в Москве) я всегда имел в поле зрения данные, полученные в Ленинграде во время войны; мне кажется, что естественный исторический эксперимент того времени, результатом которого была массовая «эпидемия» гипертонии, больше, нежели все другие научные материалы, доказал истинную сущность данной болезни.

Поразительная победа под Сталинградом вселила твердую уверенность в скором окончании войны. Настроение было приподнятое, все ожидали не только разгрома Гитлера и мира, но и перемен — перемен в духе более свободном и демократичном. В войне сплоченно участвовала вся нация. Неужели после войны опять все пойдет по-старому?

Вновь отправились на Черноморский флот. Проехали через освобожденный Сталинград, видели его руины, затем побывали в Кисловодске, где сохранились остатки эвакуированного туда I Ленинградского медицинского института. Преподаватели и студенты продолжали занятия при немцах (немцы даже выписали им немецкие медицинские журналы; а профессора Шаака при отступлении увезли, как немца, с собой).

В гостях у К. О. Пенкословского (когда-то я занимался у него в группе, он был ассистентом у профессора Попова в Москве), бежавшего в Кисловодск из Днепропетровска и вновь застигнутого оккупацией, мы познакомились с его миловидной дочкой. В ответ на вопрос, хорошо ли обращались с нею немецкие офицеры, она искренне выпалила: «О! Это были просто рыцари, настоящие Зигфриды!» Недурно отзывалась о немцах и красивая сестра по диетпитанию нашей санатории; говорят, она имела с одним из них связь и даже аборт; общественность сурово осуждает ее и исключила из комсомола, но я не заметил, чтобы она от этого утратила кокетство и веселое настроение.

В Геленджике и Новороссийске дул норд-ост. Немцы ушли с мыса Хако недавно. Мы слушали всю героическую эпопею сражения за этот кусочек нашей земли из уст участников, в том числе контр-адмирала Горчакова (его штаб был на Тонком мысу в Геленджике). Новороссийск был сильнейшим образом разрушен, но элеватор остался цел.

На машинах мы отправились в Анапу. Где-то по дороге мы решили выйти из машин размяться. Кругом рыжие заросли, безлюдно. Как вдруг у самого моего носа что-то просвистело, и мы услышали стук очереди. Генерал Андреев вообразил себя командиром, мы вскочили в машины и дали ходу. Нас предупреждали, что в степи бродят оставшиеся после немцев какие-то «элементы» (белогвардейцы, что ли?).

В Геленджике я вспоминал мать. Она любила по временам уезжать сюда отдыхать и жила у Семеновичей. В доме Семеновичей я нашел только старую няньку, еще из Красного Холма, и старую собаку. Вера Константиновна, жена краснохолмского доктора В. И. Семеновича, арестованного в свое время как эсера и погибшего в Сибири (я говорю «в свое время», имея в виду не царский режим, а 30-е годы, то есть период расцвета сталинского социализма), действовала на мою мать своим неистощимым оптимизмом.

Весной 1944 года наша академия решила вернуться в Ленинград. Блокада уже была снята. Восстановилось сообщение через Мгу. Правда, этот путь все время подвергался бомбардировкам немецкими самолетами.

Станция Волховстрой подверглась налету — мы отсиживались где-то за станцией, не зная, что нас ждет. Полчаса спустя «немец» улетел, мы вернулись в вагоны и благополучно прибыли в Ленинград.

Наша квартира, охранявшаяся старой Сергеевной, была цела, нужно было лишь остеклить окна. Как хорошо дома! Как хорош город! Какой-то общий подъем — точно открылась новая счастливая полоса жизни.

Между тем немцы были еще близко, хотя и несомненно отступали. Налаживалась и жизнь академии; клиника получила другое помещение в главном корпусе Обуховской больницы. Мой кабинет раньше был кабинетом И. И. Грекова<sup>[136]</sup>, в нем лежал до и после операции по поводу желчнокаменной болезни Иван Петрович Павлов, оставив на память свой портрет с надписью. Вообще это здание было как бы символом старой петербургской медицины боткинского типа; в нем работал и один из учеников С. П. Боткина — Александр Афанасьевич Нечаев, прославленный врач; сын его Александр Александрович, добродушный доцент моей клиники, прибыл с нами в свою старую больницу, где он и жил всегда, с детства.

Энергичный Зиновий Моисеевич развернулся: в клинике удалось создать экспериментальную и биохимическую лабораторию. В короткий срок в дальнейшем были выполнены многочисленные работы и выпущено два сборника трудов кафедры (один из них в 1947 году — в честь двадцатипятилетия моей врачебной и научной работы).

Счастлирое событие — капитуляцию Германии, окончание войны в Ленинграде — праздновали в майский солнечный день. Было тепло, ходили в летнем. Я с ребятами влился в ликующую толпу, которая несла нас по Невскому, к Неве, к военным кораблям, стоявшим у набережной.

Через несколько дней группа медиков Военно-морского флота, в том числе я, Триумфов, Засосов<sup>[137]</sup> и Зедгенидзе<sup>[138]</sup>, отправилась «по следам войны» — на базы Балтийского флота. В Либаве в лазарете для немецких военнопленных мы встретили злые, колючие взгляды. Такие же лица, еще более ненавидящие, мы встречали и в других подобных медицинских учреждениях.

Первый немецкий город — Мемель<sup>[139]</sup> — сохранил свой симпатичный германский вид, но дальше шла опустошенная Восточная Пруссия. Разбитые опустевшие фермы с красивыми черепичными крышами среди покинутых фруктовых садов, залитых бело-розовым цветением. Обсаженные яблоневыми или липовыми деревьями прямые дороги прерывались иногда разрушенными мостами, но казались нам (после

бездорожья российской земли) символом европейской культуры. На этих аллеях иногда попадались группы людей — это немцы, покидавшие родные дома и поля и шедшие на запад, подальше от русских. Тут были старики в шляпах, нарядные дети, женщины, одетые как горожанки, как даже наши модницы; в детских колясочках они тащили свой скарб — то, что удалось в них сложить; поверх вещей они сажали малышей; так шли они дни, не оборачиваясь и не глядя на обгонявшие их машины русских.

Шофер нашей машины сказал однажды: «Эх, несчастные», но тут же стал вспоминать, как в начале войны толпы наших беженцев обстреливались немецкими самолетами. «Сколько было убито ни в чем не повинных людей! А эти, что ж, пусть прогуляются с колясочками, мы ведь их не трогаем». Действительно, наши наступающие части никого из гражданского населения не убивали.

Зато досталось женщинам. В Пиллау<sup>[140]</sup> мы остановились у начальника нашего госпиталя; их обслуживала красивенькая молоденькая немка; ее изнасиловали десять раз (то есть десять наших моряков). Доктор утверждал, что обошлось без венерических болезней. И эта веселая красотка — дочка удравшего домохозяина — имела вид скромной Гретхен и, между прочим, приготавливала вкусные обеды. Наши военнослужащие вообще находили в этом отношении весьма любезный прием — и я вспоминал дочку Пенкославского или сестру из Кисловодска. Тут уж, очевидно, действует один из законов войны: жертвы смерти компенсируются жертвами фаллоса.

Второе, на что оказались падкими наши доблестные воины, — часы. Они выискивали часы в оставленных домах, вспарывали подушки, перины. Победоносный путь армии буквально белел от пуха. Эти немецкие перины (которыми, как известно, жители Средней Европы покрываются вместо одеял даже в летнее время) вызывали у наших какое-то остервенение; их разрывали тесаками и перетряхивали в надежде, не выпадет ли оттуда пара-другая часов. Затем обвешивались часами — по несколько на обеих руках и на карманах.

Потрошили также и книжные шкафы, вышвыривая книги в окно на улицу. В каждой куче книг обязательно валялась «Mein Kampf» Гитлера. Вообще распространение фашистских сочинений можно было поставить в параллель с обязательными в каждой советской семье сочинениями Маркса — Ленина — Сталина. Легко можно было найти и книги Ницше. В книжных кучах валялись и ценные издания по искусству, их поливал весенний дождик (в моей библиотеке по живописи имеется несколько богато иллюстрированных альбомов из подобных куч — Гольбейна,

Дюрера и др.).

Кенигсберг произвел ужасающее впечатление своим полным разрушением. Только местами угадывался бывший крупный город. Я даже не представлял себе, что можно так разрушить большой современный город. Среди руин, нагромождения кирпичных скал чудесным образом сохранилась могила Канта. Уезжал из этого мертвого хаоса с тяжелым чувством. Ехали по большой аллее и вспоминали, что по этой аллее обычно прогуливался великий философ.

Узкая коса, ведущая к Пиллау, вся была исковеркана воронками от снарядов, выжженным лесом. Кое-где ухали взрывы обнаруживаемых нашими группами мин и бомб. Воздух содрогался, тянуло гарью. Наконец — Пиллау, на рейде — наши миноносцы, подошедшие из Кронштадта. Вокруг порта — кладбище чужих и своих танков и исковерканных батарей. Здесь еще недавно шла жаркая битва. Немцам некуда было деваться, тупик.

Затем мы проехали Данциг<sup>[141]</sup>. Замечательная набережная — дома с ганзейских времен, северное барокко, готика. Осталось немало населения. Наша военно-морская форма привлекала внимание. «Вы англичане или американцы? — спрашивали нас. — О! Хорошо, что вы не англичане, ведь это они разрушили с неба наш чудесный мирный город. Мы же всегда были независимым, вольным городом — мы не участники войны. И вот сперва Гитлер проглотил нас, как удав, потом союзники добивают наш милый, наш прекрасный Данциг». Я вспомнил, что формально угроза войны усилилась из этого города.

Мы катили по Северной Померании, встречая чудесные городки с кирхами и ратушами. Пустынно, люди ушли, оставив усадьбы, и только в городских домах кое-где показывались старики и старухи, робко и отчужденно озирающиеся на победителей. Вечером пересекали большой лес и видели в свете фар перебежавших дорогу косуль и оленей. Шофер говорит, что это заповедник; тут охотились фашистские вожди.

Наконец маленький городок Трептов, где в очень благоустроенной больнице расположился военно-морской госпиталь.

Через день мы поехали дальше, переправились через Одер, в Свинемюнде, тут находился большой госпиталь; это знаменитый курорт, порт, огромный пляж, усеянный обломками кабин. Мы тогда еще не бывали за границей и потому смотрели на благоустроенный и хорошо сохранившийся город с особым интересом. В госпитале нас кормили свежим творогом со сметаной. Начальник госпиталя, предприимчивый военврач 3-го ранга, отлично поддерживал огромное хозяйство; кладовые ломились от провианта; были тут и сваленные в кучу картины в золотых



рамах — их снимали в особняках. К тому времени я интересовался лишь русской живописью.

Затем по автостраде от Штетина<sup>[142]</sup> мы наконец очутились в Берлине.

Берлин своим разрушением мог действовать только удручающе. Остатки жизни, однако, стремились преодолеть гибель. По улицам шли хорошо одетые краснощекие дети, подростки; наша форма приводила их в восторг, и они шли за нами, полные любопытства. Открылись какие-то лавчонки; по углам продавались штучно папиросы и спички (я вспомнил Москву периода Гражданской войны: «Ир-ра», «Ир-ра» рассыпная») и даже флакончики духов и мыло. Метро не действовало, рассказывали об ужасах гибели в нем десятков тысяч жителей во время штурма Берлина. Ходили лишь наши машины — на перекрестках стояли наши регулировщицы — с виду довольно славные девицы в красноармейской форме. Канализация и водопровод не действовали. В доме для приезжающих наших офицеров, где мы сперва остановились, во дворе был выкопан длинный ров и наложены поперек мостики — это была публичная уборная (орлом); невдалеке была устроена умывальная. Кучи отбросов валялись там и сям; их методически изучали мрачные немцы, выискивая куски хлеба, остатки консервов и т.п.

Нас же комендант угостил обильно французским шампанским. Прокричали соответствующие тосты — и все, конечно, встали при имени нашего родного отца и учителя, гениального организатора побед, великого вождя народов и всего прогрессивного человечества товарища Сталина: «Ур-ра!» Конечно, Сталин не приезжал во взятый Берлин и не заигрывал милостиво с хорошенькими героинями, как это было потом показано в подхалимском стиле в соответствующей кинокартине. Но мы так привыкли ко лжи и столько лжи пустили в мировую историю — пусть уж разбираются потомки!

Мы осмотрели разрушенный рейхстаг, стены которого испещрены русскими надписями («Я, Иван Петров, был здесь при штурме», «Сталин», «Смерть гадам-фашистам» и т.д.).

Мы отыскивали в издательстве Шпрингера сколько журналов и книг по медицине, выпускавшихся этим знаменитым издательством, бывших предметом нашего уважения и изучения в предвоенный период! Немецкая медицинская наука являлась всегда для нас основой образования, и печатные работы в «Zeitschrift für klinische Medizin»<sup>[143]</sup> или «Klinische Wochenschrift»<sup>[144]</sup>, были, с одной стороны, свидетельством ее ценности, с другой стороны — способом информации международной науки — русские журналы за границей не читают до сих пор! Там нас хорошо

приняли (еще бы, завоеватели!) и отпустили для академии gratis<sup>[145]</sup> обширные комплекты всяких «Архивов», «Handbuch'ов» и т.п.

Потом мы посетили клиники Шарите и Патологоанатомический институт. Аллея скульптур великих медиков почти не пострадала. Патологоанатомический институт, где работал великий Вирхов<sup>[146]</sup>, был основательно поврежден.

В больнице нас встретил известный хирург Зауэрбрух<sup>[147]</sup>. Он продолжал работать; охотно оказывал консультации нашим офицерам; к нему обращались из нашей армии больные и раненые для операции. Этот большой и оживленный человек, казалось, быстро освоился с оборотом судьбы (впрочем, говорили, что при Гитлере, хотя он и был главным хирургом германской армии, к нему относились с некоторым недоверием с политической стороны).

Другое впечатление произвел известный терапевт Густав фон Бергман<sup>[148]</sup>. Он нас принял весьма сухо, молчаливо показал свою клинику, разбитую и запущенную, а также более хорошо выглядевшие обширные лаборатории в полуподвальном этаже (между прочим, в составе его клиники были отделения и для инфекционных больных и отделение туберкулеза. Бергман принципиально сохранял в системе клиники внутренних болезней все ее основные разделы, не соглашаясь на выделение их в самостоятельные дисциплины, как это сделано было у нас и во многих других странах.)

Мы в нашей стране хорошо знали в ту пору ведущих немецких клиницистов по их книгам и статьям. В частности, монография Бергмана «Функциональная патология» и его двухтомный учебник по внутренним болезням были настольными книгами наших клинических сотрудников. Мне захотелось спросить, имеет ли Бергман какое-либо представление о нашей клинической медицине. «Keine Vorstellung»<sup>[149]</sup>, — ответил Бергман; он даже не припомнил имен наших терапевтов, считавших себя его учениками и редактировавших переводы его книг.

Не могу удержаться от сравнения с тем, что в этом отношении изменилось теперь, когда я излагаю эти воспоминания. Теперь в нашей стране никто не учится ни по Штрюмпелю, ни по Бергману, а учатся по Мясникову или Тарееву (то есть по своим собственным, а не переводным руководствам).

Наконец, в Берлине мы посетили большой научно-медицинский центр Бух, расположенный в 30 километрах от столицы, и имели интересные беседы с работавшим там при Гитлере русским ученым

(белогвардейцем?) — биохимиком, забыл его фамилию. Позже его вывезли, кажется, в Москву. Он был специалистом по генетике; но вскоре, как известно, работы по генетике стали одиозными, в них стали видеть «расизм», «биологизацию», «идеализм», а в годы диктатуры «павловского учения», совпавшие со временем массовых арестов ученых в нашей страной («эпоха культа личности»), и этот генетик был также изъят и где-то погиб в тюрьме<sup>[150]</sup>.

Дома, в Ленинграде, росли сыновья. В клинике появилась хорошенькая докторша Нина Каменева; она дарила меня ласковым светом голубых глаз и дразнила своей легкой походкой и красиво обутыми ножками. Но придется и тут идти мимо.

Как главный терапевт флота, я нередко бывал в Москве по делам Управления. Зимой 1945/46 года мне пришлось отправиться на нашу базу в Финляндии — Перкалла-Уд. Оттуда наши береговые батареи смотрели на финскую столицу Хельсинки (в 30 километрах). *Argumentum baculinum*<sup>[151]</sup>. Ведь надо было еще добиться послушания — «линии Паасикиви — Кекконена»<sup>[152]</sup>.

В Хельсинки побывали в музее живописи (Атенеум), смотрели замечательных финских художников, начиная от Эдельфельда, кончая Галленом, видели там и вещи Репина, впрочем, малоинтересные.

В послевоенные годы в Ленинграде жизнь наша складывалась хорошо. Клиника отлично работала (диссертации и т.п.). В Горьком была создана вторая терапевтическая конференция, в которой участвовали Ланг, Стражеско<sup>[153]</sup> и другие наши лидеры; я был уже в числе ведущих профессоров.

В 1946 году в Ленинграде был созван 13-й Всесоюзный съезд терапевтов. Это было важным событием. Все собрались после войны, стоял научный отчет о внутренней медицине в годы Великой Отечественной войны (доклады М. С. Вовси<sup>[154]</sup> и других); мой доклад о значении витаминов в клинике внутренних болезней. Председателем общества был избран Г. Ф. Ланг, я — одним из заместителей. Был общий подъем, казалось, жизнь станет лучше, свободнее. Терапевты с честью выдержали военное испытание. Многие «внесли ценный вклад в дело обороны». У многих на груди — ордена и медали. Ряд членов общества, еще недавно молодые, мало заметные сотрудники клиники, — в генеральских погонах. Немного завидно, что ты еще, правда, не получил генерала, а ходишь в полковниках, но ничего — обещают. Вот Лепорский, наш старый и уважаемый профессор, — также полковник. Это потому, что мы на флоте, в

армии дают скорее. А тут надо ждать «естественной убыли». Ну это все пустяки!

По летам мы жили на даче в Тюрисево на Карельском перешейке у моря. Здесь несколько финских дач передали «в долгосрочную аренду» отдельным «знатным» людям — получили эти дачи и мы с Джанелидзе и Быковыми. В море купаться было довольно холодно, но все же эта процедура соблюдалась. В жидких лесках росло много белых грибов. Я всегда собирал грибы с наслаждением и помню места, где находил по несколько штук. Если сейчас закрыть глаза и начинать вспоминать, как и где собирал грибы, то как бы проходит грибной кинофильм, притом цветной. Вот детство, усадьба, я ясно различаю каждое грибное местечко. Даже как бы вижу отдельные конкретные грибы, снятые более полувека и т.п. Вот Новосиверская. Я мог бы точно привести к тому замечательному месту, на опушке которого одно лето — перед самой войной — мы собирали целые корзинки белых грибов (раз ходили туда с Левиком). В другие годы грибы росли особенно по лесистому берегу речки Ольшанки (чудесные места, отраженные в этюдах А. А. Рылова) или в чаще осинника, где на фоне черной земли, покрытой прошлогодними листьями, сияли, как фонарики, красные шапочки подосиновиков; или в небольшом леске, если идти по Оредежу к Вырице и т.п. Я мог бы нарисовать географическую или топографическую карту грибных мест. Ясно помню грибные места вокруг Дубровина из Оби. В семейках грибов, вылезавших из-под земли на полянке, можно увидеть бабушку и дедушку, старые грибы с червивой шляпкой и неуклюжей фигурой, папу и маму в молодости или уже пожилых, — свеженьких юношей и девушек, наконец, детей — милые маленькие грибки, наивные и трогательные.

Или же мы уезжали на Черноморское побережье — в Сочи (в санаторий имени Ворошилова) или в Хосту (в санаторий Военно-морского флота). Жизнь на курорте общеизвестна, и едва ли надо ее отмечать в воспоминаниях. К тому же я не люблю санатории. Мне противно в определенные часы три-четыре раза в день ходить в столовую и, наевшись, уходить оттуда, лежать в номере «мертвый час». К тому же домашняя еда (а Инна в этом отношении молодец) куда вкуснее, да и вольготно у себя дома. Купанье в море приятно, конечно, но уж слишком много голых тел, в большинстве некрасивых. К тому же я плохо плаваю и должен барахтаться у берега. Лежать же на топчане или на горячих камнях пляжа я не люблю — к чему это, собственно? Жара, палит, расслабляет.

Были мы и в Майори, на Рижском взморье, жили в особняке какого-то видного рижского доктора, сбегавшего с немцами; в этой вилле, кроме нас,

были еще две пары — Быковы и Джанелидзе, — да еще один мрачный генерал по политчасти с мещански одетой супругой. Симпатично сочетание морских, довольно-таки холодных купаний с поездками на лодках по реке Аа и собиранием грибов в лесу за рекой.

Леонид, старший сын, захотел — вынь да положь — в военно-морское училище (в Дзержинку), а посему отправился в так называемое подготовительное училище, надел форму, но сбежал домой от казарменного скучного образа жизни; потом поступил в Военно-морскую медицинскую академию. Олег, уже школьник, куда-то уезжал без спроса в Лесной — предмет беспокойства родителей. Инна не старела, имела привлекательный вид, работала врачом-лаборантом в одной из кафедр академии — по гигиене, исследовала капок, болотную траву с белым пухом.

В Москве состоялась организация Академии медицинских наук. Был назначен список членов, в число которых Ланга сперва не включили, так как в министерстве находился в качестве замминистра будущий академик и президент Белорусской академии наук Н. И. Пропер-Гращенко<sup>[155]</sup>. Он говорил нам в своем кабинете на Рахмановском о Ланге: «Как вам не совестно говорить о немце? Ведь у него сестра в Голландии». Но все же это вопиющее недоразумение вскоре отпало. На сессии новой Академии в 1947 году я был избран членом-корреспондентом. Потом мне — сперва совместно с Л. И. Аринкиным, а затем с Н. И. Лепорским<sup>[156]</sup> — поручили проверку организации Института терапии; эта организация (директором был назначен В. Ф. Зеленин<sup>[157]</sup>) шла вяло, институт не получил базы; его отделения числились в разных клиниках, дело имело вид довольно жалкий, больше на бумаге.

Летом 1947 года министр здравоохранения Митерев<sup>[158]</sup> пригласил меня к себе и предложил переехать в Москву в качестве директора Института терапии, что подтвердил и президент Н. Н. Аничков. Тогда я еще не дал согласия. Ленинград после войны представлялся нам особенно дорогим и красивым. Уехать из него казалось диким. К этому времени я стал больше, нежели раньше, интересоваться архитектурой города, его музеями. С легкой руки профессора Галкина я завел в квартире мебель красного дерева (павловскую и александровскую), старинные бронзовые люстры и стал систематически покупать в комиссионном магазине картины (в этом магазине, Невский, 102, сложился как бы клуб коллекционеров-картинщиков; придешь к Михаилу Дмитриевичу, покажет новые поступления; явятся другие «тронутые», в том числе профессор Б. Н. Окунев<sup>[159]</sup>, математик, грузный мужчина с широкой бородой — он

собирал главным образом «леваков»; приходил и С. И. Вавилов<sup>[160]</sup>, президент Академии наук, покупавший второстепенных итальянцев — подешевле (это, конечно, общее желание — купить за бесценок шедевр), и т.п.

С другой стороны, Москва — столица, Ленинград становится второстепенным, заброшенным городом. Институт терапии — единственное учреждение, которое призвано развивать научную внутреннюю медицину в нашей стране. Одновременно сулят дать Госпитальную клинику I Московского медицинского института — клинику, которую создал Остроумов, занимал Д. Д. Плетнев и т.п. и которую я окончил.

К тому времени учреждения Военно-морского флота в связи с ликвидацией Военно-морского министерства влились в систему общего Министерства обороны, и наша Военно-медицинская академия стала в подчинение к генерал-полковнику Е. И. Смирнову<sup>[161]</sup>. Вскоре Е. И. Смирнов перешел из военно-санитарного управления в качестве министра здравоохранения СССР. Он возобновил разговоры о переходе моем в Москву, начатые Митиревым, обещал хорошую квартиру и избрание меня в действительные члены академии. «Будешь возглавлять нашу главную клиническую науку. Ваша морская академия — мелочь, да мы ее скоро и закроем. Войдешь в Президиум. Оставим в Ленинграде твоего старика — Ланга, а в Москве ты очень нужен, здесь с терапией — в смысле науки — плохо».

В январе 1948 года на сессии Академии медицинских наук, состоявшейся в Ленинграде, обсуждалась проблема гипертонии. Программным докладчиком выступил Г. Ф. Ланг. В блестящем докладе он представил оригинальную концепцию ее патогенеза. И в прежних своих работах он выдвигал идею о нервном происхождении эссенциальной гипертонии, но на этот раз он представил свою теорию особенно ярко. Базируясь на учении И. П. Павлова, он показал значение нарушений высшей нервной деятельности в развитии болезни. Его доклад был выдающимся событием в нашей науке. Сколько ни поддевали докладчика по отдельным аргументам (например, тезис о роли неотреагированных эмоций — «ваш бывший шеф, очевидно, воображает, что для профилактики гипертонии надо давать обидчику по физиономии») — это был ланговский триумф. Доклады патологоанатомов были дельными, но ординарными, а поспешные фантазии Анохина прозвучали примитивно. Сессия проходила в Таврическом дворце с большим общим подъемом.

На этой сессии я был избран в действительные члены и директором Института терапии. Итак, приходилась переезжать из Ленинграда в Москву.

В мае и июне того же года я, уже как директор Института терапии, приезжал на короткое время в Москву, хотя заканчивал чтение лекций и другие дела в ВММА; от функции главного терапевта флота меня уже освободили; от красивой военно-морской формы осталось пальто без погон — для дачи.

Я наконец вновь стал штатским и был рад расстаться с военным обличем. Летом я писал новое издание «Болезни печени», и оно мне самому очень нравилось (это третье издание — зрелый плод в отличие от первых двух, в которых было слишком много отсебятины и самонадеянности).

Заболел Г. Ф. Ланг. Еще в феврале, сразу после своего доклада на сессии академии, он почувствовал боли в нижней части грудной клетки. Искали плеврит, может быть диафрагмальный. Первые рентгенограммы ничего патологического со стороны желудка не устанавливали. Боли, однако, усиливались. Потом появились подозрительные признаки на снимках — рак кардиального отдела желудка. Консилиумы из Джанелидзе, Черноруцкого, Юдина и т.п. Больной вел себя спокойно, делал вид, что верит лживым объяснениям («язва», «плеврит» и т.п.). Иногда даже думалось, как это странно, что такой прекрасный клиницист и диагност дает себя столь легко обманывать, — уж не проявление ли это своеобразной, свойственной раковым больным эйфории или какое-то выпадение в сознании рецептора на мысль о раке. Опухоль уже прощупывалась, потом стало нарушаться глотание, странно, что не предлагалось операции.

Г. Ф. Ланг сперва дома, потом — в своем кабинете в клинике, потом — под конец — опять дома. Он был приветлив с нами, врачами и учениками, но очень угнетен. К июлю силы стали иссякать. Насколько мне известно, он только однажды сказал: «У меня самый настоящий рак желудка», но сделал вид, что поверил отрицательному ответу. Это был человек с большой выдержкой и благородным достоинством и не хотел быть предметом жалости и утешений.

28 июля Г. Ф. Ланг умер. Похороны были, конечно, на подобающем уровне, но ведь похороны редко определяют значение деятельности умершего. На гражданской панихиде я сказал, что Ланг — классик нашей медицины, имя его олицетворяет выдающиеся периоды истории нашей науки, нашей специальности, как имя Боткина в прошлом.

Теперь действительно пора переезжать в Москву.

## Жизнь в Москве

12 августа 1948 года я с женой и Олегом переехал в Москву. На платформе Ленинградского вокзала нас встречал профессор Иван Алексеевич Черногоров<sup>[162]</sup>, замдиректора Института терапии, а также главврач.

Нас отвезли в номер люкс гостиницы «Москва», где мы жили около недели, до окончания ремонта квартиры. К тому времени пришло и имущество. Своя машина была кстати, так как институт тогда оной не имел. Мы объездили родных на дачах в Истре, Николиной Горе и т.п.

Москва нам показалась жаркой, по временам проходили прямо тропические ливни; лавина воды катилась по улице Горького к Манежной площади; мужчины и женщины невозмутимо погружались в лужи, молодые женщины и дети разувались и шлепали босиком.

Квартира на Новослободской была получше ленинградской: высокие потолки, хорошая ванная и все такое, но всегда ведь недостает одной комнаты (было четыре, а надо, мало ли сколько, как нам кажется, надо, хотя в конце концов придется успокоиться на трехаршинной площади). Развесили в кабинете портреты Рокотова, Боровиковского и Крамского («С. П. Боткин»), антикварные люстры и разместили книги в шкафах, сделанных еще в Новосибирске. Было весело, начиналась новая жизнь. Право, хорошо переменить иногда условия жизни (имею в виду сейчас квартиру или город — можно себе представить, как чувствуют себя при перемене жены или мужа!).

Леник остался в Ленинграде, в ВММА, но вскоре написал мне, как бы хотелось ему быть свободным от казармы, жить дома, в культурных условиях и он-де только теперь понял, как был прав отец, когда возражал против поступления в военное училище (всю жизнь быть военным — бррр...). Вскоре удалось получить согласие начальства (генерала Завалишина) на перевод его в Москву, в I МОЛМИ.

В Ленинграде в квартире на Петропавловской осталась семья Левика, к тому времени еще не расколовшаяся, а на Лесном поселились мать Инны Елена Калинишна и ее сестра Вера. В январе случилось несчастье: Елена Калинишна утром переходила Лесной проспект у дома, на положенном месте, и ее сбил грузовик (пьяный шофер). Инну спешно вызвали. Диагноз перелома позвоночника почему-то не был поставлен. Калинишна умерла; человек она была очень заботливый, добрый, болевший душой о детях, о



близких, всегда готовый помочь.

Весною 1949 года мы завели под Москвой дачу — близ деревни Красновидово, на Истре. Возня с постройкой дома, посадкой яблонь и цветов, приятное чувство собственности (родимые пятна капитализма)... Чудесные левитановские места. Тут были немцы и остались следы стоянки их лазарета (ампулы, склянки), могильные холмики. Правда, через год все это совершенно изгладилось, только по другому берегу поэтической Истры остались кое-где заросшие рвы (окопы).

Участок был получен Президиумом Академии медицинских наук. Конечно, мы ученые, долой обезличку и уравниловку, как это провозгласил товарищ Сталин, но весь период устройства дачи было такое чувство, что мы делаем что-то такое политически, общественно неправильное. Советскому специалисту надо на период трудового отпуска брать путевку в санаторий и там жить в коллективных, государственных условиях, а не превращаться в частника. Недаром около нашего забора бабы, проходя мимо, озирались неприязненно: «У, советские буржуи, дачи понастроили, на шинах катаются!» Но постепенно это чувство пропало, и дача стала вторым домом (круглый год мы приезжаем сюда в субботу на воскресенье; маленький домик мы разобрали, и к небу вознесся особняк в стиле ампира с колоннами и круглыми сводами окон; есть куда пригласить гостей, в том числе и видных профессоров из-за границы; правда, в колхозной деревне можно и до сих пор видеть покосившиеся подслеповатые хибары с окнами, частично подбитыми вместо стекол ржавым железом).

Пожалуй, надо было бы, уж если заводить дачу, сделать это на какой-нибудь Николиной Горе рядом с вождями — там бы и селились баре, в особо отведенных для них зонах, подальше от глаз трудящихся колхозников. Туда и подъезд лучше, а на нашу первые годы мы осенью или весной нередко и попасть-то не могли: по проселочной дороге, вбок от Волоколамского шоссе, на колеса машины надо было надевать цепи и периодически вытаскивать машину из грязи.

Правда, теперь сюда, до самой дачи, ведет асфальтовая дорога, но зато по ней все время мчатся грузовики, как по Садовой. А по воскресеньям к речке прибывают сотни и тысячи москвичей, купаются, пьянствуют, жрут, рубят или ломают деревья, пляшут под звуки патефона, уединяются «под сенью струй» в темный овраг для любовных утех. После таких воскресений даже купаться не хочется, так и боишься испачкаться в человеческих выделениях, в том числе эротических. К тому же дорога, столь облегчившая нам сообщение, имеет специальные цели: от нее там и сям идут ответвления в лес со знаком запрета («кирпичей») — говорят, там

ракетные и тому подобные военные базы. В честь мирной политики нашего государства сейчас, через 17 лет после окончания войны, несутся военные грузовики с чудовищными машинами, грохочут какие-то закрытые брезентом механизмы, а в воздухе сверкают ракетные самолеты. Нет больше тихого Подмосковья! Впрочем, грибы еще растут, хотя и хуже, жители Красновиново работают в поле (но значительно хуже, да и лучше работать все равно бессмысленно, так как цели и задачи сельского хозяйства все время меняются, один метод новаторски сменяется другим, как сменяет овес кукурузу). Кстати, хрущевская кукуруза здесь маленького роста и не выполняет возлагавшихся на нее надежд. Она годна, конечно, только для скота, но скота что-то нет и нет, а молоко сюда надо привозить сгущенное из Москвы.

Но я изменил порядку изложения своих воспоминаний и спустился в болото брюзжания.

В Москве я еще больше, чем в Ленинграде, стал уделять время картинной коллекции. Денег у меня стало больше (две службы, ряд переизданий моего учебника пропедевтики, новое издание «Болезней печени»). Страсть к картинам интересна тем, что может возникнуть у человека, как я, совершенно не способного нарисовать не только дом или человека, но даже примитивную схему на доске во время лекции. Обычно в пылу рассуждений я пытаюсь брать мел, подойти к доске и что-то беспомощно чертить, но, видя, что никто не понимает то, что я хочу выразить (и лишь тактично молчат об этом), я стираю каракули тряпкой, притом изрядно испачкавшись.

А между тем я ужасно люблю живопись, краски, графику. За годы собирания картин я научился узнавать манеру большинства наших художников не хуже специалистов. Вообще коллекционеры определяют авторство и ценность картин, несомненно, более верно, нежели профессионалы, особенно художники и искусствоведы. Правда, в пылу увлечения, ажиотажа дешевизны и т.п. коллекционеры нередко делают и грубые ошибки и потом выискивают возможности их поправить — сбывать, «всучить» или, в крайнем случае, кому-нибудь подарить. Вас охватывает настоящая болезнь (не только психическая, но почти физическая), когда вы приобрели (да еще заплатили дорого) вместо шедевра так называемый фальшак; такая картина — оскорбление ваших лучших чувств, и вы должны ее, немедленно по разоблачении, снять в остервенении и выбросить подальше, хотя бы еще вчера она вам сама-то по себе нравилась, вы в ней не сомневались.

Картины можно, конечно, покупать в комиссионном магазине — был

такой на Сретенке, а потом на Арбате. Надобно иметь и там блат, то есть заявить, что я такой-то академик, посулить мзду — и тогда в задней комнатке перед вами будут открываться «новые поступления», и вы можете «заполучить что-нибудь интересное», а ведь на выставке для публики обычно висит всякая дрянь.

Впрочем, дифференциация, что дрянь, а что не дрянь, в этом деле сугубо субъективна. Одни любят передвижников, в том числе жанристов, картины которых делают Третьяковскую галерею скучнее и тяжелее, нежели она могла бы быть, если бы, например, я был назначен ее директором. Ведь невозможно эстетически наслаждаться старомодными чиновниками в баках или допотопными купчихами в салопах, трактирными сценами или утопленницами. В зале, где выставлены картины Перова, смотрят на вас четыре утопленницы и в придачу еще два покойника в гробах. Очень приятно наслаждаться таким искусством! К тому же свет тускл, краски грязны, колорит скучен. Я понимаю, смотреть стариков и старух Рембрандта, в которых так велика сила живописи, с проникновенным умом раскрывающая сущность человека (пусть в данном случае старого, но сама старость становится красивой в своей жизненности и глубине). И вспоминаю, как Ромен Роллан, осмотрев Третьяковскую галерею, сказал своей жене: «Какой великий народ — и какая бледная живопись».

Это влияние изобилия передвижников. Конечно, если причислить к таковым Репина и Сурикова, то сила данного направления становится значительно большей. Сурикова я не люблю, Репина считаю высокоталантливым, но наделенным малым вкусом, но все же эти большие мастера выделяются среди тоскливой массы передвижников (и вообще они сами по себе).

Любители реализма выискивают обыкновенно Маковского. Смотреть на подобные картинки — все равно что читать фельетоны из старых порывевших газет восьмидесятых годов. Другие любят только пейзаж — от фотографического Шишкина (иногда, впрочем, поистине замечательного) до прелестного Левитана, о котором Чехов в одном из писем из Парижа правильно выразился, что он выше французов. Эти картины дороги и доступны немногим (у меня они довольно хорошо представлены). Третьи собирают старый русский портрет; это люди, наиболее взыскательные среди коллекционеров.

Я отдал портретам дань: они висят в моем кабинете десяток-другой лет и точно стали членами семьи — в завитых париках, в расшитых камзолах, в шелковых платьях с лентами. Даже уродец Павел чем-то стал

мил (и не только авторством Боровиковского); говорят, его портрет приносит счастье, пусть уж висит. Такие вещи овеяны духом XVIII века, а XVIII век был, несомненно, веком расцвета культуры России (в особенности в искусстве).

И наряду с ними — гениальные портреты Серова, едва ли не лучшего нашего художника, которого следует всячески показывать за границей, так как он стоит на одном уровне с Эдуардом Мане, если не выше.

Далее идет группа коллекционеров «Мира искусства». Я люблю это изысканное направление, в котором проявились аристократизм и тонкое понимание искусства. У меня несколько Бенуа, Сомовых, Добужинских, Рерихов, Серебряковых, Остроумовых-Лебедевых и т.п. Каждый из этих художников мил по-своему, а вместе — это целый мир красивых и условных видов, сцен, людей, вещей, замков, истории, любви, воспоминаний. «Мир искусств» хорош именно тогда, когда собрано много вещей разных авторов (отдельно картины кажутся незаконченными этюдами или разрозненными зарисовками). Почему-то художников этого направления ругают то реакционерами (хотя они были у нас в свое время революционерами-новаторами, а некоторые, кстати, и политически-революционно настроенными, левыми), то ретроспективистами (разве интерес к истории достоин хулы? Тогда надо запретить исторические науки — к чему, чего доброго, и придется прибегнуть, если судить по тому произвольному кромсанию истории, которое практикуется ныне свыше), то идеалистами (смысл этого слова в последнее время перестал быть, впрочем, конкретным — идеализм противопоставляется материализму и иногда смещается чуть ли не к деизму или спиритуализму; но в искусстве идеализм представлен как отход от точности зарисовки натуры, а это — метод всякого подлинного искусства; ведь вопрос лишь в степени отхода и его целей, обычно целей обобщения и отражения определенной идеи).

Любители передвижников с легкой, точнее с тяжелой, руки Репина низко ставят эту живопись, но с каждым годом число таковых падает, и данное направление воспринимается все больше как реалистическое. Неизвестно, впрочем, в какой мере вообще уместно называть искусство таким-то и таким-то. Есть, мне кажется, только искусство хорошее или дурное.

Наконец, в последние годы возрос интерес к нашим абстрактным художникам — Малевичу, Кандинскому и т.п., — а в глазах большинства собирателей, художников и публики это направление считается чушью.

А советское искусство? Нельзя отрицать, что наши художники проявили много старания, потратили много масла и красок, навывставлялись

на выставках, наполучали государственных премий. И, несомненно, их много — советских художников входит в союз три тысячи! Три тысячи Серовых или Левитанов одновременно — вещь невозможная, а потому было бы хорошо найти среди них хотя бы одного Серова (впрочем, один Серов — председатель Союза советских художников — имеется, но это совсем другое, однофамилец, как были однофамильцы и у Пушкина). Очень жалко, но среди советских художников мало людей, выделяющихся из общей массы, — они все на одном, приличном, уровне и в сходном стиле. Так сказать, коллективизм, а не индивидуализм. Можно ходить по выставкам сзади наперед и обратно — все одно и то же, одна школа, и по мазкам, и по сюжетам (колхоз, тракторы, армия, бой, вожди, вожди и опять вожди, сколько их, и все, впрочем, одни и те же: на поле, на заводе, в школе, на съезде, на транспорте, якобы с детьми и тому подобное).

Конечно, я немного преувеличиваю. Милейшими Кукрыниксами написаны очень приятные пейзажи в поленовском стиле, левитановские осени С. Герасимова, острые, оригинальные композиции Нисского. К тому же еще недавно были живы яркие и сильные Кончаловский, Машков, Крымов (я как-то был у Н. П. Крымова; последние годы он писал лишь крыши соседних домов). Р. Г. Фальк дважды лежал у меня в клинике по поводу инфаркта миокарда; он подарил мне несколько своих парижских вещей, это чудесный художник французского типа, с большим вкусом и особым, тонким восприятием. Н. А. Удальцова лежала в институте с тяжелой гипертонией — позже я навестил ее в ее квартире на седьмом этаже у Мясницких Ворот и купил один натюрморт, а второй она подарила мне; больная и старая, она летом где-то на даче продолжала писать сильно, обобщенно, ярко, а осенью умерла. Сильным художником был в прошлом Дейнека, особенно в вещах, посвященных революции и городу.

Мой милейший родственник Павел Петрович Соколов-Скаля (муж кузины Аси) конечно, тоже талантливый человек, много написал больших политических полотен, даже фресок в музеях, выставках и павильонах, но груб и тороплив, даже жалко как-то — человек хороший, а живопись как живопись не больно хороша (вот рисунки замечательны, особенно серия «Годы и люди»). Ранние его вещи более интересны, они отражают историю Гражданской войны. Но, например, громадный «Пугачев», писание которого я застал в его студии, — это слащавая декорация (да и почему мы должны устраивать апофеоз разбойнику — точно он мессия — типа входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим), к тому же грязны краски.

Несомненной заслугой П. П. является воссоздание панорамы Рубо «Оборона Севастополя», но зато смешна картина, посвященная Франции,

даже жалко затраченных сил и красок. П. П. мог хорошо писать пейзаж — как подмосковный, так и крымский, а в портрете не был силен — не улавливал сходства, не только фотографического, но и внутреннего. Написал он мой портрет — большой, в рост, стою у стола, позируя, точно в парадных портретах Левицкого. Вышел слегка похожий на меня солидный мужчина, немного актер, немного пижон, но меньше всего ученый; лучше удались висящие на стене картины в золотых рамах да стул красного дерева (и еще замечательно дана правая рука, просто как у мастеров Возрождения, но зато левая не удалась вовсе). Он писал с маху, рывками, без предварительного рисунка, счищая неудачные мазки или замазывая их другими, меняя контуры. Торопливость, небрежность в смешении красок и линиях рисунка портили результаты, несмотря на исключительное дарование художника. Может быть, в поздние его годы сказывались склонность к чрезмерному употреблению спиртных напитков и заболевание сердца (перенес инфаркт миокарда с последующим развитием мерцательной аритмии и сердечной астмы).

Павел Петрович был очень симпатичный человек. Мы много спорили с ним не только об искусстве (он был членом Президиума Академии художеств, лауреатом Сталинских премий, заслуженным деятелем искусств и являлся одним из идеологов «социалистического реализма» в живописи, за что его не любили «левые» художники, хотя молодежь, ученики его очень почитали, как отзывчивого и славного человека); мы спорили с ним и о политике, причем, несмотря на его важную партийность (он был членом партии с 1918 года и участником Гражданской войны!), я не стеснялся осуждать даже личность царствовавшего тогда безраздельно Сталина. К П. П. я относился лучше, чем к Асе, его половине, и удивлялся, зачем это ему, интересному, богатому, известному художнику пришла в голову идея после смерти жены жениться на этой пухлой и шумной особе, уже достигшей 40–45-летнего возраста, как будто мало в Москве хорошеньких молодых девушек, готовых полюбить любого видного мужчину.

Кстати, о портретах. С меня писал портрет Б. В. Щербаков. Он специализировался на портретах академиков, писателей и т.п. Этот очень симпатичный человек писал методически. Сперва, положим, лоб, потом нос, потом один глаз, затем другой (говорят, так писал К. Сомов); мазок мелкий, гладкий, колорит скупен, черен. Я позировал ему за моим письменным столом, приходя усталый с заседания в Академии или институте в 4 часа дня; хотя был уже апрель, но вскоре начинало смеркаться. Окна на север. Я говорил ему: «Не темно?» — «Нет, — отвечал он, — в самый раз, я люблю такое освещение». Вот тебе и свет

импрессионистов! Вышел я квелым, меланхоличным, но, так сказать, морфологичное сходство получилось. Портрет — скорее в стиле Крамского, но с массою аксессуаров, тщательно выписанных и привлекающих к себе (отвлекающих на себя) внимание; хотелось больше смотреть на блестящую чернильницу, серебряную вазу, кончики цветных карандашей («как живые»). Позже Б. В. подарил мне несколько пейзажных этюдов, написанных у нас на даче, — приятные вещи поленовского плана.

Портреты писали и молодые. Например, мой земляк из Красного Холма Олег Ломакин (он приезжал из Ленинграда); это талантливый художник, но пока не нашедший своего пути в живописи; пишет в манере Цорна, широким мазком, притом необычайно быстро. Писал также Илья Глазунов, выставка вещей которого в ЦДРИ имела шумный успех, так как впервые вместо тракторов были показаны голые женщины.

Позже, когда я стал «ездить по границам» и познакомился с европейскими и американскими музеями и выставками, я стал расширять свою коллекцию картин в двух направлениях. Одно — очень левое. За границей не знают ни Репина, ни даже Серова, а знают эмигрировавших Марка Шагала, Ларионова, Малевича, Кандинского. Это, конечно, наша вина, мы должны были больше выставлять своих дореволюционных мастеров периода Серова и «Мира искусства» и не закрывать дорогу молодежи писать свободно. В Москве появились молодые люди, пишущие в духе абстракционизма, но им нет ходу, над ними висит официальное запрещение, как над чем-то антисоветским. Между тем Пикассо или Леже — коммунисты. А наши маленькие и не развившиеся Пикассо не только голодны и непризнанны (это бывало в искусстве во все времена), но и подвергнуты дискриминации с политической точки зрения. Это уже нечто небывалое.

Я подбираю некоторые вещи этой группы художников, ничего не обозначающие, но красивые сочетанием цвета и форм. В наш век цветной кинофотографии примесь абстракционизма в искусстве будет общей линией; ведь искусство потому и искусство, что в нем всегда должно быть обобщение, то есть та или иная степень абстракции. Степень определяется чувством меры, целями и манерой художника.

Другое направление в деле собирания картин после заграничных поездок — пополнять ее западными мастерами, но попадает теперь уже почти только ворованное во время войны (то есть вывезенное генералами из Германии).

Служебные дела мои в Москве сразу оказались многочисленными и сложными. Кроме Института терапии, я получил еще Госпитальную

терапевтическую клинику I МОЛМИ. Возглавлял ее к моему приезду старый и уже почти слепой (глаукома) Д. А. Бурмин<sup>[163]</sup>. После моего избрания он сохранил за собой право приходить раз в неделю в клинику; он раздевался в бывшем своем (ныне моем) кабинете и усаживался в библиотеке, в которой я проводил клинические конференции. Д. А. молча слушал мои разглагольствования, после конференции благодарил меня за интересный разбор больных и прощался. Кажется, через год он заболел, а через два умер.

Фактически заведовал клиникой до моего приезда Б. Б. Коган<sup>[164]</sup>. Этот самовлюбленный человек меня на первых порах встретил все же хорошо. Я даже был у него на даче (он был консультантом Барвихи и летом жил там); мы были знакомы еще в студенческое время. Этот старый член партии, участник Гражданской войны, считал себя законным претендентом на заведование той клиники, в которой работал многие последние годы, — и тут вдруг явился я, да еще сразу занявший две важные академические должности. Б. Б. — автор довольно известной монографии о бронхиальной астме и вообще активный литератор от медицины, много пишет статей и всюду заявляет свои доклады. Апломб этого непризнанного гения, его распухшее в виде злокачественной опухоли «я» сочетается с настроениями обиды незаслуженно оттираемого подлинного советского ученого. В коллективе его не любят; он со всеми ссорится. Министр Е. И. Смирнов говорил мне: «Да что ты с ним деликатничаешь? Выгони — пошлем на периферию». Но этого я не умел и не умею.

Зато другие сотрудники по клинике оказались симпатичными людьми. Доцент И. И. Сперанский составлял докторскую диссертацию о каком-то микрококке как возбудителе ревматизма. Микрококк ему пригодился, чтобы считаться доктором медицинских наук, хотя сам микрококк после диссертации лопнул как мыльный пузырь (да и то сказать: мало ли мыльных пузырей сверкало и лопалось на наших глазах в области медицины?).

Два почтенных ассистента клиники, Бургман и Яковлев, довольно быстро изволили умереть, один — от инфаркта, другой — от рака желудка. Оба были на редкость приятные и умные люди. Бургман был одновременно и главным врачом клинической больницы I МОЛМИ — сдержанный, культурный человек. Ф. И. Яковлев был по натуре артист, чудесно читал Чехова, любил русскую литературу (ученик Плетнева); свой рак он носил невозмутимо, до конца был склонен к шутке. Оперировал его Юдин, и неудачно (хирурги — хвастуны, такой-то процент успеха, столько-то лет



жизни после операции, а в действительности знакомым, на которых обрушивалось это ужасное заболевание, хирурги обычно лишь способствовали быстрой гибели).

Е. В. Чернышева, строгая, но справедливая женщина, занималась пункцией печени. В летнее каникулярное время Е. В. отправляется всей семьей путешествовать: они облазили Кавказ, были на Алтае, ходят сотни верст пешком или плывут в лодке по каким-то неожиданным рекам. Наш рентгенолог Л. С. Матвеева — хороший специалист, красива в прошлом; основа диагностического благополучия клиники.

Говорят, что здоровый, нормальный человек не думает о смерти, но это правильно в отношении молодых. Арифметика лет неумолима. Она математически доказывает, как мало остается жить. Тем более это *memento mori* подкрепляется частыми, все учащающимися примерами из круга сверстников, сотрудников, знакомых. Даже при большом оптимизме сильной нервной системе невозможно отделаться от постоянного и нарастающего страха смерти, хотя его можно искусно скрывать (даже от самого себя) или смягчать биолого-философскими соображениями. Мне кажется, что главный «козырь» религии — вера в загробную жизнь, — как бы он ни был глуп сам по себе, создает у верующих освобождение от этого страха.

Правда, в описываемое время, несмотря на смерти кругом, я мало об этом думал. Вокруг шумела молодежь, хорошенькие студентки смотрели на вас лукаво, а иногда вызывающе. Ведь очень важно присутствие в аудитории хотя бы единичных красивых молодых девушек. Лекция читается с большим подъемом, ведешь себя более артистически, а иногда читаешь как бы для одной, стараешься, чтобы она смотрела и слушала, а не болтала с соседом или соседкой. И на обходах в палатах со студентами очень важно, чтобы в группе была какая-нибудь интересная особа и по временам смотреть на ее пышные белокурые волосы и ловить ее взгляд. Все это не более как лечение от старости.

Я всю жизнь любил педагогическую работу. Читать лекции для меня не обязанность, а удовольствие. Я никогда к ним не готовился и всегда читал экспромтом. Поэтому они нередко бывали увлекательными, но иногда, напротив, сбивчивыми и вязкими («в ударе» и «не в ударе»). Лучше читалась лекция на какую-либо новую тему — в то время как на обычные не всегда хватало настроения; иной раз плохо проходили лекции по таким проблемам, которые служили обычно моим коньком (и мне уже изрядно надоели).

Многое зависит от состояния перед лекцией и в ее начале. Иногда

идешь в аудиторию в приподнятом настроении, и все идет хорошо, тема — безразлична. Я нередко не знаю заранее, какого больного мне представят на лекцию, я не знакомлюсь предварительно с его историей болезни. Уже в дверях аудитории мне могут сказать, что больной будет не с таким-то, а с другим заболеванием. И если это мне не покажется проявлением беспорядка, недостатка дисциплины или чем-нибудь в этом роде, я быстро как-то автоматически переключаюсь на новую тему. Но достаточно мне почему-нибудь рассердиться (на такую перемену или на любое другое обстоятельство в клинической жизни), мое настроение падает, а с ним — и уровень лекции.

Очень меняет этот уровень сама аудитория. Если много опоздавших, или зал неполон, или стоит шум, я сержусь и читаю хуже. Обычно я сам, конечно, чувствую, что не в форме, хочу исправить положение, начинаю стараться читать лучше, но уже чувствуется напряжение, принуждение, нет свободно льющейся образной речи, студенты слушают не слыша, я злюсь на себя и на них.

Напрасно после лекции мои сотрудники (в большинстве своем хорошо ко мне относящиеся), в порядке ли подхалимажа или для успокоения шефа, расточают похвалы по поводу содержания лекции. В таких случаях я угрожающе мычу и вытираю платком пот с лысины. Много раз пробовали записывать мои лекции — стенографировать или фиксировать на магнитофон; те, кто это делал, очень довольны, говорят, получилось замечательно. Но я попробовал сам прослушать некоторые записи: ерунда, не то. Для того чтобы их издавать, надо вносить столько исправлений, что в результате будут как бы сочинены новые, идеальные лекции, а не те, которые я реально читал, или же то будут главы учебника (а я читаю, как правило, не по учебнику и каждый год совершенно иначе, нежели в предыдущем).

Я всегда с удовольствием проводил так называемые клинические разборы. Они систематически проходили и проходят в обоих руководимых мною учреждениях — клинике и в Институте терапии (по разу в неделю). Как правило, они многолюдны, — приходят врачи из различных городских лечебных учреждений; в Институте терапии по средам собирается обычно не менее 200 врачей, в клинике — также около того (включая и студентов). Обычно успеваю осмотреть и обсудить двух-трех больных. Эта форма очень удобна для индивидуального анализа больного — и вместе с тем в нее легко влить относящиеся к данному заболеванию новые данные из литературы и высказать конструктивные и критические замечания. Иной раз мои суждения мне самому кажутся чем-то новым и оригинальным,

открывающим перспективы для специальных научных исследований; но мысли бегут быстро, идеи, только что сформулированные, чаще всего где-то тонут, захлестнутые другими, те, в свою очередь, оттесняются новыми. Эх, заносить бы их в записную книжечку! Что-то нет верных учеников, которые бы подхватывали их, фиксировали и напоминали о них позже или сами их развивали. Но последнее, может быть, и происходит в какой-то мере. Именно таким путем — свободного высказывания своих мыслей, предположений, взглядов, — вероятно, и создаются предпосылки для формирования школы (будет ли «школа Мясникова», еще неизвестно, но если будет, то мои клинические разборы в этом сыграть должны немалую роль).

Публика обычно довольна разборами. «Издать бы их, это неповторимо и увлекательно», — говорят мне. Но как только ставят магнитофон (и я об этом знаю), я «скисаю», возникает какое-то напряжение, я стараюсь говорить более складно, а между тем свобода творчества уже нарушена, и мне самому становится скучно.

На этих клинических разборах иногда удается ставить «блестящие диагнозы». Я не обольщаюсь в этом отношении. Конечно, для того чтобы хорошо ставить диагноз, требуется некая-нибудь специальная интуиция (как об этом часто думают), а прежде всего ум и знания и в особенности свойство ума быстро схватывать все возможности, как бы одновременно вспоминать данные, полученные при исследовании больного, и тут же «примерить» их к данным опыта и знания. Тугодумы и начетчики не ставят хороших диагнозов. При всем том надобна смелость. Опыт показывает, что при двух вероятных диагнозах один всегда имеет больше шансов подтвердиться как более частый и обычный. Его и ставят и оказываются правыми. Надо иметь смелость рисковать иногда и ставить редкий диагноз. Ведь если он не подтвердится, невелика беда, человеку свойственно ошибаться, и если ложное диагностическое заключение было логичным, обоснованным — никто не будет в претензии, если, конечно, не было допущено какого-нибудь упущения в терапии. Такие понятные, как бы мотивированные ошибки не ставятся в ущерб репутации клинициста. Но если диагноз редкой болезненной формы или вообще диагноз, выдвинутый в труднейшей ситуации, подтвердится — вас поздравляют с блестящим диагнозом. А сами-то вы были в нем совершенно не уверены, в вашей голове роились сомнения, страх попасть впросак, но вы смело шли на риск. Таким образом, «блестящий» клиницист отличается от «неблестящего» своей смелой неосторожностью (тот же, обуреваемый сомнениями, иногда готов написать не один, а два диагноза, или воздержаться от диагноза

вообще из растерянной осторожности).

Кроме того, я заметил — как уже отмечал выше, — что слава «блестящего клинициста» часто определяется не хорошими диагнозами, которые он ставит, а отсутствием чрезмерной научной активности (дескать, вот это настоящий врач, а не ученый).

I МОЛМИ в те годы (1949–1952) имел директора Б. Д. Петрова<sup>[165]</sup>, работавшего ранее в ЦК; это умный человек, остроумный оратор, специалист по истории медицины. Его оригинальные суждения выделили его среди монотонной массы партийных работников. Его жена, З. А. Лебедева<sup>[166]</sup>, — директор Института туберкулеза АМН, также член партии, депутат Верховного Совета, женщина самолюбивая и не совсем справедливая; несмотря на то что она вкладывала много энергии и заботы об институте, ее там недолго любили за властный нрав.

У З. А. и Б. Д. мы бывали дома, и они у нас. Они были также в дружбе и с К. М. Быковым. Если бы все партийные работники были похожи по уровню культуры и по уму на эту пару, то жизнь нашего государства шла бы гораздо более успешно.

Терапевты в I МОЛМИ, кроме меня — В. Н. Виноградов<sup>[167]</sup>, В. Х. Василенко<sup>[168]</sup>, Е. М. Тареев<sup>[169]</sup>, А. Г. Гукасян<sup>[170]</sup>, — все разные люди.

В. Н. Виноградов — тип московского популярного врача-практика. Он действительно как врач хорош: очень любезен, обходителен, тщательно исследует пациента, внимательно его расспрашивает, и потому его больные уважают (больным менее нравятся профессора, которым сразу все ясно и которые, по своей натуре, не склонны выслуживаться перед ними нарочитой длительностью беседы или скрупулезным осмотром для вида; больные не очень любят быстрых врачей, считают их поверхностными, а почитают тех, которые кряхтят, молчат, как бы думают, вновь и вновь повторяют вопросы, терпеливо выслушивают ничемные ответы и многозначительно пересыпают их восклицаниями: «Так-так» или «Гм-гм»).

В. Н. имеет большой опыт, знание психологии больных и т.п. Это последний последователь Захарьина. Он занимает и кафедру Захарьина (однако он не был ни учеником Захарьина, ни учеником его учеников — он был ассистентом во II Женском медицинском институте, потом в I Мединституте у Плетнева, — я еще занимался в плетневской клинике у него в группе). В его клинике студенты должны составлять длинные анамнезы, отвечая на самые старомодные вопросы (каким родился по счету, каким клозетом пользуется и т.п.), начинать изложение не с главного, а в

историческом порядке, то есть с рождения. Как педагог В. Н. отличался методичностью, четкостью, лекции читал с пафосом, с хлесткими заключениями; он был строг на экзаменах.

После смерти Г. Ф. Ланга В. Н. Виноградов стал председателем Всесоюзного общества терапевтов — как старейший. Он к тому времени был в очень большом фаворе в Кремлевской больнице и лечил главных вождей и членов их семей. У себя дома за ужином (всегда обильным и вкусным) В. Н. — обаятельный человек, московский хлебосол, любитель угощать лучшими винами. И, наконец, он страстный коллекционер картин (и у него имеются первоклассные вещи).

Но если сам руководитель клиники мало занимался наукой, то его коллектив был деятельным. В клинике В. Н. Виноградова была организована хорошая электрокардиографическая лаборатория, в которой — по штату Академии — работали способные физиологи; был налажен и метод ангиокардиографии.

В. Х. Василенко, так же как В. Н. Виноградов, слыл хорошим врачом (хотя ни на одном консилиуме я лично не слышал от него других заключений, кроме «возможно», «можно думать», «я такого же мнения»), был «главным терапевтом» Кремлевской больницы и т.п. Как ученика Н. Д. Стражеско, его водворил в Москву министр Е. И. Смирнов, так же как меня, ученика Г. Ф. Ланга (притом одновременно). Мы с ним должны были оживить московскую терапию. Его выступления по научным (чужим, конечно) докладам начинались и кончались анекдотами — публике, конечно, нравилось, так как публика любит, чтобы ее забавляли.

Сущность состоит в том, что ценность ученого у нас все еще часто определяется личными связями, симпатиями себе подобных или власть имущих; к тому же выдвигаются люди менее достойные в пику более достойным (дабы последние не слишком кичились своим научным значением, подумай!). Важно установить общее поравнение, нивелировку коллектива, а не выпячивать персональные заслуги отдельных лиц. Как в трамвае — не высывайся!

Е. М. Тареев еще в клинике М. П. Кончаловского разрабатывал вопросы патологии почек. Позже, как руководитель терапевтического отделения Института малярии, он с сотрудниками, первый в нашей стране, изучал действие новых лечебных препаратов — атебрина (акрихина) и плазмохина (плазмоцида). Его монография о малярии получила Сталинскую премию. Е. М. Тареев — автор известной книги о болезнях почек, своего рода архива на эту тему, с массой литературных ссылок, но без оригинальных собственных концепций. Позже он стал изучать

коллагенозы и так называемую лекарственную болезнь; в этой области он, несомненно, нашел новые интересные грани. Ему же принадлежит бесспорная заслуга описания у нас в Союзе эпидемий желтух после массовых прививок, что послужило поворотным пунктом в его трактовке острых гепатитов: раньше он их считал неспецифическими (аллергическими) формами, а после личных наблюдений над прививочными желтухами — в свете появившихся к этому времени за границей данных о вирусном характере желтух — стал их рассматривать как вирусное заболевание. Хорош он как полемист — критика дается им в острой форме, но слова подбираются не обидные и какие-то антивульгарные.

Еще один терапевт I МОЛМИ — Гукасян (клиника Сангига на базе одной из городских больниц) больше известен как начальник ГУМУЗа<sup>[171]</sup> Минздрава — таковым он был тогда, когда я приехал в Москву. Вскоре ему выпало рассылать по периферийным кафедрам профессоров-евреев, изгоняя их из столичных вузов; это было делом неприятным, в связи с чем его стали систематически проваливать на выборах в правления или президиумы обществ.

Из хирургов I МОЛМИ тогда были Еланский и Салищев — позже последнего сменил блестящий хирург Б. В. Петровский, преобразивший затрапезную, отсталую клинику в образцовое, передовое учреждение. Был еще неоперирующий И. Г. Руфанов, человек образованный и умный, дипломат, обладавший большой общественной жилкой; автор отличного учебника и, так сказать, теоретик от хирургии.

Первые годы после моего приезда в Москву работали еще А. И. Абрикосов и И. П. Разенков<sup>[172]</sup>. Я ощутил их авторитет имен, но не мыслей. Часто ведь действуют имена (очевидно, в связи с прошлыми заслугами), а что в данное время говорят или делают носители этих имен, имеет уже меньшее значение. На смену им пришли работающие теперь А. И. Струнов, делающий превосходные доклады на разные темы патологии, и П. К. Анохин.

Институт терапии первые годы моей жизни в Москве находился в сравнительно небольшом здании на Щипке, то есть на Большой Серпуховской — на одной территории с Институтом хирургии и с Институтом неврологии. В свое время, при царизме, это была богадельня, потом — больница имени Семашко. Здание имело характерный для второй половины XVIII века вид, но не было удобным для научного института. Все же мы с увлечением переделывали и перекраивали палаты, размещали

лаборатории. Мне всегда нравилось дело организации клиники (сколько клиник пришлось открывать за время своего длительного профессорства — в Новосибирске, три в Ленинграде, два раза в Кирове). Коек тогда было около 100 (а в клинике I МОЛМИ — 140).

Одним из заведующих отделениями тогда был И. И. Сперанский — прекрасный человек, высокоинтеллигентный, остроумный рассказчик. Его родители (отец — известный московский врач) дали ему отличное воспитание: он свободно говорил на трех языках (и являлся «переводчиком» во время посещения института иностранными учеными и во время наших с ним поездок за границу). Человек он был внешне спокойный и выдержанный, но по временам прорывалась его нервная напряженность (он потерял на войне единственного сына).

Когда А. И. Черногоров ушел из института на кафедру в Стоматологический институт, И. И. Сперанский стал замдиректора. В институте И. И. Сперанский выполнил ряд хороших работ в области изучения состояния нервной системы при язвенной и гипертонической болезни (и их нейротропной терапии) с позиций школы Введенского — Ухтомского.

Как мой заместитель, И. И. Сперанский был исключительно тактичным и приятным сотрудником. Не обладая большой личной инициативой, он обычно очень охотно помогал моим планам. Общая культура и высокая компетентность делали очень ценными его советы. Может быть, он излишне подчеркивал чисто совещательный характер своей работы, почти никогда не решаясь предпринимать что-либо без моего одобрения.

Позже, летом 1960 года, он внезапно перенес приступ стенокардии, через две недели разразился тяжелейший *status anginosus*, закончившийся инфарктом миокарда. И. И. Сперанский лежал в институте, потом был переправлен в санаторий в Звенигород; там мы с Инной навестили его как-то и погуляли с ним и его женой в парке. Осенью и в начале зимы он работал в институте, хотя на весьма облегченных условиях. Вдруг — вновь ангинозные боли, когда он спускался по лестнице, чтобы сесть в машину перед заездом, как обычно, за мной. Он вернулся, думал, полежит, пройдет. Каждый день собирался в институт; через неделю — опять боли и смерть. Эх, жизнь человеческая! Как она быстро и не вовремя останавливается!

Смерть И. И. произвела в институте ужасное впечатление. Как-то сразу всколыхнулось чувство любви к нему всего коллектива. Все были потрясены, я особенно вышел из колеи, я не мог говорить о нем без комка в горле. На похоронах все плакали, трудно было извлекать из груди слова.

Его сожгли в крематории. Так и встает перед глазами одетый в черное И. И., лежащий в гробу и медленно опускающийся вниз.

Исключительное значение имела для развития института работа ученого секретаря Н. Н. Малковой. Эта тщедушная особа была и продолжает быть нервом института. Вся жизнь этой женщины — в институте. Она приходит первой и уходит последней. Она не знает отпуска. Она в курсе всех дел, не только научных, но и лечебных и административных. Даже как-то трудно понять, откуда у нее берутся силы. С работающими плохо она зла, с работающими хорошо — добра. От меня она терпит любые грубости (не по отношению к ней, а просто они иногда опрокидываются на ее голову, как на преданного человека, как в семье, например, на жену).

Вскоре после моего приезда в институте появилась как заведующая отделом кадров Г. И. Королева. В ту пору ей было всего 24 года, она недавно окончила вуз. Завкадрами — должность, ассоциируемая с представлением о какой-то фурии с партийным билетом, связанной с НКВД, которой надлежит подозрительно нюхать институтскую атмосферу, бдительно следя за поступающими в институт, изучать их личные дела и сообщать о них куда следует. А тут явилась красивая молодая женщина с белокурыми пышными волосами и славными голубыми глазами. У нее муж, важный инженер, маленький сын. Вот она и осталась в Москве (обычная история: выходят замуж, чтобы не ехать на периферию, а еще завкадрами!). Мы с ней очень подружились, она верный помощник, — теперь уже вдова (муж погиб от острой лейкемии), недавно защитила кандидатскую диссертацию.

С самого начала работы в институте одним из отделений заведует Н. А. Ратнер, а другим — К. Н. Замыслова (в свое время — сотрудница Г. Ф. Ланга; тогда она была стройной девушкой, носила большую золотистую косу и крестик). Н. А. Ратнер же я помню еще по клинике М. П. Кончаловского. Тогда это была также очень интересная девушка. Теперь обе — доктора медицинских наук, почтенные дамы. К. Н. — очень серьезный человек, хороший педагог, немножко медленного склада ума. Н. А. быстро схватывает новое, хорошо воспринимает сложные идеи, энергична (может быть, излишне тороплива), в работах ее все гладко выглядит.

Я часто ловлю себя на предположении, читая опусы своих сотрудников, не пишут ли они, нарочито подлаживаясь под мои высказывания? Всегда ли строго соблюдается фактическая сторона работы? И не чересчур ли поспешны утверждения? Но работ проходит так много,



сам-то ведь их не проверишь.

Как-то при встрече в Москве со знаменитым Гансом Селье, сидя за обедом в канадском посольстве, мы в шутку обсуждали вопрос о том, какова доля лжи в научных работах.

Я не думаю, что это была самокритика. И может быть, ложь относительна. Иногда это ложь нарочитая, ее не так много. Чаще это ложь от увлечений, от предвзятости, субъективизм, авторское самообольщение и т.п. На первых порах работы в институте тенденция к преувеличению данных, якобы получаемых при исследованиях, были, к сожалению, не единичным явлением, и я, неопытный директор, попал впросак.

Так, при изучении выделения норадреналина с мочой была пущена в ход методика, никакого норадреналина в действительности не определявшая, а годная разве лишь к косвенной, качественной оценке этого вещества (а сделаны были широковещательные выводы). Группа сотрудников доложила о том, что во многих случаях при гипертонии в крови удается обнаружить ренин (в те годы ренин был в центре внимания). Я привел эти результаты в своих обзорных докладах в академии, на конференциях Всесоюзного общества терапевтов и опубликовал их, а позже оказалось, что мои сотрудники что-то там напутали и в дальнейшем перестали подобные результаты получать. А ведь слово — не воробей, вылетит — не поймаешь! Один из сотрудников, позже получивший целую самостоятельную лабораторию в одном из институтов Академии, сделал около десяти сообщений на тему о спектрофотографических исследованиях крови гипертоников; он их напечатал в солидных теоретических журналах, написал на их основе докторскую диссертацию, получившую положительную оценку специалистов в физике и химии из университета. При защите ему, правда, помогло сильное заикание (что возражать заике? все равно не дождешься ответа), а позже выяснилось, что исследования проводились только в самом начале работы, большая же часть данных взята с потолка. А я, между прочим, в своей монографии привел некоторые из этих данных *bene fidae* (правда, позже, когда книга переиздавалась на немецком языке в Германии, всю эту злосчастную главу я выбросил).

Первые годы в составе института был уже пожилой младший научный сотрудник, стремившийся в старшие; он старый член партии, был на фронте и все такое. С некоторых пор он без разрешения дирекции стал давать больным с гипертонией какие-то капли и вскоре представил графики, на которых были изображены результаты лечения, притом, конечно, блестящие. Способ свой он решил сделать секретным и состав капель оставить в тайне. К чести моего заместителя Черногорова, тот

приказал сообщить состав капель и в ответ на отказ взял да и объявил приказ о снятии сотрудника с работы. Капли оказались слабым раствором гистамина, эффект — просто липой. Возможно, при испытании многих так называемых гипотензивных лечебных средств проявлялось то же авантюристическое отношение. Его отчасти оправдывали лишь безвредность этих средств и их психотерапевтическое действие.

А один кандидат медицинских наук — вкрадчивая, липкая дама, наблюдавшая за эффектом при гипертонии снотворных средств, — в своей работе привела историю болезни не существовавших в институте больных, а в истории болезни лежавших вносила фиктивные отметки о назначении снотворных, в то время как кровяное давление у больных снижалось спонтанно — как это обычно наблюдается в связи с больничным режимом первое время.

Позже подобные махинации в жизни института, по-видимому, уже не имели места (хотя кто об этом может сказать? Ведь не сами же жулики, а контроль за научной работой затрудняется благодушием руководителей).

Институт первые годы занимался только проблемой гипертонии. Были разработаны вопросы нервной природы болезни, ее классификации, ее эпидемиологии, ее терапии. С появлением новых депрессорных препаратов вопрос об излечимости этой болезни стал приобретать все более и более утвердительное решение, и вместе с тем работы института стали получать лучшую оценку. На основании многочисленных исследований сотрудников института я составил свою монографию о гипертоической болезни, вышедшую из печати в 1954 году.

В дальнейшем круг вопросов в институте был расширен. Были развернуты исследования по проблеме атеросклероза, главным образом в направлении изучения активных факторов, которые изменяют степень и темп развития этого процесса (витамины, гормоны, липотропные вещества, нейрогенные препараты).

Ежегодно созывались научные конференции. Появилось немалое число диссертаций. История Института терапии заслуживает специального изложения. Я думаю, придет время, когда кто-нибудь из моих учеников ее специально напишет и хорошо проиллюстрирует.

Мне было уже приятно сознавать, что я активно участвовал в создании такого института, что это реальный вклад в важное для здравоохранения дело. Мои завистники первых лет жизни в Москве стали все больше и больше сдавать, вынужденные признать значение этого учреждения, приобретавшего все более широкую известность в нашей стране.

## Общественные события. Смерть Сталина

На сессии АМН в начале 1949 года меня выбрали академиком-секретарем Отделения клинической медицины, и я вошел в Президиум Академии. Президентом тогда был Н. Н. Аничков — известный патолог, автор холестериновой теории атеросклероза, ряда других крупных научных исследований, человек весьма авторитетный, известный хорошо в международной медицинской науке. Н. Н. был достойным президентом. Это был к тому же благожелательный, хорошо воспитанный человек, неспособный к бестактности или грубости. Иногда он казался слабохарактерным, нерешительным, как бы не имеющим своей точки зрения. Но в ту пору трудно было проводить свою точку зрения и быть решительным; каждый шаг даже в академической жизни надо было «согласовывать и увязывать» с министром (да еще с таким властным фанфароном, как генерал-полковник Е. И. Смирнов), а также с ЦК — с партийными чиновниками, которые не давали ответа сразу, а где-то там советовались (с начальником административного отдела) и потом давали ответ. Прямой провод, правда, давал возможность позвонить Молотову или Ворошилову (тогда они имели на своем попечении вопросы науки и медицины), но по своей скромности и некоторой боязливости беспартийного Н. Н. Аничков избегал прибегать к таким звонкам.

В ту пору с учеными обращались бесцеремонно. Часть ученых уже перебивала в тюрьмах и ссылках (например, бактериологи, которых систематически зажимали в 1933–1936 годах, предъявляя им фантастические обвинения; как-то один из наших блестящих бактериологов, Л. А. Зильбер<sup>[173]</sup>, сидевший три раза по обвинениям, по которым его надо было каждый раз расстреливать, рассказывал мне, что он спасся только решительными грубыми ответами, которые он давал следователю: «Ведь ты чушь, подписать которую вы мне даете, потом откроют — лошади, и те будут ржать от смеха и презрения по вашему адресу»).

Другая часть ученых была интернирована — работала, как в плену (и надо сказать, ей страна обязана многими замечательными достижениями в физике и технике). Про существовавших на свободе можно было сказать: может быть, только кажется, что они существуют. Поэтому и неудивительно, что Аничков, как и Президиум Академии в целом, были тогда в трудном положении.

Мы должны были, например, терпеть поток различных изобретателей-новаторов. Новатор — обычно безграмотный человек, отчасти нахал, отчасти истерик, цель его — прославиться и получить выгодную должность. Одни новаторы предлагают методы исследования, другие — способы лечения, третьи — теории. Часть методов исследования — прямой плагиат из иностранных источников, благо связь с западным миром почти прервана, журналы доступны немногим. Ведь даже цитировать иностранных авторов не полагалось: да редакция их имена все равно должна была вычеркивать, так как советская наука — передовая, первая в мире, и только несоветский человек может «преклоняться перед границей». Даже название некоторых диагностических признаков или методик стали «русифицироваться». Точку Эрба для выслушивания аортального диастолического шума переименовали в точку Боткина (который, ссылаясь на Эрба, указывал на ее значение); симптом Битторфа стал симптомом Тушинского, хотя сам Михаил Дмитриевич, ссылавшийся в своих работах на этот симптом как на симптом Битторфа, и не думал, конечно, его открытие приписывать себе. Появился «симптом Кончаловского», хотя это был признак, хорошо и всюду известный как симптом Румпель — Леде, и т.д. и т.п. Словом, наступила полоса «мокроступов» и «земленаук» — с той разницей, что шла не игра в переименование терминов на русский язык, а беззастенчивое ограбление интернациональной науки и воровское приписывание ее открытий отечественным ученым (конечно, без их согласия), своего рода шантаж под флагом патриотизма.

Еще до моего переезда в Москву разразилась история с открытием препарата от рака Ключевой и Роскина<sup>[174]</sup>. Ключева — хорошенькая женщина, талантливый микробиолог; ее доклад на Ревматологическом международном конгрессе на тему о стрептококковой этиологии болезни, сделанный к тому же на хорошем французском языке интересной молодой особой, отлично одетой и обутой, запомнили все присутствовавшие. Роскин — красивый мужчина, брюнет, похож больше не на ученого, а на актера или раввина, также профессор. Их препарат якобы приводил к обратному развитию ряда опухолей у мелких животных. Клиническая проверка была предпринята некоторыми онкологами-хирургами, в том числе моим однокурсником Нисневичем, бородачом Святухиным и прочими сомнительными личностями. Было объявлено, что новый препарат излечивает рак. Имена ученых-новаторов попали в официальные партийные документы. Средство должно было прославить советскую науку, страну социализма. Оно не должно было быть преждевременно

передано за границу. И вот академик-секретарь Академии и бывший замминистра здравоохранения по науке профессор В. В. Парин<sup>[175]</sup> во время своего пребывания в Соединенных Штатах сообщил об этом открытии на научном собрании. Он желал, конечно, блеснуть успехами советской науки (из патриотизма). По приезде сразу с аэродрома Парин был доставлен в Кремль, и сам Сталин заявил ему: «За сколько сребреников вы продали Родину?» После чего Парина прямо отвезли на Лубянку. Он сидел во Владимирской тюрьме около четырех лет. Конечно, всем было ясно, что Парин не мог, как неспециалист, продать «секрета открытия» (он, правда, получил какую-то небольшую сумму денег в долларах за лекции), да и, как вскоре выяснилось, нечего было продавать, — но осуждающее слово Сталина (а иногда и один грозный его взгляд) в то время было достаточным основанием для уничтожения человека, на каком бы уровне он ни находился и чем бы ни занимался.

Новаторы в области лечения бывали разного уровня. В такой роли выступали, например, довольно видные ученые или, по крайней мере, конструкторы, не имевшие медицинского образования, но воображавшие, что физика, техника, химия (точные науки) сами могут создать средства от болезней, а врачи пусть их применяют. Таково было предложение об аэротерапии, лечении содовыми ваннами (одно время сода из московских аптек, лабораторий и прачечных исчезла, так как все старики и старухи стали купаться в содовой воде, чтобы помолодеть), машинами, испускающими лучи или создающими вибрацию, и т.п. Дельные, вероятно, в своей специальности люди, вроде Никулина (академик!), назойливо, даже нахально, навязывали свои методы, всякую чушь.

Другая категория новаторов — темные личности, жучки, иной раз с врачебным или фельдшерским дипломом, но чаще без него. Они предлагали средства от гипертонии, склероза, от туберкулеза, от бронхиальной астмы, а особенно от рака. Нелепость этих предложений была очевидна, но нельзя было просто сказать об этом. Новаторы были признаны свыше, им покровительствовали, их даже противопоставляли «бюрократической», «консервативной» академической науке, в критических ответах медицинских специалистов видели кастовость, зажим инициативы, барское пренебрежение к народным талантам (ведь и вся ваша медицинская наука вышла из народной медицины — хорошенько проверьте и не фыркайте). Поэтому, хочешь не хочешь, надо было проверять, тратить время, занимать никчемным делом сотрудников институтов, а затем писать, писать... Потом, за новаторов заступались. Заступниками выступали министры и особенно видные члены ЦК, у которых якобы были больные

жены или родственники жен, излечившиеся новыми способами, тогда как ваша официальная медицина ни черта не помогла — а если защита шарлатанов шла от сотрудников НКВД, то тут уже создавалась политическая ситуация: отклонение предложений было, чего доброго, равносильно измене родине.

Удивительно живуча вера в знахарей среди нашей социалистической «интеллигенции»! Один таймынский дед чего стоит. Некая немка предложила лечить туберкулез каким-то снадобьем — это в эпоху стрептомицина! Она имела «руку» в Совете Министров. В Ленинграде до сих пор лечит рак солями кадмия проходимец, имеющий, правда, некоторое отношение к медицине (жена его — онколог); в его поддержку выступают в печати литераторы (правда, главным образом, женщины — Вера Кетлинская<sup>[176]</sup>, Коптяева<sup>[177]</sup>). Московские артисты лечатся у гомеопатов, гомеопат Мухин имеет богатейшую практику, собрал отличную коллекцию картин Рериха.

Наша академия, ее президиум не в состоянии изменить положение. Все зависит ведь от уровня самой медицины. До тех пор пока она не научится лечить еще не поддающиеся излечению болезни, неизбежны знахари или гомеопаты. А как только какое-либо заболевание начинает успешно излечиваться методами научной медицины — об этой ее заслуге забывают, точно ее и не было. В этом отношении показательно восприятие студентов. Начинаешь им расписывать о том, как был страшен, положим, миллиарный туберкулез или сепсис до эры антибиотиков — не слушают, считают это литературой: ну подумаешь, что было, то прошло. Зато публику привлекает хирургия: на воображение действует, как это можно влезть пальцем в сердце и разорвать спайки клапанов, а особенно — как это можно чуть ли не заморозить человека, сделать операцию и потом его оживить. Или экскорпоральное кровообращение, когда сердце заменяется насосами, накачивающими и откачивающими кровь, поступающую больному из жбанов. Публика воспринимает его или как чудо, или как спектакль. Подлинная наука не вызывает эмоций — важна картинность ее результата, действующая на воображение. По крайней мере, так в медицине.

Президиуму много доставляли неудобства теоретические достижения некоторых наших ученых-дилетантов. То является М. М. Невядомский и вытаскивает из кармана пробирку с возбудителем рака (он, может быть, уже стал сумасшедшим?), то мы вынуждены выслушивать безумную старуху Лепешинскую<sup>[178]</sup>, открывшую «живое вещество». Эта баба-яга,

оказывается, — соратница Сталина по партийной работе до революции, она попросила у него поддержки, и было дано «соответствующее указание». Лепешинскую быстро возвели в гении, ввели в Академию, дали специальную лабораторию. Вице-президент Академии Н. Н. Жуков-Вережников<sup>[179]</sup>, наш сосед по квартире, прочел об этом открытии не одну лекцию.

Нормальные ученые, знающие биологию, еще защищали клетку под напором «живого вещества», но вскоре их голоса почти заглохли, так как надвинулись грозные события в медицинской науке в виде разгрома «вирховианства» и торжества павловского учения. Несколько позже выяснилось, что исследования Лепешинской — вздор, за границей и до сих пор издеваются над всей этой глупой буффонадой. А Аничков и мы, члены Президиума, должны были помалкивать.

Тогда же появился на сцене Бошьян<sup>[180]</sup>. Этот преподаватель ветеринарного института объявил об открытии превращения одних микробов в другие. Он доказывал это рядом опытов, которые в дальнейшем были объяснены мошенничеством или невежеством. Тем не менее идея показалась заманчивой, соответствующей принципам диалектики; к тому времени Лысенко уже «ниспроверг» учение об устойчивости видов — и переход одних видов микробов в другие виды казался хорошо подтверждающим правильность мичуринского направления в биологии. Какой поразительный расцвет советской науки в послевоенный период: открыто «живое вещество», разрушена мертвая вульгарно-механистическая догма о клетке, разбиты реакционные разграничения видов в растительном и животном мире, чем раскрыто понимание видовых особенностей, постоянно совершенствующихся под влиянием внешней среды! Как все цельно и идеологически-методологически выдержано! Министр Е. И. Смирнов ликовал: «Бошьян сделал величайшее открытие периода советской медицины, так и можно доложить товарищу Сталину». Всех сомневающихся он разносил по-генеральски, иногда по матушке. Надо отметить, что некоторые микробиологи, недоученные НКВД в свое время, имели смелость публично возражать; в их числе был В. Д. Тимаков, член партии, в будущем — вице-президент АМН.

В августе 1948 года, как известно, в Москве состоялась сессия Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук на тему «О положении в биологической науке» с программным докладом Т. Д. Лысенко. Докладчик утверждал, что в биологии имеются две идеологии: реакционное учение вайсманизма-морганизма, отрицающее наследственную передачу

приобретенных в течение жизни признаков и объясняющее изменения организмов случайными превращениями «зародышевого вещества» путем самопроизвольных (аутохтонных) мутаций, и учение Мичурина, или «неодарвинизм», по которому приобретенные признаки передаются потомству (если они меняют обмен веществ). Затем в прениях выступили 56 ораторов. Прений, собственно, не было, ибо все знали то, что только в заключительном своем слове преподнес Лысенко: «ЦК партии рассмотрел мой доклад и одобрил его» (бурные аплодисменты, переходящие в овации, все встают). После чего Жуковский<sup>[181]</sup> и другие робкие приверженцы классических представлений поспешили пообещать, что они искупят свои вредные заблуждения дальнейшей честной работой.

Следом за этим последовали отзвуки в медицине. Сперва они касались лишь наследственности. Как по указке, мы все стали смазывать роль этого фактора в развитии заболеваний. Болезни суть следствия воздействий внешней среды. И полно, не абстракция ли гены? Монах Мендель, может быть, годится только для гороха. Не напрасно ли И. П. Павлов поставил этому, как он думал, гениальному человеку памятник около своей лаборатории? Это же схоластика; кто их, собственно, видел (ведь только позже увидели гены как абсолютную материальную реальность). Этот обскурантизм казался прогрессивным: с отменой генов и наследственных болезней мы как бы открывали дорогу профилактике этих болезней. К тому же советская медицина должна ставить перед собой исправление наследственных качеств — как в растениеводстве и животноводстве это уже осуществили Лысенко и его ученики.

Е. И. Смирнов, как увлекающийся министр, ночи напролет в своем кабинете рассуждал на эти темы с первым попавшимся профессором, зашедшим к нему на прием (таков был стиль тогда в партийно-правительственных сферах — работать ночами, покуда не отойдет ко сну товарищ Сталин, обычно в 3 часа ночи).

«Реакционность» менделизма-морганизма выводилась якобы из расистских тенденций, которые-де в нем заключены. Отвергая генотипическую предрасположенность, мы как бы очищаем науку от опасности расизма — ведь недаром Гитлер уничтожал «неполноценные расы» и будто бы ввел принудительное скрещивание людей. Собственно, многое в суждениях «мичуринцев» было вполне приемлемым и отвечало взглядам А. А. Остроумова, К. А. Тимирязева да и Дарвина. Но смешение науки с политикой, подозрительность к словам, окрики идеологов привели к тому, что испуганные биологи и медики стали вообще замалчивать все, что касается наследственности, и сократили эти разделы в учебниках и



лекциях. Хотя всякий понимал, что сын часто бывает в отца (если не в прохожего молодца), на каждом шагу мы видим у детей носы их родителей, а также их характер, подчас до малейшей черточки.

Мне, по поручению Президиума Академии, пришлось выступить с докладом на специальной сессии по данной проблеме, созванной в Свердловске. Кажется, я вышел из положения, и мой доклад, напечатанный сразу же в «Клинической медицине», сыграл отрезвляющую роль.

Вскоре нашу медицину стал нервировать нервизм. А. Д. Сперанский<sup>[182]</sup> первым решил воспользоваться триумфом Лысенко и возвысить себя как мессию в медицине. Его теория нервной трофики, правда, была уже давно изложена в увлекательно написанной книге и в специальном сборнике; но теперь Сперанский решил возобновить атаки на официальную эклектическую медицину. Его парадоксальные суждения были, конечно, заразительными, в них были и новые идеи. Но в целом теория встретила отпор. Всего больше критиковал А. Д. Сперанского И. В. Давыдовский. Некоторые из нас, клиницистов, также выступали с возражениями. Мне по этому поводу попало от министра, который в то время сразу сделался «сперансистом» и обвинил меня в дуализме и эклектизме (я-де признаю как значение нервной системы, так и гуморальных (гормональных) факторов, но примат-то чей? разве не нервная система контролирует все процессы, совершенствующиеся в нашем организме, в том числе и выработку гормонов? разве не она связывает организм человека с внешней средой — то есть определяет его как существо социальное? и т.д. и т.п.). Сперанский, впрочем, предлагал мне «работать с ним», от чего я тут же отказался. Он тогда имел вид не то Сталина в медицине, не то пьяного Распутина.

Конечно, сам А. Д. Сперанский, хотя и не производил приятного впечатления, еще импонировал своим оригинальным умом, остротой и образностью речи, блестящим методом экспериментирования. Позднее, познакомившись со знаменитым Гансом Селье<sup>[183]</sup>, я нашел между обоими учеными нечто общее, хотя А. Д. Сперанский казался мне несколько кустарным и нарочитым. Но подмастерья у мастера имели вид отталкивающий, в особенности некие Острый и Броневицкий. Они нахально выступали по сложнейшим вопросам клинической медицины, ничего в ней не понимая; визжали цитаты из лекций Боткина и Остроумова. Они поносили как реакционера в науке Вирхова, создателя современной патологии, они ругали «механистом» создателя химиотерапии Эрлиха,

отрицая специфичность инфекций и антиинфекционных средств, а величайшего гения человечества Луи Пастера считали идеалистом и вместе с тем грубым эмпириком. Вакцины и сыворотки инфекционных болезней они объявили примитивными; должен быть открыт единый принцип происхождения болезней, а стало быть, и единый принцип должен быть создан в виде общего метода лечения болезней. Такой принцип — нервная трофика, а такой метод — новокаиновая блокада в окологпочечную клетчатку или «метод буксации спинномозгового канала». Они были даны школой А. Д. Сперанского; наступила новая эра. Но нашу медицину поджидало и еще одно испытание. «Учение Сперанского», выдвинувшее принцип «ведущего значения нервной системы в патологии», натолкнулось на недовольство другого ученика И. П. Павлова — К. М. Быкова, который, несомненно, был более культурным и трезвым человеком, нежели его собрат по павловской лаборатории А. Д. Сперанский. Уж если нервизм должен быть основой медицины, сделал вывод К. М., то гораздо лучше подойдет для этого его кортико-висцеральная теория. Тем более что кортико-висцеральная доктрина прямо вытекает из сути павловского учения о высшей нервной деятельности. Ведь условный и безусловный рефлексы на отделение слюны, не говоря уже об отделении желудочного сока, — типичное проявление кортико-висцеральных взаимоотношений. Будет особенно убедительным вообще привлечение физиологического учения И. П. Павлова в качестве основы советской медицины. Ведь гений И. П. Павлова общепризнан. Его смелая идея свести психические процессы к рефлекторным реакциям (развивающая взгляд еще И. М. Сеченова) как нельзя более подходит в наше время торжества материалистической философии. И. П. Павлов своим учением хоронит идеализм и дуализм и таинственную работу больших полушарий головного мозга, саму человеческую мысль снижает с пьедестала непознаваемого, давая в руки ключ к ее физиологической позитивной расшифровке. Диалектическое единство «душевного» и «соматического» в кортико-висцеральной теории должно понравиться ЦК, может быть, Сталину.

Итак, решение принято. 28 июня 1950 года была созвана научная сессия Академии наук СССР и Академии медицинских наук, посвященная «проблемам физиологического учения академика И. П. Павлова». Она открывается речью президента Академии наук С. И. Вавилова. Вавилов начинает с цитаты из труда Сталина, относящегося еще к 1906 году: «Сначала изменяются внешние условия, изменяется материальная сторона, а затем соответственно изменяется сознание, идеальная сторона». «Эти положения Иосифа Виссарионовича Сталина, — говорил Вавилов, — в

самой общей форме предопределяют главный тезис учения Павлова о высшей нервной деятельности. Как бы отвечая на тезис товарища Сталина, Иван Петрович Павлов через много лет», — продолжает Вавилов и приводит ряд общеизвестных суждений Павлова. Закончил он свою речь словами: «Слава гению Павлова! Да здравствует вождь народов, великий ученый и наш учитель во всех важнейших начинаниях товарищ Сталин!» Те же слова пролепетал и И. П. Разенков, приплел вдобавок еще ссылки на новаторскую деятельность Мичурина и победу, одержанную Т. Д. Лысенко над вейсманизмом-морганизмом.

Сейчас смешно и противно вспоминать, как почтенные ученые, даже уважаемый президент Академии наук, могли приписывать полубезграмотному семинаристу идеи, предопределившие учение Павлова! Как его схоластику в области языкознания считали образцом научного творчества, великим примером движения науки вперед! Русский человек не знает меры даже в подлости.

Объединенная сессия двух академий имела большое влияние на состояние в последующие годы советской медицинской науки. С одной стороны, нельзя отнять у этого положительных сторон. Наши представления в вопросах патогенеза болезней стали шире. Роль нарушений нервной системы в развитии некоторых болезненных процессов была укреплена и расширена — и мы в Институте терапии еще более целеустремленно стали изучать ее при гипертонической болезни (продолжая линию Г. Ф. Ланга). Несомненно, во многих направлениях учение И. П. Павлова о высшей нервной деятельности, которым до того клиницисты, в сущности, не интересовались (и знали его плохо), оказалось источником новых плодотворных подходов. И я и до сих пор считаю себя нервистом, последователем учения Боткина — Павлова (и отчасти Быкова), хотя и стремлюсь избежать в этом смысле искусственных обобщений. Нервизм есть лишь один из аспектов нашего клинического мировоззрения; натягивать его на все явления патологии неправильно и не нужно.

С другой стороны, сессия принесла немало вреда. Навязанная доктрина подавила свободу научной мысли. Павловская схема привела к упрощенным взглядам (во всем виновата нервная система, нечего искать какие-либо другие болезнетворные причины; даже туберкулез не коховской вызван палочкой, а нарушениями кортико-висцеральных взаимоотношений; кора головного мозга виновата в развитии язвы желудка, бронхиальной астмы, атеросклероза, рака, даже гематологических форм; даже лейкоemia возникает от огорчений или неприятностей и т.д.). И клятвенное повторение новых догм, цитирование павловских текстов (вроде

Священного Писания или сочинений Маркса — Энгельса — Ленина — Сталина) стали общим стилем научных работ, а особенно диссертаций. Без кивков в соответствующем направлении уже не обходился ни один доклад.

Основной доклад — «Развитие идей И. П. Павлова» — сделал К. М. Быков. Как он мне сам говорил, доклад этот был просмотрен и одобрен в ЦК; в отдельных местах сделал пометки сам Сталин. Доклад был составлен интересно, и до сих пор его можно прочесть с пользой, как умный очерк замечательного учения и его значения для медицины. Неприятно резали только резкие выпады против Л. А. Орбели. Всем было ясно, что Орбели стал объектом, с одной стороны, личного ревниво-завистливого чувства, с другой стороны, был выбран жертвой. Надо было во что бы то ни стало найти противника, иначе что же за переворот, без борьбы?

Во втором вводном докладе А. Г. Иванова-Смоленского<sup>[184]</sup> критическая сторона была сильно сгущена. Докладчик нашел сонм врагов, с которыми, по указаниям, данным свыше, надо было расправиться. Одним из них оказался П. К. Анохин<sup>[185]</sup>. Как только не честил его А. Г. Иванов-Смоленский! Извращение павловского учения, стремление заменить его главные принципы метафизическим представлением о «функциональной системе» или «интеграции» и т.д. «Анохин окончательно сходит с павловского пути», — заявил Иванов-Смоленский при настороженном внимании аудитории. Попало и Бериташвили и Купалову, хотя и более мягко.

Потом последовали прения, в которых участвовал и я. Все выступления полностью печатались в «Правде». В целом они составили громадный том в 700 страниц. Через неделю сессия закончилась приветствием товарищу Сталину. В нем, между прочим, было сказано: «Как корифей науки, Вы, дорогой товарищ Сталин, создаете труды, равных которым не знает история науки. Ваша работа «Относительно марксизма в языкознании» — образец подлинного научного творчества, великий пример того, как нужно развивать и двигать науку вперед. Вы, товарищ Сталин, мощным светом своего гения озаряете путь к коммунизму. Мы горды и бесконечно счастливы, что Вы, дорогой Иосиф Виссарионович, стоите во главе мирового прогресса, во главе передовой науки». И т.д. и т.п. — в таком же стиле рабского низкопоклонства и неприличной лживой лести.

Практическим «вкладом» в медицину пресловутой сессии была терапия медикаментозным сном. Правда, ею и раньше занимались, главным образом в психиатрии. Но теперь, в 1950–1952 годах, она сделалась

панацеей от всех болезней. Министр Смирнов, постоянно вмешивавшийся в нашу науку (да он и был выбран действительным членом академии), в одном из своих двухчасовых докладов объявил: раз мы признали павловское учение единой основой медицины, мы должны логически прийти к необходимости создания и единого принципа лечения. Из учения Павлова следует, что сон, как ограничительное торможение, устраняет нарушения высшей нервной деятельности. А так как эти последние являются общей причиной любых патологических процессов (мы же монисты, есть одна ведущая причина), то, следовательно, терапия сном и должна являться общим, универсальным методом лечения болезней.

Лечение сном пошло в ход во многих клинических и больничных учреждениях. Открыли особые палаты для «сонной терапии». Были созваны конференции о результатах нового павловского метода лечения, в том числе Всесоюзная терапевтическая конференция в Ленинграде в 1952 году, сессия Отделения клинической медицины АМН в Рязани и многие другие. В больницах стремились ввести «охранительный» режим — тишину, «шепотную речь», сестры и врачи обули тапочки, чтобы не стучать ногами. Это была, безусловно, очень полезная сама по себе мера — ведь в наших больницах обычно шумно (к сожалению, как только к «развитию павловского учения в медицине» охладели, персонал стал опять кричать и шуметь). Был объявлен особый «павловский» подход к больному: в анамнезе следовало обращать внимание на нервные травмы, психоэмоциональное напряжение и т.п., терапевты вновь стали смотреть рефлексы, даже заглядывать в учебники неврологии; в обращении врачей, сестер и нянь с больными требовалось «чуткое и внимательное отношение» (как будто до «павловской» сессии и вообще когда бы то ни было оно не требовалось; но польза и в этом отношении, конечно, была несомненной). Стали стремиться к «типологической» характеристике нервной системы пациентов — как путем выяснения «черт личности» методом опроса, так и по оценке поведения пациента, его мимики, речи, движений. В специальных учреждениях, в том числе и в Институте терапии, разрабатывались методы объективной характеристики «типа нервной системы» больных при помощи плетизмографически исследуемых сосудистых рефлексов, электроэнцефалографии, речедвигательной методики по Иванову-Смоленскому. Стали уточнять, как действуют лекарства, особенно седативные и снотворные средства, в зависимости от особенностей высшей нервной деятельности.

Нельзя отрицать, что эти непривычные способы работы расширили клиническое представление врачей и послужили лучшему знакомству с

личностью пациентов, их индивидуальными особенностями. Однако вскоре наступило разочарование. Терапия сном редко помогала. Анализ «высшей нервной деятельности у постели больного» практически ни к чему не приводил — во всяком случае, не раскрывал сущности болезни. На одной же тишине далеко не уедешь. Между тем президиум АМН, особенно его член Иванов-Смоленский, и министерство призывали к «дальнейшему внедрению павловского учения в клинику». Врачи быстро почувствовали полный разрыв между внедряемой доктриной и подлинной медициной. А время шло быстро, в медицине за рубежом произошли крупнейшие события: открывались все новые и новые, более совершенные антибиотики, новые витамины и гормоны (в том числе кортизон), гипотензивные препараты, предлагались смелые хирургические операции на сердце и т.д. Идея о внедрении павловского учения, аннексировавшая советскую научную медицину, привела к серьезной потере темпов в других важнейших областях, к значительному отставанию от медицинской науки за рубежом.

Общая обстановка жизни складывалась различно. В международной жизни не ощущалось опасного напряжения; Сталин умел говорить кратко, но веско, строго, но миролюбиво. В экономическом отношении появлялись иногда проблески: например, дважды снижались цены на продукты и некоторые товары. Повсюду строили дома, в том числе, по указанию Сталина, в Москве стали возводиться высотные здания (можно спорить об их архитектуре, находить ее тяжеловесной и аляповатой, но все же эти дома придали приземистой Москве более современный вид).

Плохо было по-прежнему в сельском хозяйстве. Колхозы, по крайней мере в северной полосе Союза, жили бедно. Мы ежедневно бывали на даче и могли видеть «вымирающие деревни» (выражение А. И. Шингарева в дореволюционный период). Для стройки новой дачи мы ездили за 100 верст в какое-то село. Боже, до чего нищими были председатель колхоза и другие жители (еды нет, грязь, скученность)!

Побывали мы (я, ребята и Левик) в Красном Холме — на машине через Тверь (Калинин) и Бежецк. Сама поездка была поэтической: русская природа, церковки, воспоминания детства. Но деревни! Покосившиеся, почерневшие избы, вместо стекол — доски, приусадебных участков нет, нет ни садилов, ни огородов, ни заборов, ни скота. Красный Холм также являл картину запустения и разорения. Сталин ничего не понимал в сельском хозяйстве, никуда из Кремля не выезжал, всего боялся (очевидно, хорошо отдавал себе отчет в реальности того общего восхищения и той самозабвенной любви, которые, по речам, резолюциям и газетам, к нему

питал народ), может быть, он поэтому даже плохо знал обстановку, тем более — под гипнозом победных реляций о выполнении планов и в чаду подхалимажа. Сталин поручал сельское хозяйство то Андрееву, то Хрущеву<sup>[186]</sup>. Колхозники должны были все сдавать государству, так как их обязательства рассчитывались по фиктивным планам, которые не могли быть реализованными. Налоги с каждой курицы, козы, свиньи, яблони, гряды картофеля душили их.

(Хрущев еще ухудшил положение своим нелепым прожектом слияния колхозов в крупные объединения — в так называемые агрогорода. Так как при этом должны были объединить и весь скот, то его порезали. Затею, впрочем, вскоре отменили, и следствием ее было только то, что в деревнях не осталось коров и на последующие годы исчезло молоко, а особенно навоз (позже пришлось ЦК принимать специальные развернутые решения о навозе). Но город за счет деревни жил несколько лучше. Недаром туда бежал народ из колхозов, особенно молодежь; вскоре в деревне остались старики и дети да присылаемые по партийной линии руководители, не имевшие ни опыта, ни знания, ни желания сельскохозяйственной работы.)

Сталин торжественно совершил, кажется, лишь одну поездку в Грузию, где его соплеменники устроили ему триумфальный прием, дрожа за свои шкуры, а его верный помощник великий визирь Берия свел счеты кое с кем. Затем Сталин посетил овеянный победами Черноморский флот, крейсер «Кавказ» (на котором во время войны мы были), снялся с экипажем, усевшись рядом с грузным адмиралом Октябрьским. Грузия все время получала от Сталина отеческую помощь. С приближением смерти человека тянет побывать на родине и вспомнить детство.

Тяжелые тучи сгущались над интеллигенцией. Как и до войны, все чаще и чаще стали ползти слухи о вредительстве, измене Родине, а особенно об американских и английских шпионах. Потом пошли аресты. Раз опять стали прибегать к арестам (первые годы после войны наступила кратковременная передышка, или так казалось), следовательно, должны были быть причины. Так, арестовали видного биохимика Збарского<sup>[187]</sup> (и его сына), профессора I МОЛМИ. Он был одним из тех, кто бальзамировал тело Ленина. Одни говорили, что это за то, что он допустил гниение вождя народов (чего не было). Другие — что он просто английский шпион. Но почему, собственно, ему быть шпионом? Чудная квартира в доме правительства, академическая зарплата, дача, машина. «Разве вы не знаете, что он выдал ряд секретных открытий оборонного значения?» Были люди, которые даже верили в то, что Збарский был просто-напросто спекулянт,

скупал золото и валюту и вывозил за границу. Как легко плебею забыть о том, что это был крупнейший, преданный родине ученый, которым надо было гордиться и которого надо было беречь!

Осенью 1952 года разразилась тяжелая для врачей катастрофа. В короткий срок были арестованы ряд крупных профессоров, в том числе В. Н. Виноградов. Еще за две недели до того он выступал по поводу своего семидесятилетия и благодарил отца родного Сталина. Одновременно был арестован П. И. Егоров<sup>[188]</sup> — начальник Главсанупра Кремля, ряд других терапевтов, отоларингологов, невропатологов, в том числе Б. С. Преображенский<sup>[189]</sup> (в будущем, как и Виноградов, Герой Социалистического Труда), А. М. Гринштейн<sup>[190]</sup> с женой Н. А. Поповой<sup>[191]</sup> (я только что с нею летал в Баку лечить Багирова<sup>[192]</sup>, местного султана, то есть секретаря ЦК Азербайджана, направо и налево расправлявшегося с неугодными, гноившего в тюрьмах местную интеллигенцию именем Сталина, как его друг, соратник и наместник).

Мой товарищ еще по университету, Мирон Семенович Вовси, талантливый клиницист, генерал, лечивший маршалов, главный терапевт Красной Армии во время Великой Отечественной войны, тактичный, осторожный и преданный Родине человек, действительный член АМН, редактор журнала «Клиническая медицина», был также арестован. Еще накануне, после окончания бюро отделения Клинической медицины в Академии, он, отведя в сторону, сообщил слухи об аресте врачей; вид у Вовси был, естественно, расстроенный, да и я был охвачен тревогой ожидания каких-то грозных событий, нависших над нами. Далее последовали многочисленные аресты врачей в Москве и в других городах, особенно среди евреев.

Затем последовало сногшибательное официальное сообщение, охватившее всех ужасом. В нем от имени правительства сообщалось, что органами государственной безопасности раскрыта террористическая группа врачей-вредителей. Эта группа ставила своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активных деятелей Советского Союза. Следствием-де было установлено, что жертвами врачей-убийц пали товарищи Жданов<sup>[193]</sup> и Щербаков<sup>[194]</sup>. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание и, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный режим и тем самым умертвили Жданова. Неправильным применением сильнодействующих лекарств врачи-убийцы сократили жизнь товарища А. С. Щербакова, доведя его до



смерти (читая эти строки, я тогда же вспомнил, что Щербакова лечил Г. Ф. Ланг, но имя его, к счастью, не было названо, — так же, как в свое время — в период «вредительского лечения» А. М. Горького). Следствием-де точно установлено, что подлые убийцы состояли на службе у иностранных разведок и, являясь их наемными платными агентами, вели подрывную террористическую деятельность. Большинство участников террористической группы врачей — Вовси, Гринштейн и другие — были куплены американской разведкой, завербованы ее филиалом — международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт»<sup>[195]</sup>. На следствии Вовси будто бы заявил, что он получил директиву об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шимелиовича<sup>[196]</sup> (главного врача Боткинской больницы). Другие участники группы — Виноградов и Егоров — являлись, оказывается, старыми агентами английской разведки и выполняли ее самые гнусные задания. В сообщении еще говорилось, что разоблачение шайки подлецов-врачей явилось «сокрушительным ударом по американо-английским поджигателям войны».

Чудовищный характер «дела врачей», «убийц в белых халатах», естественно, всех взбудоражил. Арестованных, конечно, ждала смертная казнь. От родственников их отшатывались, как от зараженных чумой. Во всех медицинских учреждениях принимались резолюции, клеймившие вечным позором вредителей, осквернивших священное знамя науки, медицины. На заседании президиума мы понуро повторяли официальную версию (один только старик Георгий Нестерович Сперанский<sup>[197]</sup> сказал, что ему трудно поверить во вредительство Виноградова). Я на заседании Московского терапевтического общества, как оставшийся председателем, должен был также повторить газетное сообщение (хотя в душе ни минуты ему не верил и считал себя поэтому просто трусом, если не подлецом; но ведь в ту минуту сказать, что все это ложь, казалось, значило погибнуть). Я, правда, старался только повторить газетные строки и не высказывать моего личного к ним отношения.

Какова техническая сторона фабрикации «дела врачей-убийц», я толком не знаю. Метод, принадлежавший «корифею науки» Сталину, применялся уже бесчисленное множество раз, и этот раз отличался лишь скандальным своим характером; вредителями оказались виднейшие врачи, к тому же лечившие самих вождей. Говорили, что началось с разногласий в оценке электрокардиограмм, с жалобы какой-то особы (врача Кремлевской больницы Тимашук<sup>[198]</sup>) на умышленное небрежение к ее диагнозам со

стороны профессоров, оказавшей такую услугу государству (эту дуру наградили орденом Ленина и ввели как почетного члена в состав президиума Московского терапевтического общества).

Говорили еще, что была проведена какая-то экспертиза — будто бы изучались записи консультаций в историях болезни и были найдены улики, подтверждавшие версию о неправильном, пагубном лечении. В числе таких экспертов называли даже Куршакова<sup>[199]</sup>, а также вызванных Сталиным грузин — профессоров М. Д. Цинамдзгвришвили<sup>[200]</sup> и Н. А. Кипшидзе<sup>[201]</sup>, его однокашников по семинарии, дескать, народ надежный. Достоверно обо всем этом мне лично неизвестно.

Можно, впрочем, себе представить, что в обстановке террора в кабинетах НКВД наши уважаемые профессора могли сделать все, что от них требовалось. Ведь даже и арестованные, как об этом они мне сами рассказывали, опровергали возведенные на них обвинения только первые дни; правда, их били по физиономии и по различным частям тела и ругали как последних негодяев — нервы и не выдерживали. Были и стояния часами перед следователем или сидения все ночи напролет под допросом без сна. В. Н. Виноградов мне говорил, что он подписал обвинительный акт уже после первых допросов, чтобы больше не мучили, — и его оставили в покое, даже книги стали приносить в камеру. Упорство проявил В. Х. Василенко. Арестовали его в поезде в Москву из Китая, где он был на консультации ряда руководящих работников, в том числе Мао Цзэдуна. В Пекине проводили с почетом, а привезли на Лубянку. Василенко стойчески выдерживал мучения и так и не подписал свой фантастический обвинительный акт, поэтому он был доведен до последней степени истощения.

Невольно задумываешься над вопросом, кому и зачем нужна была фабрикация именно этого дела? Ведь невыгодно перед всем миром представить положение в стране социализма так, как будто мы вернулись ко времени Борджиа, что видные ученые-врачи на тридцать пятом году революции решили отравить, как крыс, передовых деятелей государства? Вместе с тем было вредным посеять в обществе панику, недоверие к врачам (действительно, положение врачей вообще в эти мрачные месяцы было крайне тяжелым, в каждом из нас видели потенциального убийцу, а в Кремлевской больнице отношение к врачам сопровождалось еще презрением и угрозами). Оговорки, что основная масса врачей, конечно, честно работает и предана государству, действовали несколько успокоительно, но, поскольку у больных не могло быть диагностического

критерия, каков его врач — честный человек или убийца (ведь и те профессора рядились в личину), моральное положение наше стало скверным. Правда, больные в большинстве своем инстинктивно не слишком поверили правительству и партии. Так, ни в клинике, ни в институте лично мне не приходилось испытывать в это время проявлений недоверия; но мои сотрудники-евреи от этого сильно страдали.

Кстати, «дело врачей» резко раздуло в нашей стране антисемитизм. Говорили, что «дело врачей» было создано работниками НКВД (по способу, уже испытанному в период ежовщины) для того, чтобы запугать Сталина, держать его в таком состоянии, чтобы он ценил органы безопасности. История должна выяснить, однако, не было ли обратной картины: может быть, сам Сталин подсказал пустить в ход этот мнимый заговор, как это он делал раньше при инсценировке других сходных процессов. Впрочем, история, как я уже говорил, — плохой судья и всегда лжет в угоду начальству. Тем более в покойника можно при желании вбить кол любого обвинения, и не потому, что мертвые сраму не имут (очень даже имут), а потому, что иным живым живется только тогда хорошо, когда становится плохо лежать некоторым мертвым (и их даже вытряхивают вон из могил, ибо и могилы могут мешать).

Поздно вечером 2 марта 1953 года к нам на квартиру заехал сотрудник спецотдела Кремлевской больницы. «Я за вами — к больному хозяину». Я быстро простился с женой (неясно, куда попадешь оттуда). Мы заехали на улицу Калинина, там ждали нас еще профессор Н. В. Коновалов (невропатолог) и Е. М. Тареев, и помчались на дачу Сталина в Кунцево (напротив нового университета).

Мы в молчании доехали до ворот: колючая проволока по обе стороны рва и забора, собаки и полковники, полковники и собаки. Наконец мы в доме (обширном павильоне с просторными комнатами, обставленными широкими тахтами; стены отделаны полированной фанерой). В одной из комнат были уже министр здравоохранения (новый, А. Ф. Третьяков<sup>[202]</sup>; Е. И. Смирнов был еще в декабре снят в связи с ревизией министерства правительственной комиссией и перешел вновь в военное ведомство на прежнее амплу начальника Военно-санитарного управления), профессор П. Е. Лукомский<sup>[203]</sup> (главный терапевт Минздрава), Роман Ткачев<sup>[204]</sup>, Филимонов<sup>[205]</sup>, Иванов-Незнамов<sup>[206]</sup>.

Министр рассказал, что в ночь на 2 марта у Сталина произошло кровоизлияние в мозг с потерей сознания, речи, параличом правой руки и ноги. Оказалось, что еще вчера до поздней ночи Сталин, как обычно,

работал у себя в кабинете. Дежурный офицер (из охраны) еще в 3 часа ночи видел его за столом (смотрел в замочную скважину). Все время и дальше горел свет, но так было заведено. Сталин спал в другой комнате, в кабинете был диван, на котором он часто отдыхал. Утром в седьмом часу охранник вновь посмотрел в скважину и увидел Сталина распростертым на полу между столом и диваном. Был он без сознания. Больного положили на диван, на котором он и пролежал в дальнейшем все время. Из Москвы из Кремлевской больницы был вызван врач (Иванов-Незнамов), вскоре приехал Лукомский — и они с утра находились здесь.

Консилиум был прерван появлением Берии и Маленкова<sup>[207]</sup> (в дальнейшем они всегда приходили и уходили не иначе как вдвоем). Берия обратился к нам со словами о постигшем партию и народ несчастье и выразил уверенность, что мы сделаем все, что в силах медицины. «Имейте в виду, — сказал он, — что партия и правительство вам абсолютно доверяют, и все, что вы найдете нужным предпринимать, с нашей стороны не встретит ничего, кроме полного согласия и помощи».

Эти слова были сказаны, вероятно, в связи с тем, что в это время часть профессоров — «врачи-убийцы» — сидела в тюрьме и ожидала смертной казни. На следующий день было опубликовано первое правительственное сообщение о болезни Сталина, о «привлечении для лечения товарища Сталина лучших медицинских сил — с перечислением наших фамилий и званий; упомянуто было также, что «лечение Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального Комитета КПСС и Советского правительства».

Сталин лежал грузный; он оказался коротким и толстоватым, обычное грузинское лицо было перекошено, правые конечности лежали как плети. Он тяжело дышал, периодически то тише, то сильнее (дыхание Чейн-Стокса). Кровяное давление — 210/110. Мерцательная аритмия. Лейкоцитоз до 17 тысяч. Была высокая температура, 38 с десятыми, в моче — немного белка и красных кровяных телец. При выслушивании и выстукивании сердца особых отклонений не отмечалось, в боковых и передних отделах легких ничего патологического не определялось. Диагноз нам представлялся, слава богу, ясным: кровоизлияние в левом полушарии мозга на почве гипертонии и атеросклероза. Лечение было назначено обильное: введение препаратов камфары, кофеина, строфантина, глюкозы, вдыхание кислорода, пиявки — и профилактически пенициллин (из опасения присоединения инфекции). Порядок лечебных назначений был регламентирован, но в дальнейшем он все больше стал нарушаться за счет укорочения сроков между впрыскиваниями сердечных средств. В

дальнейшем, когда пульс стал падать и расстройства дыхания стали угрожающими, кололи через час, а то и чаще.

Весь состав консилиума решил остаться на все время, я позвонил домой. Мы ночевали в соседнем доме. Каждый из нас нес свои часы дежурства у постели больного. Постоянно находился при больном и кто-нибудь из Политбюро ЦК, чаще всего Ворошилов, Каганович, Булганин [208], Микоян.

Третьего утром консилиум должен был дать ответ на вопрос Маленкова о прогнозе. Ответ наш мог быть только отрицательным: смерть неизбежна. Маленков дал нам понять, что он ожидал такого заключения, но тут же заявил, что он надеется, что медицинские мероприятия смогут если не сохранить жизнь, то продлить ее на достаточный срок. Мы поняли, что речь идет о необходимом фоне для подготовки организации новой власти, а вместе с тем и общественного мнения. Тут же мы составили первый бюллетень о состоянии здоровья И. В. Сталина (на 2 часа 4 марта). В нем имелась заключительная фраза: «Проводится ряд терапевтических мероприятий, направленных на восстановление жизненно важных функций организма». Тем самым в осторожной форме выражалась надежда на «восстановление», то есть расчет на некоторое успокоение страны. Тем временем всем членам ЦК и другим руководителям партийных и советских органов был послан вызов срочно прибыть в Москву для обсуждения положения в связи с предстоявшей смертью главы государства.

Болезнь Сталина получила, конечно, широчайший отклик в нашей стране и за рубежом. Но, как говорится, от великого до смешного — один шаг. В медицинских учреждениях — Ученом совете министерства, президиуме Академии, в некоторых институтах — были созваны совещания для обсуждения того, как помочь в лечении Сталина. Вносились предложения о тех или иных мерах, которые предлагалось направлять консилиуму врачей. Для борьбы, например, с гипертонией советовали способы лечения, разработанные в Институте терапии (и мне было смешно читать мне самому направленные мои же рекомендации). Прислали описание метода лекарственного сна, а между тем больной был в глубоком бессознательном состоянии — сопоре, то есть спячке. Профессор Неговский [209] предлагал лечить расстройства дыхания аппаратом искусственного дыхания, разработанным им для спасения утопающих и отравленных угарным газом, — его машины даже втащили в дом, но, увидев больного, автор не стал настаивать на своем методе.

С почтой шли трогательные обращения и письма. В адрес консилиума

врачей выражалась вера в спасение жизни гениального вождя, отца и учителя, мольба об этом, изредка с акцентом грозного требования, хотя чаще в духе доверия и уверенности в силу советской медицины. Молодые офицеры и красноармейцы предлагали свою кровь для переливания — всю до капли, и некоторые писали, что, не колеблясь, готовы отдать свое сердце («Пусть хирурги вырежут мое молодое сердце и вставят товарищу Сталину»).

Интересно отметить, что до своей болезни — по-видимому, последние три года, — Сталин не обращался к врачам за медицинской помощью, во всяком случае, так сказал нам начальник Лечсанупра Кремля. За несколько лет до того на своей даче под Мацестой Сталин заболел гриппом — у него были Н. А. Кипшидзе (из Тбилиси) и М. М. Шилов, работавший в Бальнеологическом институте в Сочи. Рассказывали, что Сталин был суров и недоверчив. Он, по-видимому, избегал медицины. В его большой даче в Кунцеве не было даже аптечки с первыми необходимыми средствами; не было, между прочим, даже нитроглицерина — и если бы у него случился припадок грудной жабы, он мог бы умереть от спазма, который мог быть устранен двумя каплями лекарства. Хоть бы сестру завели под видом горничной или врача под видом одного из полковников — все-таки человеку 72 года! С каких пор у него гипертония, тоже никто не знал (и он ее никогда не лечил). Очень милая Светлана, его дочь, интеллигентная и симпатичная молодая жена Ю. А. Жданова<sup>[210]</sup> (сына Жданова, доцента-химика, заведовавшего отделом науки ЦК), рассказывала, что на ее просьбы показаться врачам «папа отвечал категорическим отказом». Тут же я вспомнил слова, сказанные Сталиным Г. Ф. Лангу, когда тот жил у больного Горького: «Врачи не умеют лечить. Вот у нас в Грузии много крепких столетних стариков, они лечатся сухим вином и надевают теплую бурку».

Светлана Иосифовна приглашала нас к обеду и ужину и старалась своей простотой и сдержанной любезностью не вносить ни излишней натянутости, ни мрачного молчания.

Обедал с нами также К. Е. Ворошилов, показавшийся мне также симпатичным старым папашей, озабоченным болезнью близкого человека.

Сталин дышал тяжело, иногда стонал. Только на один короткий миг, казалось, он осмысленным взглядом обвел окружающих его. Тогда Ворошилов склонился над ним и сказал: «Товарищ Сталин, мы все здесь твои верные друзья и соратники. Как ты себя чувствуешь, дорогой?» Но взгляд уже ничего не выражал, опять сопор. Ночью много раз казалось, что он умирает.

На следующее утро, четвертого, кому-то пришла в голову идея, нет ли вдобавок ко всему инфаркта миокарда. Из больницы прибыла молодая врачиха, сняла электрокардиограммы и безапелляционно заявила: «Да, инфаркт». Переполох! Уже в «деле врачей-убийц» фигурировало умышленное недиагностирование инфаркта миокарда у погубленных-де ими руководителей государства. Теперь, вероятно, мы у праздничка. Ведь до сих пор мы в своих медицинских заключениях не указывали на возможность инфаркта, а заключения уже известны всему миру. Жаловаться на боли, столь характерный симптом инфаркта, Сталин, будучи без сознания, естественно, не мог. Лейкоцитоз и повышенная температура могли говорить и в пользу инфаркта. Консилиум был в нерешительности. Я первый решил пойти ва-банк: «Электрокардиографические изменения слишком монотонны для инфаркта — во всех отведениях. Это мозговые псевдоинфарктные электрокардиограммы. Мои сотрудники по ВММА получали такие кривые в опытах с закрытой травмой черепа. Возможно, что они могут быть и при инсультах». Невропатологи поддержали: возможно, что они мозговые, во всяком случае, основной диагноз — кровоизлияние в мозг — им достаточно ясен. Несмотря на самоуверенный дискант электрокардиографички, консилиум не признал инфаркта. В диагноз был, впрочем, внесен новый штрих: возможны очаговые кровоизлияния в мышце сердца в связи с тяжелыми сосудодвигательными нарушениями на почве кровоизлияния в базальные ганглии мозга.

Утром пятого у Сталина вдруг появилась рвота кровью; эта рвота привела к упадку пульса, кровяное давление упало. И это явление нас несколько озадачило: как его объяснить? Для поддержки падавшего давления непрерывно вводились различные лекарства. Все участники консилиума толпились вокруг больного и в соседней комнате в тревоге и догадках.

От ЦК дежурил Н. А. Булганин. Я заметил, что он посматривает на нас подозрительно и, пожалуй, враждебно. Булганин блестел маршалскими звездами на погонах; лицо одутловато, клок волос вперед, борода — немножко похож на какого-то царя Романова или, может быть, на генерала периода Русско-японской войны. Стоя у дивана, он обратился ко мне: «Профессор Мясников, отчего это у него рвота кровью?» Я ответил: «Возможно, это результат мелких кровоизлияний в стенке желудка сосудистого характера в связи с гипертонией и мозговым инсультом». «Возможно? — передразнил он неприязненно. — А может быть, у него рак желудка, у Сталина? Смотрите, — прибавил он с оттенком угрозы, — а то у вас все сосудистое да сосудистое, а главное-то и про...» (он явно хотел

сказать «провороните» или «прошляпите», но спохватился и закончил: «Пропустите»).

Весь день пятого мы что-то впрыскивали, писали дневник, составляли бюллетени. Тем временем во втором этаже собирались члены ЦК; члены Политбюро подходили к умирающему, люди рангом пониже смотрели через дверь, не решаясь подходить ближе даже к полумертвому «хозяину».

Помню, Н. С. Хрущев, коротенький и пузатый человечек, также держался дверей, во всяком случае, и в это время иерархия соблюдалась: впереди — Маленков и Берия, далее — Ворошилов, потом — Каганович, затем — Булганин, Микоян. Молотов был нездоров, гриппозная пневмония, но он два-три раза приезжал на короткий срок.

Объяснение желудочно-кишечных кровоизлияний записано в дневнике и вошло в подробный эпикриз, составленный в конце дня, когда больной еще дышал, но смерть ожидалась с часу на час.

Наконец она наступила — в 9 часов 50 минут вечером 5 марта.

Это был момент, конечно, в высокой степени знаменательный. Как только мы установили, что пульс пропал, дыхание прекратилось и сердце остановилось, в просторную комнату тихо вошли руководящие деятели партии и правительства, дочь Светлана, сын Василий и охрана. Все стояли неподвижно в торжественном молчании долго, я даже не знаю сколько — около 30 минут или дольше. Свершилось, несомненно, великое историческое событие. Ушел из жизни вождь, перед которым трепетала вся страна, а в сущности, в той или иной степени, — и весь мир. Великий диктатор, еще недавно всесильный и недосягаемый, превратился в жалкий, бедный труп, который завтра же будут кромать на куски патологоанатомы, а в дальнейшем он будет лежать в виде мумии в Мавзолее (впрочем, как оказалось потом, недолго; затем он превратится в прах, как и трупы всех прочих обыкновенных людей). Стоя в молчании, мы думали, вероятно, каждый свое, но общим было ощущение перемен, которые должны, которые не могут не произойти в жизни нашего государства, нашего народа.

В напечатанном на следующий день во всех газетах обращении ЦК, Совета Министров и Верховного Совета СССР было сказано: «Имя Сталина — бесконечно дорого для нашей партии, для советского народа, для трудящихся всего мира. Вместе с Лениным товарищ Сталин создал могучую партию коммунистов, воспитал и закалил ее; вместе с Лениным товарищ Сталин был вдохновителем и вождем Великой Октябрьской социалистической революции, основателем первого в мире социалистического государства. Продолжая бессмертное дело Ленина,



товарищ Сталин привел советский народ к всемирно-исторической победе социализма в нашей стране. Товарищ Сталин привел нашу страну к победе над фашизмом во Второй мировой войне, что коренным образом изменило всю международную обстановку. Товарищ Сталин вооружил партию и весь народ великой и ясной программой строительства коммунизма в СССР. Смерть товарища Сталина, отдавшего всю свою жизнь беззаветному служению великому делу коммунизма, является тягчайшей утратой для партии, трудящихся Советской страны и всего мира. Весть о кончине товарища Сталина глубокой болью отзовется в сердцах рабочих, колхозников, интеллигентов и всех трудящихся нашей Родины.

Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества».

Но что-то должно обязательно произойти в нашей жизни, притом к лучшему. Неужели не придет наконец в нашу жизнь дух свободы и нормальной безопасности?

6 марта в 11–12 часов дня на Садовой-Триумфальной во флигеле во дворе здания, которое занимает кафедра биохимии I МОЛМИ, состоялось вскрытие тела Сталина. Из состава консилиума присутствовали только я и Лукомский. Были типы из охраны. Вскрывал А. И. Струков<sup>[211]</sup>, профессор I МОЛМИ, присутствовал Н. Н. Аничков, биохимик профессор С. Р. Мордашев<sup>[212]</sup>, который должен был бальзамировать труп, патологоанатомы профессора Скворцов, Мигунов, Русаков.

По ходу вскрытия мы, конечно, беспокоились: что с сердцем? откуда кровавая рвота? Все подтвердилось. Инфаркта не оказалось (были найдены лишь очаги кровоизлияний), вся слизистая желудка и кишок была усеяна также мелкими геморрагиями. Очаг кровоизлияния в области подкорковых узлов левого полушария был величиной со сливу. Эти процессы явились следствием гипертонической болезни. Артерии головного мозга были сильно поражены атеросклерозом; просвет их был очень резко сужен. «Результаты патологоанатомического исследования, — было сказано в заключении, — полностью подтверждают диагноз, поставленный профессорами-врачами, лечившими И. В. Сталина. Данные патологоанатомического исследования установили необратимый характер болезни И. В. Сталина с момента возникновения кровоизлияния в мозг. Поэтому принятые энергичные меры лечения не могли дать положительного результата и предотвратить роковой исход».

Немного жутко и забавно было видеть, как плавали в тазах с водой вынутые из Сталина внутренности — его кишки с содержимым, его печень.

Sk transit gloria mundi!<sup>[213]</sup>

Организация похорон была возложена на комиссию под председательством Н. С. Хрущева. Было принято постановление поместить саркофаг с телом Сталина в Мавзолей на Красной площади рядом с саркофагом В. И. Ленина. Теперь мы знаем, что тот же Н. С. Хрущев выставил потом этот саркофаг из Мавзолея вон. Tempora mutantur!<sup>[214]</sup>

Был объявлен траур по всей стране в дни 6, 7, 8 и 9 марта. В Колонном зале Дома союзов непрерывно проходили москвичи. В почетном карауле у гроба стояли Г. М. Маленков, Л. П. Берия, В. М. Молотов, К. Е. Ворошилов, Н. С. Хрущев, Н. А. Булганин, Л. М. Каганович, А. И. Микоян. На созванном экстренном пленуме ЦК они уже распределили себе руководящие посты: Председателем Совета Министров стал Маленков, а его заместителями — Берия, Молотов и Каганович. Председателем Президиума Верховного Совета был назначен Ворошилов. Секретарями ЦК были утверждены Хрущев, Игнатьев<sup>[215]</sup>, Поспелов<sup>[216]</sup>, Шаталин<sup>[217]</sup>. Было признано необходимым, чтобы Хрущев Н. С. сосредоточился на работе в ЦК КПСС, и в связи с этим его освободили от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС. Действительно, Хрущев быстро «сосредоточился» на работе в ЦК, как показали дальнейшие события, а Маленков, став премьером, упустил важнейший рычаг власти, что в дальнейшем и привело к его краху.

Сильный склероз мозговых артерий, который мы видели на вскрытии И. В. Сталина, может возбудить вопрос, насколько это заболевание, несомненно, развившееся на протяжении ряда последних лет, — сказывалось на состоянии Сталина, на его характере, на его поступках. Ведь хорошо известно, что атеросклероз мозговых сосудов, приводящий к нарушению питания нервных клеток, сопровождается рядом нарушений функций нервной системы. Прежде всего со стороны высшей нервной деятельности отмечается ослабление процессов торможения, в том числе так называемого дифференцировочного, — легко себе представить, что в поведении Сталина это проявлялось потерей ориентации в том, что хорошо, что дурно, что полезно, а что вредно, что допустимо, что недопустимо, кто друг, а кто враг. Параллельно происходит обострение черт личности: сердитый человек становится злым, несколько подозрительный становится подозрительным болезненно, начинает испытывать идеи преследования — это полностью соответствует поведению Сталина в последние годы жизни. Мне кажется, при оценке известных исторических личностей необходимо не только чисто

литературное или психологическое их описание, но анализ с медицинской точки зрения; ведь все они так или иначе, болеют, по крайней мере, под конец их жизни, и именно с болезнью может в какой-то степени быть связано их поведение. Полагаю, что жестокость и подозрительность Сталина, боязнь врагов, утрата адекватности в оценке людей и событий, крайнее упрямство — все это создал в известной степени атеросклероз мозговых артерий (вернее, эти черты атеросклероз утрировал). Управлял государством, в сущности, больной человек. Он таил свою болезнь, избегал медицины, боялся ее разоблачений.

Склероз сосудов мозга развивался медленно, на протяжении многих лет. У Сталина были найдены очаги размягчения мозга очень давнего происхождения. Как известно, при этом заболевании умственное восприятие может совершенно не страдать или страдать мало. Поэтому такие старики могут сохранять многие проявления умственной деятельности на должной высоте — другие же стороны психической сферы (особенно эмоциональные реакции) могут сильно меняться.

Конечно, нет сомнений в том, что Сталин был предан идеям партии и воображал, что все, что он делал, он делал на пользу советского государства.

Подумать только, как тяжело переживали многие граждане смерть этого человека! Сколько искреннего чувства, сколько печали проявили они — несомненно, искренне. Некоторые женщины из рабочих, из членов партии, из комсомола все дни траура плакали. Большинству было, впрочем, все равно. Все люди смертны. Нет Сталина — будет кто-нибудь другой, например Маленков (впрочем, странно, что не Молотов, по совести, должен был быть преемником все же Молотов, а?).

Три или четыре дня по радио передавали траурную музыку. Красивую музыку — Шопена, Бетховена, Чайковского, Баха, Моцарта. Я слушал ее по вечерам. Мне, конечно, не было жалко Сталина, но мне уже тогда было жалко, что так быстро проходит жизнь.

Прошла жизнь, в связи со смертью диктатора, и нескольких десятков (или сотен) москвичей: в первый же день после смерти громадные толпы народа двинулись к центру Москвы, к Дому союзов. На Трубной и Неглинной произошла страшная давка, колонны людей столкнулись между собой. Люди падали, их топтали ногами, как в свое время было на Ходынке.

Символична сама параллель. Эта трагическая история была характерным венцом покойнику.

## Приезды и отъезды

В годы, когда я был ординатором и ассистентом клиники, было важно получить возможность посмотреть заграничные клиники и поучиться методам работы в их научных лабораториях. К сожалению, мне это не удалось. Тогда все больше и больше опускался «железный занавес». Во время войны я был в Финляндии и Германии, но то были особые условия. Лишь после переезда в Москву, а особенно после смерти Сталина, стали все больше расширяться возможности заграничных поездок. За эти годы — до составления данной главы — мне удалось побывать в 20 странах мира, в некоторых из них повторно. Часть этих поездок шла «по линии Лечсанупра Кремля», некоторые — туризма, но большинство в виде командировок на научные конгрессы или по другим научным заданиям.

Поздней осенью 1951 года я вместе с И. М. Эпштейном<sup>[218]</sup> (моим однокурсником, а ныне профессором-урологом I МОЛМИ) вылетели на специальном самолете (салон, кровати) в Софию в связи с болезнью Георгия Димитрова. Нас привезли в его резиденцию — загородный дворец бывшего короля Фердинанда; Георгий Димитров — герой истории с Рейхстагом, знаменитый деятель компартии, секретарь ЦК Болгарской коммунистической партии и председатель Совета Министров — был болен циррозом печени с асцитом. Мне он понравился как человек. Он был прост, сердечен. Лицо его чем-то напоминало кавказские лица (да и болгары вообще мне показались похожими не то на грузин, не то на армян), только глаза были совсем другие, светлые, серые и как бы излучали свет; сияние этих глаз говорило о душевной чистоте и вместе с тем пронизательности. Говорил он по-русски, но охотнее — по-немецки (он ведь долгое время жил в Германии, а в России — мало).

Парк уже терял свою листву. Иногда дорожки перебежали олень или косули. Дворец был в эклектическом тяжеловесном стиле. Неприятны были террасы и переходы. За завтраком, обедом и ужином (всегда очень вкусными) с нами была жена Димитрова, показавшаяся мне еврейкой, дама образованная и любезная; вечером приходили Червенков<sup>[219]</sup> (долговязый, властный брюнет, неразговорчивый, в дальнейшем — секретарь ЦК, а потом, после смерти Сталина, отставленный), его жена Елена Михайловна, сестра Димитрова, имела вид русской сельской учительницы, маленький Югов, тогда из НКВД<sup>[220]</sup>.

На консилиумы приходил профессор Ташев, очень симпатичный,

казавшийся мне очень молодым; он специалист по печени (в частности, уже тогда занимавшийся аспирационной биопсией). С ним и его женой, очень милой молодой женщиной, бактериологом, мы побывали в Софии в ресторане и в театре. В театре шли оперы с участием замечательного певца, только что возвратившегося из Италии.

София — приятный город, но ничем особенным не привлекла мое внимание. Нам показали памятники, посвященные Русско-турецкой (освободительной) войне.

Побывали мы в болгарских селах, даже на свадьбах (процедура весьма оживленная и многолюдная: национальные костюмы, подарки, заунывная восточнославянская музыка, танцы). Были в горах, в охотничьем замке бывшего царя, и т.д.

Димитрова, после переговоров с Москвой, решили переправить в Барвиху. Погрузились в наш самолет рано утром, в темноте, для того чтобы не видел народ или не дошло об этом событии до заграничной прессы (а почему, собственно, такая секретность, типичная для того времени вообще при подобных медицинских делах, я до сих пор не могу понять). В Москве Димитров еще болел около полугода, а потом умер. Между прочим, в асцитической жидкости наши лаборанты (Абрикосова) нашли «раковые клетки», но мы не сбились с диагноза, и на вскрытии оказался только цирроз, рака не было.

Следующей была поездка через год, поздней осенью 1952 года, в Бухарест на сессию Румынской академии наук. Кроме меня, поехал еще В. Н. Черниговский<sup>[221]</sup>. Мы должны были сделать доклады о павловском учении. К этому времени в Румынии произошло такое же утрирование и упрощенчество этого вопроса, что и у нас вслед за пресловутой объединенной сессией двух Академий. Воспитанные на западноевропейской медицине, румынские клиницисты и физиологи стали в тупик; политический же нажим, идущий из Москвы, здесь меньше чувствовался.

Нас встретили замечательно: к самолету вышел старый академик Пархон<sup>[222]</sup>, крупнейший эндокринолог; этот старик был давно уже очень левых убеждений; был председателем Румынского национального собрания, а затем — Общества румыно-советской дружбы. Нас встречали собравшиеся на аэродроме академики-медики, министр, представитель ЦК, наш посол.

Поселили нас во дворце, недалеко от арки победы, в саду. У каждого было по две комнаты. Я разговаривал с Инной в Москве по телефону,

находившемся на столе, на котором последний румынский король подписал отречение от престола (а потом сбежал, улетев на самолете с верным ему экипажем). Мылись мы в роскошной ванной королевы. Каждый день были обильные пиршества, дворцовые повара готовили изысканные блюда — французские, турецкие, русские, румынские. Пили лучшие румынские вина. Всегда было оживленное общество из высокопоставленной интеллигенции.

На сессии академии нас усадили в президиум и потом слушали наши длинейшие доклады, в которых мы поучали румынских коллег, как надо правильно понимать павловское учение и его «внедрение в клинику». Конечно, никто, как и у нас, не возражал.

Потом мы посетили медицинские учреждения. Больше всего мне понравился Даниелопулу<sup>[223]</sup>. Это автор давно и хорошо мне известной монографии о грудной жабе (вышедшей во Франции и переведенной у нас), в которой излагается «мышечная теория» этой болезни.

Согласно данной теории, грудная жаба возникает при перенапряжении миокарда. В целом теория не может быть принята, но фактор перенапряжения миокарда в патогенезе грудной жабы, несомненно, играет роль, как это позже и мы в Институте терапии специально выяснили. Даниелопулу известен и другими важными работами — о дигиталисе, о вегетативной нервной системе (в частности, он предложил специальный метод ее исследования — проба с атропином до выключения вагуса). Оказался он обаятельным человеком, живым и остроумным, подвижным. Ему было уже около 70 лет, но дать ему их было нельзя; видно было, что он нравится женщинам, вокруг него в институте вился целый цветник хороших румынок. В сущности, это был больше француз, чем румын (большую часть жизни жил в Париже).

Посетили мы и Институт эндокринологии профессора Пархона — громадное специальное здание; в ту пору институт занимался еще обычными работами, и ничто, казалось, не предвещало антисклеротической новокаиновой Ани Аслан<sup>[224]</sup>. Милейший профессор Лупу<sup>[225]</sup>, с которым приходилось говорить по-французски (как и, впрочем, почти со всеми другими — ведь румынский язык имеет общую с французским латинскую основу; это, в сущности, романский язык с примесью славянских и молдавских слов), показывал свой Институт терапии; сам он занимался вопросом о вреде табака (гм!), кроме того, был любитель вопросов педагогических и, наконец, входил в какой-то высший правительственный орган как депутат.

Вообще пришлось убедиться в высоком уровне организации медицинской науки в Бухаресте. В Институте неврологии (профессор Крейндель) мы видели павловские камеры, точную оптику; в Институте вирусологии (профессор Николау<sup>[226]</sup>) — поучительные исследования по проблеме гепатитов (выделение особой формы) и т.д. Мы познакомились и с видным хирургом Бартоломеем<sup>[227]</sup>; он нам рассказывал, как еще совсем недавно он ходил в этот самый дворец к королю, а «теперь я красный».

Бухарест на меня тогда не произвел особого впечатления — может быть, из-за плохой погоды (дождь и мокрый снег).

После сессии Академии мы на машине отправились в Трансильванию — в Клуж. Сперва мы проехали Плоешти — район нефтяных вышек, далее местность стала более возвышенной. Довольно бедные деревни, очень похожие на украинские (в каждой портреты: Сталина — крупный, Георгиу-Дежа — поменьше; может быть, был какой-то наш официальный праздник, я не помню, но культ личности Сталина в Румынии мне показался еще более превышавшим меру приличия, нежели в нашей собственной стране). Румынский сельский пейзаж очень хорошо отражен в картинах Григореску, блестящего импрессиониста. Потом пошли Карпатские горы, вначале невысокие, мягкие, покрытые пышным лесом, затем ущелья стали глубже, горы круче и выше, гигантские ели и грабы подымались из узких пропастей ввысь; мне показались они очень стройными и какими-то чистыми.

Затем — Синай, курорт. Мы остановились в вилле Академии наук (обычного европейского типа). В горах за ночь выпал снег, на фоне синего прозрачного неба утром они сияли на солнце. Мы заехали в большой замок бывшего короля — псевдоготического типа с бесчисленными залами и отделениями, обставленными в разном стиле (французский Луи Каторз, английский, японский, арабский, амбир, шведский и т.п.). В замке часто жила Кармен-Сильва, королева-поэтесса (я вспомнил, что в детстве я читал ее какие-то сентиментальные стихи и повести); судя по портретам, довольно привлекательная особа. Она часто бывала и в Петербурге у царя. Носительница русской ориентации в этой стране, сопротивлявшаяся влиянию Австро-Венгрии.

Затем мы перевалили хребет, красивый спуск нас привел в совершенно другую страну, еще недавно часть Австро-Венгрии — Трансильванию.

Селенья здесь богаче, каменные постройки в южно-немецком стиле, готические силуэты костелов, на перекрестках дорог — статуи Божией Матери, распятия Христа и разбойников. Поля хорошо возделаны, сады.

Вскоре — большой город Брашов. Прекрасный готический собор, интересная средневековая крепость (она же дворец) у подножия горы Тымпа.

Вскоре еще такой город — Сибиу. Узкие улочки меж старых домов в стиле поздней готики и барокко. Мы мчимся быстро, весело, румынские спутники — народ острый, немного иронизируем насчет стандартной политики, особенно в области школы, науки.

Наконец — Клуж. Очень приятный город, много старинных зданий, на центральной площади у громадного кафедрального собора и красивой ратуши — памятник венгерскому герою Ракоци, сражавшемуся с немцами за независимость Венгрии.

Мы посетили медицинский факультет университета, были в клинике почтенного, чисто немецкого по воспитанию и по облику профессора Хатигану, мне хорошо известного по литературе (работы по желтухе) и автора большого учебника диагностики, который он мне подарил; были и на кафедре физиологии у профессора Брантано: женат на русской, говорит по-русски. Он талантливый экспериментатор (показывал свой интересный опыт с живой головой: голова отделена от туловища в гуморальном отношении — оставлена только связывающая голову с туловищем нервная система). Таким образом, в этих условиях можно изучать котико-висцеральные взаимоотношения без прямого участия гуморальных передаточных агентов, притом в острых наглядных опытах.

По возвращении в Бухарест поездом мы были приняты Кишиневским<sup>[228]</sup> — тогда это был второй после Георгиу-Дежа<sup>[229]</sup> человек по партийной линии; он говорил по-русски (еврей?). Казалось тогда, что он повелитель страны. Но судьба его оказалась плачевной после Берии, и жив ли он сейчас — не знаю. Вообще, в Румынии партийные страсти были накалены (часть лидеров сидела за правый уклон, в том числе деятельница Коминтерна Анна Паукер<sup>[230]</sup>). Мне пришлось в специальной больнице провести медицинскую консультацию актива, в том числе и Георгиу-Дежа (симпатичный и, как мне показалось, довольно простой человек красивой наружности). Многие годы они томились в тюрьмах, здоровье и было в той или иной мере расстроено. Наиболее важным (важничавшим) мне показался Константинеску<sup>[231]</sup> — потом и он был свергнут. У Киву Стойки<sup>[232]</sup>, в дальнейшем многие годы бывшем председателем Совета Министров, мы обедали; он мне понравился своей демократичностью и приветливостью. Румынские руководящие работники мне не понравились только одним: подчеркнутой зависимостью (даже раболепием) по



отношению к Сталину.

Несколько особняком держался тогда Петру Гроза<sup>[233]</sup>. Он был национальным героем, инициатором выхода Румынии из Союза с Германией и дружбы с Москвой. Гроза был председателем верховного органа страны — нечто вроде президента. Давно ли то был крупнейший помещик, богач, либерал — теперь он левый, даже коммунист. Мы познакомились с ним в «Атенеум» на симфоническом концерте под управлением Джорджеску, отличного дирижера; фортепьянную партию листовского концерта блестяще исполняла женщина. В камерной вещи Кодаши пленили какие-то особые, нам неизвестные инструменты, национального происхождения, издававшие восточные, пряные звуки.

Петру Гроза в антракте стоял в фойе, нас представили, он говорил с нами по-немецки, извинившись, что был непредусмотрителен в свое время и не научился русскому языку — теперь уже он стар, не научись. «Но кое-чему я все же от русских научился, особенно политике». После концерта он предложил пойти в музей (концерт был дневной и рано кончился). Это напротив — во дворце короля. «Между прочим, я устроил этот музей. У короля, впрочем, была хорошая картинная коллекция».

Музей в огромном светлом дворце разместился отлично. В нижнем этаже — румынская живопись, скучные старые портреты Амана, отличные импрессионистские пейзажи Лукиана, Григореску, Нетрашку, современные художники, в том числе выразительный Баба. В верхнем этаже — иностранцы, в том числе громадный Эль Греко (гордость музея), несколько картин Брейгеля.

Обратно в Москву мы возвращались поездом (нелетная погода). До Ясс нас провожали любезные хозяева. В Яссах (городе, уже очень похожем на русские города) мы почему-то посетили собор, в котором была похоронена какая-то часть Потемкина-Таврического (я уже не помню всей истории). До границы мы поехали уже одни.

Пограничную станцию Румынии прошли беспрепятственно (любезно проверили наши визы и все), но на русской пограничной станции нас выпроводили из вагона, согнали в переполненное зало, где негде было не только присесть, но и стоять. Мы с трудом дотащили наши чемоданы до столов, за которыми стояли пограничники и потрошили багаж. Со мной все сошло благополучно, пожилой человек спросил, кто я и зачем ездил в Румынию, попросил открыть мой чемодан, но его не осматривал, а вот с Черниговским вышла история: его чемодан попался молодой бабенке в форме пограничника, она вытащила из чемодана белье, купленное в подарок молодой жене, туфли и кофты, считала, не превышают ли они

норму, и в заключение заявила: «Я накладываю арест на ваши апельсины, их ввоз в СССР запрещен» (нам дали по десятку отличных палестинских апельсинов в дорогу). Она вытащила их все до одного и рассовала часть в свои карманы, да еще вдобавок, точно в насмешку, тут же стала сдирать с одного шкуру и быстро чавкать. Кроме того, она задержала патефонные пластинки (нам подарили по набору с национальной музыкой): «Потом, когда все переиграем, проверим, пришлем вам в Москву» (мои пластинки, как и апельсины, мой пограничник не тронул).

В дороге я дразнил В. Н. апельсинами (впрочем, поделился с ним, конечно). По моим наблюдениям, наши пограничники в те времена действовали хаотично и глупо, в каждом гражданине искали или вора, или шпиона (только позже, начиная с 1960 года, и у нас научились, по крайней мере в Москве, обходиться культурно).

В Румынии я побывал еще несколько раз. Это были поездки по медицинской линии (осмотры актива). Прием был всегда замечательный. Петру Гроза вскоре заболел. Сперва это было сердечное заболевание; мы были с Лукомским на консультации у него в имении за Карпатами; там мы познакомились с румынским кардиологом профессором Илиеску, в будущем часто посещавшим Москву. Гроза не верил в свое сердечное заболевание, «я каждый день по утрам взбираюсь вон на ту гору» (гора действительно, как мы убедились на своем опыте, была высокая), «тут что-то другое». Через год это «другое» выяснилось. Оказался рак кишечника, была сделана операция, и меньше чем через год Гроза умер.

В его обширном доме — целая выставка писанных маслом различными художниками его портретов. Сейчас, когда у меня на даче висит несколько моих портретов, я вспоминаю почему-то жизнерадостного и насмешливого П. Гроза. Но у него в Бухаресте был дворец (президента), он историческая фигура, а я?

Затем я побывал в Венгрии (был приглашен туда на съезд медицинского общества имени Кораньи, собранный в Дебрецене). Кроме меня, были еще гости — профессор Александров из Польши и профессор Нигушек из Чехословакии. Александров на вид был совсем русский, да и фамилия, он заведует кафедрой терапии в Варшаве; профессор Нигушек — галантный господин, ухаживающий за женщинами, легко и много танцующий, он гематолог, раньше был в России в чешских войсках в Сибири, говорит по-русски с немецким акцентом. Александров сделал доклад по-французски (а не по-русски, как я ожидал).

Хотя я не входил в разговоры на политические темы, чувствовалось общее раздражение Ракоши<sup>[234]</sup>, ставленника Сталина, из-за его жесткой

политики, особенно по вопросу сельского хозяйства. Шел глухой протест против попыток коллективизации.

В Будапеште в магазинах были очереди. Дороговизна. Хотя первомайский парад прошел хорошо, дефилировали войска и колонны празднично одетых демонстрантов со знаменами о Ленине, Сталине и т.п. и с приветствиями в адрес СССР, наш посол мне сказал уже тогда, что обстановка крайне напряженная, «венгры нас не любят».

Правда, я не ощущал на себе этой «нелюбви». Президент Академии Русняк<sup>[235]</sup> был весьма дружественным, он сам терапевт, что сблизило нас.

С большой теплотой я вспоминаю другого венгерского клинициста — Гезу Гетени<sup>[236]</sup>. Это был немного скептик, популярный врач. Работал он в области гастроэнтерологии и болезней обмена, уделял большое внимание вегетативной нервной системе и стремился восстановить ее значение в том потоке кортикальных и кортико-висцеральных словословий, которые хлынули сюда из Советской России. Умер Гетени через год после поездки к нам в Москву в 1956 году на съезд терапевтов, где мы подружились. Его клиника в Сегеде энергично занималась различными новыми методами исследования.

После смерти Сталина стали оживляться связи с западным миром (снят был «железный занавес»). Появилась возможность поездок на научные конференции или в качестве туристов. Отбор в состав делегаций или туристских групп был достаточно строгий. Кроме рекомендаций партийных комитетов учреждений и района, нужно было быть женатым, иметь хорошую репутацию, не быть евреем (за малыми исключениями), не иметь родственников за границей и, наконец, иметь «блат».

Блат вообще вошел в нашу жизнь как деньги, как положение (впрочем, и оно часто определялось блатом). По благу (по старой терминологии — по протекции) можно было попасть в вуз, выдержав экзамены на пятерки (а иначе поставили бы четверки, с которыми по конкурсу уже не проходишь), по благу можно было достать товары (от холодильника до филе или интересной книги), по благу можно было устроиться на службу и попасть на спектакль. С течением времени стали появляться и другие, обычные возможности, но и до сих пор наша жизнь во многом идет с помощью блата.

Яркой полосой жизни показалась мне поездка в Париж в апреле 1954 года. Наше министерство получило в том году приглашение послать делегатов на «медицинские дни Франции и Французского союза».

Моим спутником вновь оказался В. Н. Черниговский. С нами поехал и работник иностранного отдела Минздрава Попов под видом переводчика, хотя из всех иностранных языков он знал только немецкий, как он сообщил о себе, — но и эти познания ограничивались возможностью спросить лишь: «Sprechen Sie Deutsch?», что для поездки во Францию было очень, конечно, кстати.

Мы не без основания сочли, что он должен за нами присматривать в столице соблазнов. Но вскоре выяснилось, что скорее мы должны были охранять от соблазнов его. Так, вместо осмотра Лувра он ходил по каким-то лавчонкам и на рынок для покупок по дешевке часов (вечером он показывал свои трофеи на каком-то там числе каких-то камней). Помню, что эта дешевая дрянь разоблачила себя как раз тогда, когда уже поздно было ее менять, а именно в обратном самолете в Москву часы остановились.

Погоня за дешевыми шмотками, особенно женского назначения, — это болезнь наших путешественников. Она даже заражает персонал посольства. Конечно, посол СССР во Франции С. А. Виноградов — почтенный человек и дипломат, к нему это не относится, как и к очень любезной даме, его супруге (нас приняли в посольстве приветливо). Но меня удивило, что жены сотрудников посольства мало интересуются той прекрасной страной, в которую их занесла судьба. Они не учили (по крайней мере, в то время) ее языка, не посещали музеев, не знакомились с ее великой культурой, их дети не обучались французскому языку. Жили замкнуто, варились в своем собственном соку. Но что шло оживленно — это покупки. Наши дамы быстро ориентировались, где, что и как покупать. Они складывали покупки — белье, одежду, обувь, ткани — в чемоданы и постепенно переправляли с оказией домой. В Москве какие-то подставные женщины их продавали. Конечно, сказанное относится отнюдь не ко всем, а только к некоторым.

В Париже, с другой стороны, и грешно не покупать. На то он и Париж, особенно для женщин. И мы тоже походили по магазинам; с плохим языком и в старомодного покроя костюмах и широкополых шляпах (и брюках клеш) мы выглядели, конечно, довольно смешно. В следующие поездки за границу я уже был одет как следует, но многие долго продолжали шокировать жителей Запада своим допотопным видом.

Париж, конечно, нас сразу очаровал. Серо-голубая дымка, окутывающая небосклон, ласковое майское солнце, цветущие каштаны по набережным Сены, мосты, сверкающие огнями в зеркале ее вод по ночам, прекрасные дома благородной архитектуры, залитые светом бульвары,

оживленная и элегантная людская масса, открытые рестораны со столиками на тротуарах, заполненными веселой публикой, молодежью. Я заметил и старых мужчин, сидевших в одиночку за стаканом вина; они, очевидно, просто любовались молодыми женщинами и вспоминали былые годы. В студенческой компании на Монмартре в бистро можно было видеть вместе с француженками и молодых негров или арабов — тогда нам показалось, что между теми и другими нет розни, а царит общая счастливая теплота юности.

Кстати, в одном из таких ресторанов мы решили поесть устриц и знаменитых зеленых улиток (не гренауй). Мне показалось и то, и другое отвратительным, но В. Н. Черниговский их с удовольствием съел (в том числе и мою порцию). Посетили мы также и «Казино де Пари». Программа состояла из множества представлений легкого, но все же приличного жанра. Правда, показывали большое число голых молодых женщин, у них прикрито было только определенное место, но оно прикрито было сверкающим золотым цветком, отчего еще больше привлекало внимание мужчин. Эти голые женщины вертелись, плясали, купались в море. Фривольный характер носила сцена у художницы, которая заставляла раздеваться натурщика, да еще история, как граф, вернувшись из похода, застал в постели свою жену с любовником — глупая картина: один мужчина — в стальных рыцарских доспехах, другой — голый (со слегка видимой повязкой у чресел). Более изящна сцена, изображавшая молодую женщину, сидящую на скамье у статуи Аполлона; вдруг она видит, как Аполлон сходит с пьедестала, подходит к ней, начинает снимать с нее платье с кринолином, потом раздетую уносит за сцену, затем возвращает ее на место, а сам вновь становится статуей. Оказывается, все это был сон — эротический сон маркизы. Стены зала в этом представлении были увешаны картинами в золотых рамках, изображавшими в различных положениях женщин. Эти обнаженные женщины в рамках по временам шевелились — это были живые красотки.

Но мы были и в Гранд-опера, смотрели ряд спектаклей, в том числе «Оберон» Вебера, который я раньше никогда не видел. Мне показалось, что он поставлен слишком пышно и немножко делано — вермишель из ряда вещей Вебера; смешны были летающие по небу на проволоке феи и духи. Но публика мне понравилась: мужчины в черных фраках, женщины в изящных туалетах, каких у нас в Москве тогда еще не было (а царский период театров я уже забыл.) Сам театр хуже Большого, наш стройнее и строже. Оркестр точен, голоса, как и у нас, плохи.

Что касается Лувра, то тут уже трудно найти слова. «Джоконда» мне

понравилась, хотя говорили, что она темна и ее значение преувеличено. Нет, не преувеличено. Недалеко от нее висят и другие произведения Леонардо. Чудо — маленький Вермеер, а также «Елизавета Австрийская» Клуа. Все же экспозиция не очень удачна — темновато. Во французском отделе Давид скучен, сух; Энгр хорош только в портретах; Жерико жесток, его «Плот Медузы» просто противен; лошади хороши.

Я никогда не мог понять, почему так восхищаются Делакруа. Конечно, в содержании его картин много романтики, великолепна сила экспрессии, но они не создают у меня настроения, которое я всего более ценю в живописи, — а именно радости смотреть. Радость от одного зрительного восприятия — вот что определяет, мне кажется, уровень произведений художника (но вместе с тем и зависит, конечно, от самого смотрящего, от его уровня культуры и духовной организации). Поскольку я не люблю категорий грубой физической силы, мне и не нравятся сильные зады коней, рычащие злобой звери, в том числе и львы (хотя, между прочим, не могу не признать, что львы у Делакруа довольно симпатичны и немного одухотворены). Даже прекрасная картина, посвященная революции, мне чем-то напоминает бесконечную вереницу (конечно, более тусклых и грубых) полотен, изображающих у нас Гражданскую, а потом Отечественную войну. Все эти исторические и в особенности батальные шедевры остаются, конечно, вкладом в нашу культуру, имеют свое познавательное и воспитательное значение, но я не люблю их смотреть, и все тут! Не выношу в картинах и трупов или мертвецов. Чувство эстетическое заслоняется отвращением к смерти, как бы ни поэтизировали и идеализировали этот неизбежный мрачный акт.

В связи со сказанным понятна моя нелюбовь к портретам неприятных людей (например, Ивана Грозного — будь то Головина, будь то Васнецова, будь то Соколова-Скаля), и зато удовольствие от портретов молодых красавиц и благородных стариков. Отсюда же вытекает мой интерес к изящным этюдам «Мира искусства», к ярким пятнам Матисса, даже к бессмысленным пестрым и вольным мазкам и произвольным контурам «абстракционистов» (если они красивы, а если некрасивы, это уже чепуха). Но я понимаю, что понятия «красиво», а что «некрасиво» субъективны, а потому в живописи и среди ее поклонников не может быть никогда единства.

Барбизонцы мне понравились, так как отражают виды природы (которая почти всегда красива). Пусть это виды природы Франции — тем лучше, так как это вносит в ваше привычное восприятие природы нечто новое (отсюда любовь к путешествиям).

Но еще лучше — импрессионисты. Я понимаю, почему весь мир помешался на них и стоимость их произведений на аукционах превзошла цены на мировых классиков. Это не мода, а существо современного вкуса — наш порыв к свободе, чему-то неуловимо общему, изменчивому.

Из более новых художников Франции я особенно почитаю Ван Гога и А. Марке и совершенно не люблю Пикассо.

В залах антиков Лувра была устроена встреча участников «Медицинских дней». У подножия Венеры Милосской — чудесно освещенной в специальном мраморном зале — как бы алтаре — мы ели сэндвичи и пили вино. Мы-то с В. Н. Черниговским пьем почему-то лимонад, в связи с тем на следующее утро в одной из газет был помещен снимок. «Советские врачи пьют только лимонад вместо наших прекрасных французских вин». Впрочем, в другой газете был помещен снимок, зафиксировавший момент, когда с нами пил вино президент конференции известный профессор и любезный хозяин Камиль Лиан<sup>[237]</sup>.

Кстати, Лиан нас пригласил и к себе домой. Был обед, на котором присутствовали некоторые французские ученые и их жены. Я помню, с моей соседкой мы обсуждали вопросы живописи. Она была поклонницей левых, хулила старую школу, делала гримасу скуки при имени Добиньи и даже Курбе. На вопрос, знает ли она хотя бы одного русского художника, она заявила, что в России ведь нет живописи, ни одного имени наших художников она не могла вспомнить. А вот «ваша музыка прекрасна, лучшая в мире, начиная от Чайковского и кончая Прокофьевым. Литература — да, Толстой, Достоевский, Тургенев, Чехов. Пушкин? Да, был такой, переводил Мериме, кажется, или Байрона, да, Байрона, «Дон Жуана». Они нас пригласили к себе — на ее еще холостую квартиру-мансарду, которая сохранялась в Париже на всякий случай.

В маленькой квартире за бургундским вином беседа стала откровеннее. Отчего нет у них детей? Неуверенность друг в друге. Да и бог знает, что будет с моей фигурой. А действительно, фигура у нашей хозяйки вселяла в нас чувство восхищения, если не вожделения. А ведь любовь, не правда ли, лучшее, что есть на земле. Материнство? Да, это, конечно, очень важно, но больше с общественной точки зрения. У нас во Франции теперь велят рожать, то есть призывают иметь побольше детей. Вы разве не видели по улицам мамаш и папаш, гордо везущих детские колясочки с двумя или даже тремя малышами? Это теперь очень шикарно. Франция должна иметь большое население как великая страна. Все считают, что у нас нравы слишком свободны. Нет, мы просто решили в этих вопросах поменьше обманывать друг друга. Ложь — в прошлом, среди бесправного

общества, при всякого рода деспотизме в Азии. А как у вас? Говорят, у вас трудно развестись? Потеряешь даже место работы? Фи! Разве свобода в любви так противоречит коммунизму, а ложь — нет? Говорят, в первые годы после революции при Ленине прокламировали свободу в любви, а Сталин ее запретил. А разве государство может вмешиваться в эти чисто личные вопросы жизни, тем более чувство?

Приятно было посещение семьи племянника М. Кашена доктора Кашена, отоларинголога. Он нас покатал на своей машине по городу, потом повез на ужин к себе. Его милая жена говорит по-русски. У них двухкомнатная квартира на пятом этаже, но в первом этаже, кроме того, — лечебница, две-три комнаты, в которых доктор ведет свой частный прием. Интересно, что частная практика в Париже считается делом общественно полезным, настолько, что врачи, ведущие практику, освобождаются от части муниципальных расходов (оплачивают, например, квартиры дешевле); уважение к врачам проявляется и в том, что, например, с них не взимается штрафа при нарушении правил уличного движения (на автомашине) и т.п.

Были мы и у профессора Клотца, эндокринолога, на отличном обеде с лангустой, дымящимся — запеченным — пломбиром и т.п. Тогда в Париже я впервые изучил европейский стиль обеда — в 7–8 часов вечера — в смысле чередования блюд и соответствующих им вин, вкуса сыров и т.п.

Поразили меня некоторые контрасты. Я не говорю о том обычном для капиталистического мира контрасте между блеском богатых витрин или особняков и скромными лавчонками и жилищами окраин или между фешенебельными автомобилями, на которых важный, точно сенатор, шофер мчит эффектную даму, и пешеходами — рабочими в темных старых блузах и однообразных беретах. Более новым был для меня контраст между запахом чеснока и чудных французских духов, исходящими от одних и тех же женщин. Или между изящными туфельками одних и грубыми деревенскими сабо других — хотя носители и тех, и других, казалось, принадлежали одному общественному слою.

Как-то вечером в обществе France — Russe<sup>[238]</sup> наши друзья угощали нас в старинной средневековой харчевне, рядом со мной сидела красивая девушка. Она недавно кончила курс (гинеколог), но вместе с тем по воскресеньям она отправляется на какой-то остров, где раздевается (она нудистка) и в обществе голых женщин и мужчин проводит день. Я говорю: «Зачем вы это делаете?» Она отвечает: «Из протеста против сложившейся мещанской морали». — «Но ведь это все же как-то неловко», — замечаю я. «Мне ловко, — парирует она, — когда я смотрю на других своих



товарищей по такому времяпрепровождению, у меня не возникает никаких особых эмоций, все это чепуха. Вы же сами врач, можете спокойно исследовать разных там голых, красивых и некрасивых». — «Но вот вы красивы, — говорю я, — на вас, вероятно, нельзя смотреть с равнодушием, когда вы раздеты». — «А когда я одета? — улыбается она. — К тому же пусть смотрят и любят, мне это скорее приятно. Вам же приятно, когда нравится ваша лекция? Красивая женщина в принципе должна принадлежать всем мужчинам, — добавляет она. — Что было бы, если бы у Венеры был муж, всегда один и тот же? А принадлежать всем значит не принадлежать никому». А ведь эта молодая особа имеет прогрессивные политические взгляды, готовит диссертацию! Забыл спросить, замужем ли она, но, судя по всему, это неважно.

Мне кажется, что в творчестве Родена, музей которого в особняке Вирона я дважды посетил, запечатлены также обуреваемые современное культурное общество противоречия: тут и эллинский культ обнажения, и красота телесных форм, и символика земного и духовного, и единство души и плоти, конкретного и отвлеченного, мечты и действительность. Какие-то порывы в неизвестность, в тайники самого себя и в таинственное начало мира. Впрочем, мне, с моим российским характером, Роден показался несколько манерным, а «где тонко, там и рвется». Во всяком случае, при желании легко над его вещами если не поиздеваться, то поиронизировать.

Некоторые объекты туризма в Париже мне не особенно понравились. Например, Дом инвалидов сам по себе великолепен, но гробницы Наполеона и его маршалов показались мне напыщенно тяжеловесными. Музей восковых фигур де Гревен недостойн Парижа с его тонким вкусом. Золотая кукла Жанны д'Арк едва заметна на фоне элегантных зданий; другое дело памятники энциклопедистов на бульваре Сен-Жермен, они серьезны и соответствуют своему стилю. Собор Парижской Богоматери мне напомнил роман Виктора Гюго, жалкую Эсмеральду и противного Квазимодо, и тем, очевидно, испортилось мое к нему отношение, хотя химеры на его высотах замечательны, как и изумительный вид оттуда на город. Внутри собор слишком темен и обширен. Наши старые пузатые церковки мне милее.

Эйфелева башня вошла в панораму Парижа, и что бы ни говорили о ней плохого некоторые поклонники готики или Ренессанса, она производит положительное впечатление своей легкостью и мудрой простотой — предтеча новой эры зодчества, родившая архитектуру XX века — века авиации. Очаровательны церковь Мадлен, площадь Согласия, Тюильри,

Триумфальная арка с площадью Звезды, где сходится 12 улиц и все же нет тесноты движения. Мосты через Сену хороши, хотя, например, мост Александра III показался мне соответствующим самому царю, в честь которого он поставлен. Хороша перспектива Лувр — Булонский лес.

На улице Елисейских Полей и бульварах Капуцинов и Итальянском все еще стоят по углам хорошо одетые молодые женщины с яркими губами. Они обращались ко мне по-французски или по-английски и спрашивали, не хочу ли я пойти с ними. Я благодарил и отказывался, конечно. Не говоря о морали семейного порядка и строгом запрещении, преподанном нам в Москве, всех наших франков не хватило бы на одну такую противную красотку.

Сам съезд был интересен тем, что делегаты им не интересовались. Они бродили в кулуарах, снимались, беседовали друг с другом, знакомились. Мой доклад как будто имел успех, поскольку профессор Лиан потом повел меня в студию радио «Франция», и я должен был говорить выученные заранее фразы на дурном французском языке.

Потом мне предложили сделать доклад в обществе парижских врачей о гипертонии. Президент его, тот же Лиан, в резюме подчеркнул интерес той части доклада, в которой говорилось о профилакториях на производстве. «Я посоветую нашему министру здравоохранения это ценное мероприятие», — сказал он, но я не слышал, советовал ли он в самом деле и что из этого вышло.

Был еще визит к мэру города Парижа. Меня пригласили расписаться в книге почетных посетителей. Это было торжественно, «честь такая» была оказана всего трем-четырем делегатам.

Из медицинских учреждений мы посетили госпиталь Божон, громадное высотное современное здание, но в отделениях мне показалось неуютно, шумно и людно; кроме того, я был в старом госпитале Hotel de Dieux, основанном еще в XVI веке и лишь слегка модернизированном (я был в клинике Труссо, где когда-то побывал Боткин и отозвался неодобрительно; я бы присоединился к его оценке). Большие палаты, в середине — проход в соседние, койки за перегородками.

Зато замечательным учреждением является Институт Пастера. Нам показывал его русский доктор Грабарь<sup>[239]</sup>, выдающийся биохимик. Он был руководителем одной из лабораторий. Среди его помощников были и дочери эмигрантов, полные интереса к России и еще не разучившиеся говорить по-русски. Они мечтали попасть на балет в Большой театр, приезд которого совпал с окончанием нашего пребывания в Париже.

Мне очень хотелось посетить какой-либо город вне Парижа. В нашем

маршруте, утвержденном в Москве, значились Лион и Марсель. Казалось бы, чего лучше, стоимость билета обеспечена. Но мои товарищи уперлись: стоит ли разъезжать, это же дорого: гостиницы, еда (а тут мы ходили в столовку посольства). Я понял, что им просто хотелось побольше закупить для своих жен. На этой почве я с ними рассорился, и мы дулись друг на друга до Москвы.

Удалось еще побывать в Версале. Красивые, величественные парки, но само здание дворца было мрачно и пусто. Фонтаны не работали. Статуи еще не были возвращены (после немецкой оккупации). Нам объяснили, что на восстановление Версаля у французского правительства нет денег. Правда, пришел на помощь Ротшильд — часть восстановительных работ была выполнена на его пожертвования, за что в его честь повешена мемориальная доска.

Медицина во Франции не произвела на меня большого впечатления. Правда, фирма «Алвар» выпустила здесь превосходные электрокардиографы и чуть ли не двадцатиканальные электроэнцефалографы, но я не слышал докладов из уст французов с большими новыми достижениями. Сам профессор Лиан сейчас занят фонографией; его скептицизм француза проявился в суждениях о том, что, модулируя фильтры, можно получить при записи звуков сердца любые шумы у здорового человека.

Другой блестящий французский кардиолог, президент Европейской кардиологической ассоциации профессор Ленегр<sup>[240]</sup>, с которым я встречался в Бельгии, в Швейцарии и в Риме, проявил свой скепсис в монографии о блокаде ножек Гисова пучка, придя, в конце концов, к выводу, что этот феномен служит больше для запугивания пациентов, а врачи, собственно, не знают его значения. В докладах о грудной жабе он иронизировал в адрес модной теории о спазме коронарных артерий, сводя болезнь к атеросклерозу. И т.д. При всем том он очень умен, красноречив, как вообще французы, и весьма обаятелен в обращении, и я очень доволен, что мы с ним очень дружески познакомились.

Видный кардиолог профессор Жиро, работающий в Монпелье, был в Москве на II съезде терапевтов (и по сему случаю сделан почетным членом нашего общества). Он ежегодно выпускает по сборнику работ, числом в 20–30, каждая из которых идет под его фамилией и к ней присоединяются то одни, то другие имена ее фактических исполнителей. Это мультиплицирование Жиро мне показалось, пожалуй, единственным подтверждением мнения о тщеславии французов. Наконец, позже я познакомился еще с одним кардиологом Франции — профессором

Фромманом из Лиона.

Каковы показались мне французы? Если говорить о профессорах и врачах, они приятны, любезны, точны в своих словах, они обладают живостью восприятия. При общении с ними чувствуешь тысячелетнюю передовую культуру страны. Они общительны, свободны в своих высказываниях, очень воспитанны; я не заметил ни тщеславия, ни резкости, ни легкомыслия, чем их наделяют, очевидно, не видевшие их некоторые писатели. Я бы даже сказал, что они полны сдержанности, а вовсе не петушиного чванства, как это им приписывали некоторые наши публицисты.

Простые люди показались мне серьезными и вместе с тем склонными к шутке. Женщины — разные, как и везде. Я подсчитал, что красивых здесь не больше, нежели в Москве, но больше «хорошеньких», «интересных», что объясняется изящной походкой, хорошими прическами и умением одеваться. Старые дамы худощавы. Иные выглядят молодо в 60 лет, но, как и везде, имеется немало обыкновенных старух (еще Вольтер сказал, что в старухах никогда не было недостатка).

Обращают на себя внимание чистые и стройные ноги, по сравнению с кривыми и толстыми нижними конечностями наших женщин (я говорю о массе). Тут уж Пушкин не сказал бы фразу о двух парах красивых женских ног. У них, мне кажется, культ ног, они не стоптаны, их кожа гладка, без багровых утолщений, и нет пальцев с кривыми ногтями, которые бы вываливались наружу из отверстий в модной туфле. Я думаю, что это объясняется доступностью подобрать себе по ноге обувь (то есть они не хватают наспех то, что «выкинули», а выбирают то, что подходит из множества примеряемых пар). Кроме того, забота о ногах начинается еще у маленьких девочек.

Но позже мои первоначальные восторги в адрес француженок поостыли, стали попадаться в изрядном числе некрасивые и неизящные.

В том же 1954 году в сентябре я побывал в Швеции на конгрессе по внутренней медицине в Стокгольме. Советские медицинские общества к этому времени — через год после смерти Сталина — стали вступать в международные научные организации (конечно, по выбору наших руководящих органов). В данное международное общество мы получили приглашение от его президента профессора Нанны Сварц<sup>[241]</sup> (шведка). Эта почтенная женщина, социал-демократ, лечит вместе с тем короля и королеву, в дружбе с нашим послом мадам Коллонтай и т.д. Эта грузноватая особа, культурный человек, побывала во всех странах мира и владеет многими языками. Она любительница музыки, живописи и старинной

архитектуры, а также понимает толк во внутреннем убранстве (в Москве она побывала у нас дома, и я видел ее реакцию на старую бронзу и павловскую мебель красного дерева).

С Нанной Сварц у меня связано и одно неприятное воспоминание. Совсем недавно она приезжала в Москву на ревматологическую конференцию, смотрела наш институт, выступала в терапевтическом обществе и все такое. И вдруг — звонок из особых «органов». «О чем с вами беседовала в вашем кабинете госпожа Сварц?» А беседовала она о том, что во время войны был взят в плен и увезен нашими частями из Будапешта важный молодой человек, сын одного из самых влиятельных банкиров Стокгольма — Валленберга<sup>[242]</sup>. О нем посол Сульман много раз запрашивал наш МИД. Ответа не последовало. Пропал. Потом сказали — «умер». Обращались даже с вопросом к Хрущеву.

Сварц просили выяснить судьбу несчастного человека путем неофициальным. Она вообразила, что лучше всего это сделать через медиков, которые, наверно, лечат Хрущева (Мясников лечил Сталина, наверно, он лечит и Хрущева). И вот она меня упрашивала помочь ей, поговорить с Хрущевым и т.д. Я ответил ей, что Хрущев здоров, я его не лечу и не имею никакой возможности встречи с ним, тем более по такому делу, что наши отношения с иностранными учеными не должны касаться вопросов политических. «Это не политика, это вопрос гуманизма», — возразила она.

Мне было дано понять, что дальнейшие встречи с Нанной Сварц нежелательны.

Но в ту пору, на конгрессе в Стокгольме, я испытывал другие затруднения, скорее смешные. Меня никто еще не знал из лидеров общества. Речь на различных языках, ни одного русского слова, корреспонденты газет, сенсационно сообщавшие о приезде «двух Александров — Александра Мясникова и Александра Герке<sup>[243]</sup>», — причем меня еще снисходительно оценили «по виду европейцем», а Герке, одетого в черный костюм прошлого столетия и носившего окладистую бороду, подвергали разным насмешкам. Так, на открытие конгресса мы немного запоздали. В одной из газет было по этому поводу сказано: «Русские изволили опоздать и пропустили приветствие короля». «В самый торжественный момент приветствия главы государства в зал вошли делегаты из Москвы, причем сапоги одного из них сильно скрипели» (у Герке). Герке фигурировал в газете как «непрерывно и громко сморкающийся» или «после сделанного элементарного доклада

наслаждающийся американским напитком кока-кола» и т.д. К моему докладу отнеслись более доброжелательно. В газетах выделяли мое положение о нервном происхождении гипертонии, о том, что с улучшением международного положения и устранением угрозы войны гипертония пойдет на убыль и т.д.

В «Стокгольм-Тидлинген» было напечатано под заголовком «Замечательное объяснение болезни»: «Русская точка зрения на гипертонию, положения профессора А. Мясникова были выслушаны с большим вниманием делегатами из 32 других стран, которые почти ничего не знают о новых достижениях русской медицины». В другой газете по поводу доклада говорилось, что он сделан в духе Лысенко и что чрезмерно касается приоритета русских. Вообще иронический тон был допущен и к многим другим докладчикам, таков уж стиль репортеров — все же отнеслись к нам с вниманием и печатали портреты рядом с портретами нобелевских лауреатов.

Доклад на конгрессе я тогда сделал неважно. Во-первых, на русском языке, который, конечно, никому не был понятен (а перевод по трансляции на конгрессные языки не был синхронным, и я уже кончил доклад, а перевод дошел лишь до половины), во-вторых, он был обзорным. Наши точки зрения не были документированы, а по заграничным понятиям диапозитивы являются непременной частью настоящего научного доклада. В дальнейшем я стал тщательно подбирать демонстрационный материал и даже у нас в Союзе делать новый тип докладов — поменьше слов, побольше рисунков и таблиц. Мои сотрудники по институту должны были быстро усвоить новую, европейскую, манеру докладов; на наших сессиях мы показали московской публике новый стиль выступлений, постепенно вытеснивший в нашем обществе и на съездах прежнюю болтовню. Таким образом, уже первое мое ознакомление с опытом международных съездов оказало сильное влияние на мой собственный стиль и стиль моих сотрудников: докладывать кратко, конкретно и с возможно более четкой демонстрацией фактического материала.

Конгресс показал также значение новых методов. К тому времени мы не имели ни новых моделей приборов, ни нужных реактивов, и это отставание нужно было у себя дома быстро преодолевать. Из докладов на конгрессе наше внимание особенно привлекли сообщения по коллагенозам — автора кортизона Хенча<sup>[244]</sup> (брутального рослого парня, бубнившего на американско-английском языке, лауреата Нобелевской премии, крупнейшего ученого современности) и других. По гипертонии любопытно было сообщение Ротлина о воспроизведении гипертонии у диких крыс

посредством раздражения шумом, в то время как домашние крысы, привычные к звукам города, были резистентными; Пикеринга и Гамильтона о нормативах кровяного давления, между которыми и гипертонией имеются все переходы («болезнь эта не качественная, а количественная») и др. Милейший Мальмроз из Луида, с которым мы очень близко познакомились (потом он был и в Москве), сообщил свои известные данные о связи между частотой атеросклероза и питанием животным жиром.

Стокгольм, как известно, — чистый блестящий город. Вокруг масса воды (фьорд), острова, покрытые садами и парками, прекрасные виллы, в том числе содержащие отличные коллекции живописи и скульптуры.

Из художников мне понравился Цорн — импрессионист, писавший портреты типа Эдуарда Мане, кроме того, изображавший женщин в различных видах — чаще всего обнаженных (в бане, в лодке). У него мощный, свободный и очень длинный мазок. Старый Росслен, известный нам потому, что он жил в России в конце XVIII века и писал императриц и фрейлин, здесь, конечно, богато представлен (хороша его дама с веером, прикрывающим один глаз). Другие шведские более скромные художники напоминают финнов. Замечателен «Сад Милле» знаменитого шведского скульптора (особенно прелестна «Маленькая наядя» и прямо фантастическая по легкости и динамике «Человек и пегас»).

Посетили мы и Drotting Holm, дворец, основанный бабушкой Карла XII (в конце XVII века) Элеонорой Гедвигой. Изумительная обстановка в стиле рококо, и особенно главная лестница, созданная архитектором Никодином Тессэн (украшенная статуями богов). Очень понравился мне павильон со старинным театром, в котором сохранились сцена и зала 1700 года. Нам давали даже представление в костюмах того времени в сопровождении маленького оркестра, исполнявшего отдельные акты из опер Моцарта и Глюка.

Побывали мы и в парке, в котором размещены деревенские постройки старой Швеции, а также помещичий дом начала XVIII века. Одета по тому времени «экономка» («гид» музея) рассказывала о том, что владелец этого дома вместе с армией великого Карла участвовал в походе на Москву. Увы, эти варвары взяли его в плен и сослали в ужасную Сибирь, откуда он вернулся только через десять лет. Каково же было смущение «экономки», когда она, прощаясь с нами, спросила, кто мы будем — греки, вероятно? Мы сказали: «Мы русские, из Москвы». — «Не может быть, сюда русские не ездят. Извините меня, пожалуйста!»

В Стокгольме на площади около королевского дворца стоит памятник Карлу XII — он указывает рукой на восток, в направлении Санкт-

Петербурга; памятник называется «Враг — там».

Теперь, конечно, шведы потеряли всякую воинственность. Швеция — нейтральная страна, не воевала уже 150 лет; мы этим склонны объяснять высокий стандарт жизни населения (но не только этим, мне кажется). Рабочие имеют хорошие квартиры (мы были в них) из двух-трех комнат. Их распределяет муниципалитет, даже в домах, построенных на частные средства (владелец получает лишь часть квартплаты — другая идет в общий фонд, который обеспечивает ремонт, коммунальную службу и т.п.).

Фермы в деревне — это благоустроенные городские дома с ванной, центральным отоплением. Фермер обрабатывает землю собственными небольшими сельскохозяйственными орудиями, в том числе маленьким трактором и т.п. Обычно фермеры — люди с агрономическим образованием. Всюду электричество, чистота, даже комфорт.

В Стокгольме — великолепные больницы, Каролинская и Южная. Застрахованные рабочие и служащие лечатся бесплатно. Палаты на одну-две-четыре койки, телефон, сестры контролируют состояние больных с помощью особых экранов, позволяющих с поста видеть внутренность палаты. Кровати послушно наклоняют головной или нижний конец и наклоняются на правый или левый бок по желанию больного, нажимающего кнопки. Всюду террасы и цветы в элегантных вазах. Врачи осматривают больных не каждый день; они диктуют назначения сестре, владеющей стенографической записью. Врачи обычно мужчины, их немного. Студенты проходят курс медицины в семь лет, из которых один — стажировка.

Посетили мы Упсалу, ее старейший университет, основанный в 1477 году. Он имеет замечательную библиотеку, организованную еще в период Густава II Адольфа (начало XVII века). Мы с уважением поглядели на «серебряную Библию», Codex Argentens<sup>[245]</sup>, написанный около 500 года, на поразительные миниатюры XV столетия из старых шведских рукописей, на иранские миниатюры XII века и т.д., осмотрели дом, где жил Карл Линней.

В Стокгольмском оперном театре в честь конгресса давали «Спящую красавицу» (и мы были горды за русскую культуру) и один акт сказок Гофмана. Второй раз я был на «Тристане и Изольде». «Тристан и Изольда» была дана в условных абстракционистских декорациях. Пели гастролеры из Германии. Шведы не имеют своих хороших певцов, нет у них и не было композиторов. Да и писателей у них нет: Сельма Лагерлеф, конечно, не в счет. Но ученые есть.

Люди красивые, особенно мужчины — высокие и холеные викинги.



Женщины белокуры, стройны, много просто длинных, как жердь. Конечно, они все очень худы, борются с едой (то есть чтобы не есть), занимаются гимнастикой и особенно спортом — лыжи, коньки, гребля, горы — и еще занимаются любовью.

Спорт и любовь. Много денег и свободного времени, к тому же свобода демократического государства (что демократического — видно из одного примера, рассказанного мне нашим послом: один из последних премьер-министров социал-демократ, а в прошлом рабочий, продолжал жить в своей маленькой квартире в рабочем районе и отправлялся в совет министров на велосипеде). Кстати, здесь все катаются на велосипедах, их оставляют на улице — целыми сотнями.

Девушки могут заниматься любовью до замужества, по несколько раз сходятся и даже рожают (благо внебрачных детей охотно берут родители девушек). Замуж выходят уже после известного опыта в любви. Вздор, что северные народы имеют более холодный темперамент. Шведки очень эротичны, шведы — не знаю.

На банкете по случаю закрытия конгресса молодые шведки были сильно декольтированы и с азартом танцевали. Может быть, времена меняются?

Климат Стокгольма напоминает Ленинград, кстати, город во много раз меньше и гораздо провинциальнее нашего гордого города.

В конце 1955 года мы с профессорами Кротковым<sup>[246]</sup>, Билибиным<sup>[247]</sup> и другими совершили более чем двухмесячную поездку в Китай, где должны были прочесть цикл лекций врачам и студентам.

Туда мы ехали поездом мимо Байкала, через Читу; я с интересом рассматривал в окно вагона восточную часть Сибири, где еще не бывал. Как будто едешь на край света, как вдруг открывается новый мир, весьма населенный и своеобразный.

Нас хорошо принимали, мы посмотрели ряд крупных городов; мы были на приеме у Чжоу Эньлая<sup>[248]</sup>, нас приветствовали студенты — маленькие фигурки, среди которых я на фото кажусь Гулливером у лилипутов.

Из городов мне больше всего понравился Кантон — тропические растения, обезьяны, дивный Ботанический сад, оживленные улицы из высоких домов, в нижнем этаже которых сделаны для прохожих галереи (от палящего солнца); понравились мне и кантонские китайцы, они более культурны — влияние традиционных связей с колониальными державами.

Понравилась мне и большая река, протекающая через город, полная барж и джонок, на которых постоянно живут люди. У нас в Москве — уже зима, но тут все цвело и погода была ласкающая.

Мы жили в гостинице американского типа. Клиники и университет хороши, как и в Европе. Культ Сунь Ятсена<sup>[249]</sup>, работавшего здесь, мне напомнил наши порядки.

Шанхай — еще более грандиозный город, 4–5 миллионов жителей, несколько небоскребов, в улицах ничего китайского, кроме вывесок с иероглифами. Между прочим, встречаются русские вывески (тут жили русские, вытесненные из Сибири во время Гражданской войны). Мощная река и залив океана. Но порт бездействует (близость Тайваня с Чан Кайши<sup>[250]</sup>). Город все же мрачный, без стиля, антиисторический.

Гуаньчжоу — приятное местечко, но озеро грязное, вода высохла, хотя домики-пагоды нарядны и горы мило синеют. Пекин — типичный китайский город. Здесь много китайских исторических памятников, храмы, дворцы императоров. Да и улицы сохранили безалаберность и суету восточной Азии. Но новый Китай уничтожает ветхую и затхлую старину и строит современные формы жизни.

Мукден — суровый промышленный город, какой-то черный, очень многолюдный. Гуаньчжоу — грязный город, много чисто китайского, лавчонки, базары, народ беден, да и вообще все тут крайне бедно.

Все китайцы, по велению Мао Цзэдуна, одеты в темносиние спецовки, женщины в штанах. Мне не понравилась эта монотонная, скучная толпа. Не понравилась орава однообразного народа, в котором женщин почти не отличишь от мужчин. Не понравились послушные рабы, дисциплина, муравьиный труд, вечные будни. Не понравилась чисто внешняя, маскообразная, деланая улыбка наших хозяев, как и культ председателя Мао Цзэдуна. Не понравились кошачья музыка, скучные ходульные архаические пьесы, в которых женские роли исполняют мужчины, а некоторые мужские — женщины, картины с птичками, цветочками, памятники культуры со страшилищами-буддами и другими истуканами и драконами, рассчитанными пугать только ребят или народ, остававшийся тысячелетиями в младенческом возрасте. Сама витиеватость колонн, крыш, линий мне показалась менее приятной, нежели в мусульманском мире Средней Азии и Закавказья. Какой контраст: там вкус, эпос, искусство, здесь безвкусица, грубый примитив — словом, китайщина, столь неприятная в специальных залах некоторых наших дворцов (например, в Ораниенбауме) или в Эрмитаже, оказалась у себя дома еще хуже. Даже

пресловутые китайские вазы и другие фарфоровые вещи меня оставили совершенно равнодушным. Может быть, хороши лишь хризантемы.

В поездах пахло карболкой (они борются с инфекцией). Проводник вам с порога купе из громадного чайника с длинным горлом наливает горький зеленый чай. На станциях китайцы выходят на платформу и делают физзарядку. Мух и крыс они уже переловили.

Китайская еда ужасна, я притворялся, что ее ем (тихонько выплевывал в ладонь и потом складывал в карман, в носовой платок). Население тощее, болеет глистными извазиями. Попадает паразит из воды — вода всюду грязная, богата отбросами, стоячая (реки многоводны, и в низины сбрасывают воду). А медицина во время нашей поездки еще была в стадии организации, если не считать народной китайской медицины с ее очковтирательскими шаманскими иглоукальваниями и бесконечными снадобьями (конечно, среди них могут оказаться и ценные средства).

В США я побывал уже четыре раза: в первый раз в качестве делегата на V Всемирный конгресс по внутренней медицине в 1958 году и далее через каждые два года, то есть в 1962-м и 1964 годах — как представитель Института терапии, в составе групп по обмену учеными по кардиологии, предусмотренному специальной конвенцией между СССР и США. Ответные поездки американских кардиологов в СССР состоялись также через каждые два года — в 1959, 1961, 1963 годах. Таким образом, хотя эти поездки были кратковременными — две недели каждая, — я имел возможность познакомиться с Америкой и даже привыкнуть к ней. Это слово «привыкнуть» особенно уместно тогда, когда идет речь о новых, необычных условиях жизни. Таковыми мне показались условия жизни американцев в первый раз; в четвертый раз я ходил по улицам Нью-Йорка «как у себя дома». Мне даже стало казаться, что этот город прост, доступен и, что бы там о нем ни писали, начиная с Максима Горького («Город желтого дьявола») и до последних наших журналистов, в нем вполне можно жить и, вероятно, работать, — там все работают, и, по крайней мере, если судить по моей специальности, работают отлично.

Общие первые впечатления о стране: грандиозные масштабы, большие пространства, деятельный народ, богатство, общедоступный комфорт, любезность и простота в обращении, масса автомобилей, все хорошо одеты.

Конечно, позже, по мере знакомства с Америкой, возникают и критические суждения о ней, среди них особенно размеры контрастов в социально-экономической жизни и несчастная проблема негров.

Первая поездка в 1958 году на конгресс в Филадельфии пала на апрель

— начало мая. Нас было трое, кроме меня — П. Е. Лукомский и З. В. Янушкевичюс<sup>[251]</sup>. Самолет, тогда еще не реактивный, доставил нас из Парижа в Нью-Йорк за 12 часов.

В аэропорту, еще в самолете, объявили, что русских встречает представитель госдепартамента. Это оказался переводчик Даллеса и Эйзенхауэра, русский по происхождению и мой тезка по имени-отчеству, А. Л. Логофет. Фамилия греческая, он православный, окончил до революции Петербургский университет по историко-филологическому факультету. Во время Временного правительства Логофет был послан по какому-то делу в Канаду, в связи с приходом к власти большевиков решил не возвращаться сразу домой, а подождать, что будет дальше. И вот это «дальше»: скитался по разным странам Европы и Америки; впрочем, он нам неохотно рассказывал об этом периоде своей биографии, и нам неясно, кем и где он был в эти годы. Последние десять лет он живет в Вашингтоне и служит — в качестве кого точно, нам также осталось неясным. «Я американский гражданин, но люблю свою родину, Россию», — сказал он как-то в вагоне первого класса в экспрессе Филадельфия — Вашингтон, все недолгие часы поездки декламируя стихи Апухтина (он наизусть знал и многих других наших поэтов, часть которых мы, русские профессора, даже и не читали, за исключением выученных в школе отдельных стихотворений Фета, Майкова).

Логофет нам сразу заявил, что госдепартамент поручил ему передать приветствие советским делегатам; он сказал, кроме того, что он надеется быть нам полезным как гид и переводчик. Кстати, все трое мы плохо владели в ту пору английским, и переводчик, да еще представитель власти незнакомой страны, нам был действительно полезен. Он же и устроил таможенные и другие формальности.

Перед нашим отбытием из Москвы мы послали в нашу часть Организации Объединенных Наций телеграмму Ф. Ф. Талызину<sup>[252]</sup>, бывшему тогда советником по культуре (или что-то в этом роде), и Н. Н. Кипшидзе<sup>[253]</sup>, работавшему в качестве врача при нашем представительстве; мы рассчитывали, что они нас встретят. Оказалось, телеграммы не дошли. Из аэропорта мы позвонили им с помощью Логофета, и — хотя это было по тамошнему времени раннее утро — они прикатили на машине. Мы вскоре же сели в самолет, отправлявшийся в Филадельфию, где нас уже встретили, как и многочисленных других делегатов конгресса, его устроители.

В Филадельфии нас, как и других приезжих, устроили в новом отеле

«Шератон»; там же проходил и конгресс.

На следующий день, с утра, открылся конгресс, и одним из первых — согласно программе — выступал и я с докладом «О некоторых новых данных по проблеме инфаркта миокарда».

Появление мое на трибуне было встречено аплодисментами. Очевидно, понравился сам факт, что на конгресс в США прибыл из Советской России докладчик (тогда это было редкостью). Я сделал свое сообщение на английском языке; были даны очень удачные слайды (к чему так привыкли участники конференций за рубежом). Под конец я извинился «for my bad English». По окончании мне сильно хлопали — настолько, что мне пришлось привстать с места и раскланяться, что вновь сопровождалось «бурными аплодисментами».

В самом начале доклада на конгресс явился из Бостона Пол Уайт<sup>[254]</sup> — самый уважаемый кардиолог в США. В перерыве нас с Полом Уайтом и президентом конгресса (профессором Миллером из Филадельфии) окружили корреспонденты, нас снимали и в заключение повлекли в какую-то комнату выступать по радио. Мне предложили говорить по-русски, но фразу за фразой переводил (достаточно точно) какой-то репортер. В кулуарах ко мне подходили, жали руки, говорили, какой прекрасный доклад я сделал и т. д. и т. п.

На следующий день в филадельфийских газетах были специальные заметки о докладе русского делегата, а через несколько дней в газете для врачей «Medical News» (12 мая 1958 года) доклад был напечатан почти целиком с весьма положительными примечаниями. Ретроспективно могу сказать, что с этого моего выступления родилась моя «международная репутация» как советского ученого-кардиолога. Кстати, в этом докладе говорилось, во-первых, об экспериментальном инфаркте миокарда, вызываемом при сочетании кормления кроликов холестерином и бега их в тредбане, во-вторых, о толковании инфарктной электрокардиограммы с биохимической точки зрения, в-третьих, о затяжных формах инфаркта.

Два моих спутника также участвовали в повестке конгресса — П. Е. Лукомский был членом «круглого стола» по поводу лечебного значения антикоагулянтов (я еще боялся, как он выйдет из положения, если начнутся вопросы, но таковых было очень мало), а Янушкявичюс сделал доклад о классификации баллистокордиограмм — метод, к тому времени уже переставший интересовать американцев (а позже и нас).

Во время конгресса я был приглашен на заседание Правления общества (я тогда был включен в так называемый национальный комитет, то есть орган, состоящий из представителей входящих в данное

международное общество стран. Позже я был избран членом основного руководящего органа, по-нашему, президиума правления, но так до сих пор в этом качестве реально и не фигурировал, так как в дальнейшем мне не удавалось бывать на конгрессах данного общества — потому ли, что они бывали то в Западной Германии, то в Аргентине, потому ли, что я переключился на конгрессы кардиологов, я и сам не знаю — про то знают наши начальники, куда пошлют — туда и едем, и на том спасибо). Правление состоялось в одном из небоскребов на высоте 60-го этажа, в каком-то салоне банкира. Был отличный ланч, и шли неторопливые разговоры о делах общества и будущих его конгрессах. Я понимал тогда английскую речь с большим трудом, а мои примитивные фразы спускал с языка только в крайней крайности («таил молчанье в важном споре»).

Что касается Филадельфии, то город мне понравился сочетанием старины (еще колониального периода), старых зданий в английском стиле и памятников и новых легких высотных домов из дюралюминия и стекла. Мы посетили Independence Hall, построенный в первой половине XVIII века, в котором в 1776 году была оглашена независимость колоний и через десять лет — конституция Соединенных Штатов. Это скромное двухэтажное здание с высокой красивой каланчой, с часами и колоколом (символом свободы). Мы осмотрели Carpenters Hall, в котором в 1774 году заседал первый конгресс нового государства. Снизу, с узкой Брод-стрит, идущей с севера на юг, мы глядели на гигантскую статую Уильяма Пенна (от него — название штата Пенсильвания), казавшуюся нам каким-то лилипутом.

Из музеев сперва мы зашли в учреждение, в котором выставлен громадный макет сердца. Можно было войти в сердце, в предсердия, проникнуть в желудочки и вылезти в аорту или легочную артерию, ощупав клапаны, сосочковые мышцы и т.п. Музей этот, кажется, носит имя Франклина и должен популяризировать основные законы медицины, физики и других естественных наук для широкой публики и особенно школьной молодежи. Все-таки хорошая штука, полезно было бы и нам завести такую.

Затем мы посетили музей Родена. Это небольшой особняк, в котором выставлены многие реплики великого скульптора в бронзе и мраморе. Имеется и некоторое число оригинальных этюдов и рисунков. Особенно выделяется «Eternal Springtime», 1884 («Вечная весна»): юноша и девушка, слившиеся в поцелуе. Некоторые поздние вещи (например, The Cathedral, 1910 — две руки, якобы символизирующие готический храм, или «Рука бога») мне не понравились. Вообще и нельзя сравнивать с музеем Родена в

особняке Бирона в Париже.

Но зато филиладельфийский музей искусства содержит прекрасное собрание картин. Само здание — в классическом стиле, с великолепной колоннадой (между прочим, перед ним стоит эффектный памятник Вашингтону). Большая часть собрания — новая живопись, наряду с Сезанном, Пикассо немало Леже, Миро и многочисленные американские современные абстракционисты.

Естественно было посмотреть Пенсильванский университет. Среди медиков большое впечатление произвел известный хирург Бейли<sup>[255]</sup>, работающий в еврейском госпитале. Впечатление это оказалось скорее жутким.

Бейли пригласил нас на операцию с искусственным сердцем. Фермер 35 лет, здоровый на вид, решил предоставить свою грудь для операции по поводу аортального стеноза, вполне, впрочем, компенсированного. Кажется, он еще уплатил знаменитому хирургу немалую сумму — чтобы делал тот сам. Мы стояли в халатах вокруг операционного стола. Бейли быстро резал и весело объяснял. Вокруг персонал — по большей части молодой, обоего пола — управлял насосом крови, системой трубок и приборами, регистрирующими состояние кровообращения. Царила небрежная уверенность. Мне даже показалось, что так оперируют собак в экспериментальных лабораториях. Вдруг приборы стали давать беспокойные показатели — упало давление, по временам вспыхивало мерцание предсердий. Бейли перестал болтать, но молодежь продолжала галдеть. Через полчаса от начала операции фермер умер. Бейли почти одновременно с нами вышел, мы в одну сторону, он — в другую, молча.

С того дня я не могу читать спокойно хвастливые статьи о блестящих операциях. Мне кажется, что слава хирургов, по крайней мере хирургов-кардиологов, подобна славе полководцев — как та, так и другая клубится над горами трупов. И ведь моральное оправдание их жертв — одно и то же, а именно якобы благо других (ценою погибших).

Из Филадельфии мы приехали в Вашингтон, но от этой поездки у меня остались лишь смутные воспоминания. Мы просто мельком посмотрели город. В это время года цвела японская вишня; ее розовая пена залила парк, блистая на солнце ажурными гроздьями цветущих веток и отражаясь в водной глади Потوماка. А. Л. Логофет стал вспоминать весну в России, робкую, изменчивую, более тонкую. «А ведь эта вишня не дает плодов, а цветы здесь вообще не пахнут», — сказал он грустно.

Потом мы отправились в Бостон. В аэропорту нас встретил Пол Уайт — он прошел прямо к самолету и обнял нас. Это обаятельный человек, и я

горд тем, что он ко мне всегда проявляет симпатию. Познакомились мы осенью 1957 года в Москве, он приезжал тогда к нам впервые — с группой американских врачей, — был в Институте терапии (еще на Щипке), где я, с помощью И. И. Сперанского, рассказывал им о наших работах по атеросклерозу. Был он в клинике, где пожелал сделать обход и мельком выслушивал сердца больных, расспрашивал об их профессии и записывал (рабочий, инженер, студент, служит в министерстве, инвалид и т.д.). Уайта поразило столь значительное преобладание женщин среди наших врачей; он сказал потом, что сперва принял их за сестер или нянь. Какие-то фотографы ходили за нами и снимали знаменитого Уайта, личного врача и друга Эйзенхауэра (это были сотрудники иностранных газет и американского посольства), а я боялся, что они наснимают грязные уборные, мусор под окнами, обвалившуюся кое-где штукатурку.

В Бостоне Уайт показал нам, что он снимал. Кинолента (цветная) показала собравшимся — нам и его американским знакомым — Кремлевские соборы и башни, Большой театр, старый и новый университет, нашу клинику, Красную площадь и очереди москвичей, покупающих не мясо и не молоко — а цветы. Ни заборов, ни давки. А ведь при склонности американцев и англичан к юмору отчего бы и не снять что-нибудь такое «экзотическое»?

На даче у Уайта (километрах в 30 от Бостона, он водит сам машину, несмотря на годы, другую — его жена) собралось академическое общество — профессора Гарвардского университета с женами. Среди них был Лепешкин, еще не забывший свой безукоризненный русский язык (я замечая, что русские, живущие за границей и попавшие туда взрослыми, притом из культурной среды, говорят, как правило, на более совершенном русском языке, нежели мы, воспитанные на современном жаргоне, которым заражают нас наши дети, молодежь и т.п.); это — известный электрокардиографист, автор больших книг. Жены профессоров казались мне обычными воспитанными дамами, это были уже почтенные по возрасту женщины. Миссис Уайт выделялась среди них: было видно, что в молодости она была красавицей в стиле английских портретов; она всегда представлялась мне очень симпатичной и несколько восторженной, гордой за своего славного мужа, притом подлинно культурной, с любовью к серьезной музыке, жадным интересом к странам и людям, которые ей приходилось на своем веку изучать в связи с постоянными путешествиями непоседливого, живого Пола Уайта.

В Бостоне нас устроили в весьма респектабельном клубе ученых; в старинной английского типа столовой чинно «обслуживали» (как это слово



не подходит здесь!) высокие мужчины в белоснежных манишках с манжетами и сверкающими запонками.

Были мы в старом Массачусетсе — одной из клинических баз Гарвардского университета. В аудитории клиники, которой раньше заведовал Уайт (теперь он консультант) мы присутствовали при разборе больных; случаи были не очень трудные, большое внимание уделялось диагностике (висели многочисленные рентгенограммы и электрокардиограммы), вопросы теории не обсуждались. Два раза спросили мое мнение. Один мой ответ, видимо, был совсем мимо (как я уже позже сообразил), другой же попал в точку, и все оживились, стали со мной немного спорить, потом соглашались и расстались, как-то сблизившись (так сказать, на общем деле).

Потом повели нас по лабораториям, оставившим впечатление хорошо, интересно работающих над важными темами (культура ткани интимы аорты — в норме и при атеросклерозе, атеросклероз у обезьян, зондирование коронарных артерий на собаках — с вживлением зонда и возможностью вливать через него прямо в коронарную сеть те или иные лекарства и т.д.). В дальнейшем авторы этих работ побывали у нас в Москве или мы воспользовались у себя их методами.

Далее — специально идя навстречу моим интересам — Уайт повез нас в музей живописи, директор музея показывал Рубенса и Рембрандта (которые мне не понравились — неприятные типажи), но зато понравился мальчик в шляпе Томаса Сьюлли (американского художника XIX века); несколько пейзажей Моне, задумчивая гавань Уистлера в серо-серебряной дымке и знаменитый «Почтальон Рулен» Ван Гога. Мне дали каталоги и репродукции.

Затем мы отправились на лекцию Смита — известного специалиста по физиологии почек, приехавшего из Нью-Йорка. Мы чуть-чуть запоздали. Огромная аудитория была переполнена. По просьбе Уайта нам уступили места в первом ряду, мы сели, смущенные, а сам знаменитый клиницист всунул свою худенькую фигурку между сидящими на ступеньках лестницы парнями неподалеку от нас. Смит читал свой доклад с иронией. Он говорил, что чем дальше он занимается физиологией почек, тем она становится ему все менее и менее ясной. «Я написал толстую книгу, но если бы я действительно понимал данную проблему, не было бы надобности столько рассуждать. Механизм мочеотделения поясняют уже двести теорий; если бы он был открыт, была бы лишь одна».

Вечером мы были на концерте. Это был концерт особый; в большом концертном зале стояли столики, окруженные стульями, приходили, по-

видимому, хорошо знакомые друг с другом люди, приветливо здоровались. Нас представили, что вызвало оживленные любезные восклицания. «А ведь Рахманинов родился в России, не правда ли? — спросила меня одна из только что познакомившихся со мной дам и на мой ответ возразила: — Но он ведь американец! Мало ли кто где родился, он наш композитор. Стравинский, говорят, также русский или поляк, я не помню точно, но он гражданин Америки, наш композитор, как всем известно».

На следующий день Пол Уайт повез нас в окрестности Бостона к знаменитому мосту Конкорд; на этом мосту 19 апреля 1775 года произошло первое столкновение между американской милицией и английскими солдатами (они занимали тогда Бостон, а республиканцы опирались на силы, сосредоточенные в Филадельфии; их возглавил вскоре Джордж Вашингтон). Впрочем, еще за два года до этого жители Бостона делали попытку к освобождению от опеки метрополии, и, например, однажды, когда английские купцы привезли в Бостонскую гавань большую партию чая, бостонцы напали на корабли и выбросили весь чай в море («бостонское чаепитие»). Деревянный мост через речку Конкорд постоянно поддерживается в том виде, как он был около 200 лет тому назад. Перед ним стоит памятник фермеру, который первым был убит в перестрелке.

Был чудесный весенний день, деревья еще не оделись листвой, солнце припекало желтенькие цветы в зелени прибрежных лужаек. В этих северных местах (штат Массачусетс) природа очень напоминает нашу, недаром позже, когда Маргарет Уайт была у нас на даче под Москвой в то же приблизительно время года, она воскликнула: «У вас все так же, как у нас, та же природа, те же цветы, вероятно, и люди очень близки друг другу, то есть мы и вы». И это была правда, то есть та часть правды, которая зависела от природы и людей самих по себе, за вычетом той части действительности, нас разделяющей, которая создана классами и партиями.

На обратном пути мы где-то на перекрестке дорог остановились для ланча. Он был сервирован, как в лучшем ресторане, был, как всегда, вкусен и свеж (Пол Уайт заказал себе, впрочем, овсянку — он ест мало).

Бостон — английский город по характеру зданий и улиц. Он отличается от американских городов отсутствием небоскребов и меньшей напряженностью транспорта (хотя, впрочем, длинные тоннели и эстакады со мчащимися по ним бесконечными автомобилями напоминает вам, что вы в Америке, — и только на другом берегу залива, в Гарварде, все тихо, уютно, немножко по-европейски провинциально — тут наука, ученые, студенты, спортсмены и их жены, семьи, общежития, квартирные хозяйки, тихие отели, церкви, сады, сады, сады, а главное, много воды, лодок,

гонок).

Уайт любит свой город и говорит, что никуда не переехал бы. Бостонцы — как наши ленинградцы (точнее, старые петербуржцы). Они считают, что именно там родилась Новая Англия, ее интеллигенция, Кеннеди был также бостонцем. И многие ученые.

В следующие посещения США я также бывал в Бостоне, о чем будет сказано дальше, а пока перенесемся на самолете к Ниагарскому водопаду. От аэродрома до водопада несколько десятков километров на автомобиле. Места лесисты, небольшие холмы, приятные цветущие долины — когда-то земли индейцев, знакомые нам по романам. Везет нас почтенный старик, служит в частной автомобильной компании, жалованье — 400 долларов в месяц. «Хотите, заедем ко мне — у меня тут дом, посмотрите, как мы живем». Коттедж из пяти комнат, два этажа; он уже собственный (выплачивал). Сын работает в Баффало, на заводе, но у него свой домик и машина (иначе нельзя — на работу, с работы).

Все ближе к берегам озеро Эри, уже слышен рев водопада. А вот и он. Облако брызг сверкает в солнечных лучах, а под ним крутая стена низвергающейся вниз могучей прозрачной давящей воды. Колоссальный грохочущий каскад поражает своей шириной и вместе с тем высотой. Это просто чудо, одно из немногих официально признанных чудес света. Он настраивает вас на мысли о вечном движении (притом, как кажется, бессмысленном в своем постоянстве, в своей неисчерпаемости и повторяемости). Меня иногда раздражает прилив волн моря. К чему это? Опять и опять ползут или бросаются все новые и новые, такие разные и вместе с тем такие одинаковые. А Ниагара — тем более. И откуда так много воды — все падает и падает, бесполезно! Очевидно, бесконечность — истинная, к которой приближается бег воды Ниагары, — скучная, что-то тупое; умрешь, умрут дети, внуки, правнуки (как умерли твой отец, дед, прадед), а вода будет все падать и падать, лишь немного меняя ход своих струй, как бы кокетничая своей игрой, без смысла, без конца. Вечность такого водопада, как и кажущийся нам вечным прибой моря, есть злая альтернатива кратковременности нашей жизни, в них природа не только равнодушна, но и насмешлива по отношению к нам, ее, извините, царям.

Мы съездили на экскурсию к Ниагарскому водопаду и приехали в Баффало под вечер. Большой город нас удивил названиями своих улиц в честь поляков старых и новых; улица Падеревского, улица Пилсудского, улица Костюшко... Оказывается, здесь живет до 200 тысяч выходцев из Польши — многие из них, впрочем, постепенно забывают свой родной язык. Член партии Янушкявичюс стал вспоминать адреса каких-то своих

знакомых — выходцев из Литвы, но постеснялся пойти к ним. На аэродроме самолет из Чикаго запаздывал, погода круто переменилась. Нам посоветовали не ждать, а получить взамен авиабилетов железнодорожные. Мы погрузились в экспресс, в спальный вагон (смешные одноместные поперечные купе), и утром были в Нью-Йорке на Мэдисон-авеню.

Я никогда не забуду первого впечатления от великого города. Позже я много раз въезжал в него из аэропорта. Машины долго кружатся по лабиринтам подъездных дорог и окраинным скучным, неказистым, даже грязным улицам, покуда наконец не достигают центра. Однажды мы проехали на машине с самого конца Бродвея, который нам показался захудалым. «Неужели это Бродвей?» — разочарованно спрашивали мы. Но приехать сразу на Центральный вокзал и очутиться на красивой и величавой Мэдисон-авеню с полосой цветников посередине и широкими тротуарами, окаймляющими великолепные высочайшие дома — другое дело: вы сразу в лучшей части города.

Нью-Йорк поражает своим величием. После него другие города вспоминаются как города прошлого. Так, вернувшись из Нью-Йорка в Париж или Брюссель, вы как бы попадаете в прошлый век. Именно Нью-Йорк — столица XX века, он — вершина современной урбанизации. Стройные, уходящие ввысь и иногда пронизывающие тучи небоскребы — эти колонны, поддерживающие небосклон, — совсем не кажутся мрачными и вовсе вас не подавляют. Они поражают своей математикой, воплощенной в камне, своим лаконизмом, чистыми прямыми линиями. Вы думаете: наконец-то архитектурный гений воплотил новые формы жизни нашей планеты! Особенно хороши новые небоскребы, в которых геометрическая идея не загрязнена украшательством во вкусе прошлых веков. Хороши эти здания при заходе солнца: горят в его лучах бесконечные стекла витрин, город становится каким-то волшебным, легким и вместе с тем грандиозность его еще усиливается. Но и ранним утром, когда еще нет такого лязга транспорта и потока людей, он представляется какой-то фантастической архитектурной симфонией, и не верится, что ее могли создать не боги, а люди. В этом смысле он даже напоминает мне Венецию, как странно это ни звучит.

Первый раз город казался нам чудовищным, где легко пропасть, тем более нам, из Советского Союза, да еще плохо знающим язык. К тому же нас призывали перед отъездом передвигаться всем скопом (чуть ли не держаться за руки, вот чушь!). Потом я уже ходил один по Нью-Йорку, как по Москве.

Очень удобно было, что в Нью-Йорке жил тогда мой бывший

сотрудник Нодар Кипшидзе. Он возил нас по городу на машине, данной ему нашим представителем в Объединенных Нациях Маликом<sup>[256]</sup>. Кипшидзе и его красивая жена Буба кормили нас ужином. Жили они в двух комнатах в скромной гостинице, подрядились на два-три года. Они же помогли нам истратить уцелевшие доллары — возили к какому-то Яшке, купцу, торговавшему сукнами на Первой стрит, говорившему по-русски и ставшему поставщиком всех русских, приезжающих на сессии ООН, или наших артистов, ученых и т.п. Якобы специально для нас он сбавлял цены. Товар же у него был (да и надо думать, есть до сих пор) отличный.

Хотя к моменту моей первой поездки в США я уже побывал в странах Западной Европы, в том числе в Париже, торговый Нью-Йорк произвел на меня — на нас — большое впечатление. Фешенебельные магазины Пятой авеню, кипящий коммерческий муравейник Бродвея с открытыми до полуночи лавками, блеск витрин, разнообразие товаров. Нет, нигде в мире такого изобилия продажи нет. Притом в магазинах много покупателей, хотя никаких очередей. «Богатая страна, богатый народ», — невольно думаешь, тем более что на улицах, по крайней мере центральных, не встретишь плохо одетых (все одеты, по первому впечатлению, одинаково прилично. Но позже начинаешь различать, что одни одеты изящно, в дорогие костюмы, а другие — в дешевые, более простые). Вот обувь у дам вся новая, старых ботинок — по нашим понятиям — нет вовсе (хорошие дамские туфли стоят 10 долларов, то есть на средний месячный заработок рабочего — 400 долларов — можно купить 40 пар хороших туфель, а у нас на средний заработок рабочего, положим, в одну тысячу рублей — в старом исчислении — только две пары, то есть она у нас дороже в 20 раз!).

В известном универсальном магазине «Мейси» (в котором позже побывал А. И. Микоян) мужской костюм приличного качества и модный (такой купил П. Е. Лукомский) стоит 40 долларов, то есть на зарплату рабочего в месяц можно купить 10 костюмов, а у нас можно купить один такой на месячную зарплату. Впрочем, говорят, американцам очень дорого болеть, они вынуждены тратить много денег на отпуска, их квартиры поглощают изрядную часть их бюджета, у них не обеспечена пенсиями старость и т.д. и т.п. — и это все, конечно, верно.

Нью-Йорк богат собраниями картин. В тот первый раз я особенно был увлечен коллекцией Фрика. Это небольшая галерея в специальном особняке на Пятой авеню (там, где последняя уже теряет вид шикарного проспекта, а одну сторону ее образует длинный Центральный парк). Отобраны собирателем лишь поистине первоклассные вещи. В центральной обширной комнате в староанглийском вкусе над камином —

замечательный Эль-Греко, по бокам — портрет Томаса Мора Гольдбейна и один из автопортретов Рембрандта. В следующем зале — английские портреты, и среди них прелестная леди Гамильтон (с собачкой) кисти Ромни. До чего же может быть обворожительна женщина! Кажется, стоял бы и не уходил, смотрел в эти большие, нежные и вместе с тем немного смеющиеся глаза, на ниспадающие пышные каштановые волосы, на этот чудесный овал розовых щек, изящные ручки! Пес, правда, ни к чему, но таков был тогда стиль. Отличные испанцы, в том числе Гойя, Веласкес. В зале французской живописи особенно обратил на себя внимание незаконченный портрет кисти Дега — как надо мало сделать гению, чтобы создать шедевр (по крайней мере, иногда). Долго любовался я и картинами Вермеера, особенно «Офицером и смеющейся девушкой» на фоне географической карты, освещенных светом, льющим из полуоткрытого окна.

В Метрополитен-музее картин, конечно, много, даже слишком много (иногда, когда идешь по залам Эрмитажа, тоже возникает ощущение, что слишком много повешено, друг на дружке, им, картинам, тесно, внимание рассеивается и утомляется, — в новых музеях висят картины в один ряд; хорошо, что так развешены последнее время у нас французы на третьем этаже).

Мало мне понравилась их развеска: во-первых, по собраниям, поступавшим в музей от частных лиц, очевидно, оговоривших некую автономию своих бывших коллекций и, во-вторых, по годам, а не по национальным школам (таким образом, в одном зале могли встретиться итальянцы, голландцы, французы и т.п.). Американская живопись, впрочем, совершенно отделена от европейской (а как раз она в немалой степени явилась ученицей англичан и отчасти французов), речь идет о старой живописи, прошлых двух столетий.

Мне показалось, что в этом музее уж слишком много английских портретистов (больше, нежели в известных музеях в самой Англии) — так, Гейнсборо своими дамами в длинных платьях, с длинными руками и удлиненными лицами определенно вызывает скуку, не говоря уже о менее даровитых мастерах.

В нижнем этаже мы побродили по египетскому и другим античным отделам — больше из уважения, чем интереса.

Ф. Ф. Талызин свел меня в музей естественной истории (что у Центрального парка, между Семьдесят седьмой и Восемьдесят первой стрит). Там интересно сделаны витрины, представляющие фауну и флору разных стран мира (в прошлом — поскольку она в наше время быстро

меняется). Очень красивы, как живые, макеты животных на фоне соответствующего ландшафта. Мне кажется, для образования детей, для школы это замечательные учреждения — и как жаль, что у нас ничего подобного до сих пор не сделано. Я заметил, что нью-йоркские школьники группами постоянно заполняют залы музеев — не только данного, но и Метрополитен-музея, где им объясняют историю и содержание живописи.

Обратный путь мы летели на самолете американской компании — полупустом. Изыщные стюардессы то и дело предлагали нам вино, кофе. Кухня от «Максима», пили шампанское. «Почему так мало пассажиров, всегда у вас так?» — спросили мы одну из стюардесс, оказавшуюся по национальности чешкой. «Нет, не пожелали лететь в самолете нашей компании в связи с катастрофой, происшедшей вчера, — вернули билеты». — «А сколько погибло?» — «Да около сотни с экипажем». Вскоре стали нам объяснять, как надевать на себя жилет на случай аварии над океаном, как вдвухать в него воздух после выхода на крыло через особые люки, как, попав в воду, зажигать лампочку, приделанную к спасательной одежде (если это случится ночью, чтобы было видно, кого надо спасать), как, наконец, посыпать воду особым порошком перед пастью акулы, если таковая приплывет к вам, и т.д. и т.п. Успокоенные всем этим инструктажем, показанным частично на красивых фигурах, мы вскоре заснули, укутанные лишними пледами, и проснулись, уже когда самолет подлетал к парижскому аэродрому Орли.

Второе путешествие в США в 1960 году также весной я совершил в обществе моих сотрудников — И. И. Сперанского, Н. Н. Кипшидзе и М. Б. Бавиной. Кстати, последняя — биохимик и секретарь партийной организации Института терапии неплохо оделась и имела неожиданно для нас вид *вполне comte il faut*. В Нью-Йорке нас встретил представитель Национального института сердца из Бетесды (Вашингтон), куда мы и направились.

Уже совсем ночью прибыли мы в отель с важным швейцаром-негром. Другой такой же господин (негр) переправил на лифте наши чемоданы в номера, и мы уже знали, что надо дать ему по четверти доллара.

Наутро за нами приехали уже знакомые нам по их визиту в Москву коллеги из Института сердца, и после кофе и кукурузных хлопьев в молоке мы отправились в институт.

Это замечательное учреждение находится километрах в 30 от Вашингтона: группа прекрасных зданий в огромном парке, свободно

расположившемся на холмах, изрезанных гладкими лентами дорог; все вокруг зеленело и цвело, и лишь сверкающая разными красками непрерывно движущаяся цепь автомобилей нарушала впечатление о девственной, естественной природе местности. Мы невольно сопоставили в этом наш институт, здание которого всунуто в кучу других домов в одном из переулков в центре Москвы — без сада (и из секционной которого выносят покойников на глазах сотен ничем не повинных жителей, тесно заселивших многочисленные квартиры вокруг).

На совместное заседание прибыли Уайт, профессор Эндрюс из Балтимора, а позже и другие — Райт из Нью-Йорка, Берч из Нью-Орлеана, Ирвинг Пейдж из Кливленда и знаменитый хирург Дебейки<sup>[257]</sup> из Хьюстона. Встречи были запланированы так, что утром заслушиваются некоторые специальные научные доклады сотрудников Института сердца, затем — осмотр соответствующих лабораторий, а после ланча — вечернее заседание, обсуждение тех или иных научных проблем.

Институт сердца — один из шести институтов, объединяющихся в Национальный институт здоровья — государственное учреждение, созданное для развития научной медицины в ее главнейших областях: кардиологии, онкологии, нейропсихических заболеваний, эндокринных заболеваний, ревматизма. В Бетесде — его основная база; кроме нее, на финансировании института находятся некоторые лаборатории виднейших ученых, работающих в различных других городах США — на базе клиник медицинских факультетов университетов или крупных больниц. Каждый институт, входящий в общий Институт здоровья, имеет свое клиническое отделение и многочисленные специальные научные лаборатории (там называют их лабораториями, хотя обычно они занимают по одной-две комнаты), оборудованные новыми приборами (часть которых создается с участием научных сотрудников института, в специальном конструкторско-техническом отделении, к работе которого привлечены физики, химики, инженеры, решившие работать в области медицинской аппаратуры, подчас имеющие двойное образование — техническое и медицинское).

В клинических палатах лежат не только больные (по специальному строгому отбору согласно соответствующей проблеме, разрабатываемой институтом, или же с экзотичными казуистическими заболеваниями, расшифровка природы которых может сулить раскрытие каких-либо общих закономерностей в патологии), но и здоровые — для контроля, за что (за производимые на них исследования и за потерю времени) таковые получают неплохой гонорар из бюджета института. Институт имеет в своем составе: а) медицинскую библиотеку и б) виварий. И то и другое поражает



масштабами и совершенством организации. В библиотеке (огромное современное здание) собрана вся мировая научная литература по медицине, имеется и русский отдел, расположенный в нескольких залах; вся она реферируется, переводится с оригинальных языков на английский; любые справки, выписки, фотоснимки пересылаются в любую страну мира.

Виварий — целый городок с кварталами обезьян, собак, кроликов, хомяков, крыс и т.п. Особенно замечательны стерильные условия, в которых живут чистые линии мелких лабораторных животных (для изучения роли наследственности, предрасположения к болезням в связи с особенностями питания и т.п.). Тот или иной важный опыт ставится на десятках обезьян, на сотнях кроликов, на тысячах мышей. Обслуживает эту громадную колонию животных специально обученный персонал, в состав которого входят врачи, ветеринары, гигиенисты, зоотехники.

Доклады, сделанные для нас американскими коллегами, как правило, отличались конкретностью и лаконичностью. Все на рисунках и таблицах. Автор лишь их вкратце комментирует. Никакой болтовни, никаких общих фраз, вначале — только несколько литературных ссылок, причем совершенно точных, не диктуемых ни национально-патриотическими, ни какими-либо иными предвзятыми соображениями. В обсуждении — вопросы и ответы, краткие, деловые, даже сухие.

Институт сердца не понравился мне лишь одним: своей научно-аристократической замкнутостью. Больные — только объект изучения (новых точек зрения, новых методов диагностики или лечения). К тому же их как раз мало — не в пример числу животных. Отдельные лаборатории не интересуются, что делается у соседей — царит узкий круг изучения проблемы: чем уже, тем выгоднее для дела, рабочие гипотезы и рассуждения делаются лишь по окончании работы, притом нехотя. Но, конечно, это стиль, хорошо зарекомендовавший себя в других науках — физике, химии, — и нет причины считать его неподходящим для клинической медицины как науки. И мне кажется, что за все свое существование более десяти лет Институт сердца в самой Бетесде не сделал какого-либо существенного открытия в медицине, по крайней мере — в кардиологии.

В те годы в политике, казалось, намечалось уже некоторое смягчение взаимоотношений между нашей страной и Соединенными Штатами. Н. С. Хрущев только что побывал в Америке и, надо сказать, понравился американцам. Его нашли простым, склонным к деревенской хитрости, к немного неприличной шутке, но все же настроенным миролюбиво и неглупым. Сам Хрущев вывез из поездки по Америке много впечатлений —

об успехах сельского хозяйства, о новых зданиях, о товарном изобилии, о деловых людях, — после той поездки у нас стали по-новому строить, упираться на торговлю, ЦК занялся разработкой проблем кормов, навоза, — вместо ампирических помещичьих дворцов на аэропортах заложили новые вокзалы легких конструкций в духе времени. И т.д. и т.п. Вдруг — бах! Пауэрс со своим самолетом! Шпионские полеты над Уралом, а еще раньше даже по майскому небу Москвы! Как раз наша поездка в США совпала с этими днями. И вот что поразительно: никто из многочисленных врачей, нас встречавших, нас окружавших в это время, ни одним словом не обмолвился о том, о чем писали газеты; все были полны дружелюбия и внимания. Нас кормили бесплатно ланчами, по вечерам приглашали в гости то в один, то в другой дом. Так, замдиректора института доктор Терри, в будущем «главный хирург» США, то есть министр здравоохранения (сам он по специальности терапевт, это просто традиционное наименование данной должности, как, например, государственный секретарь, то есть министр иностранных дел и т.п.), принимал у себя в небольшом коттедже из пяти-шести комнат; сверху спустилась в одних чулках его жена, стройная моложавая женщина, оказавшаяся очень веселой, любительницей танцевать твист (мне так и осталось неясным, почему она оставила тогда в спальне наверху свои туфли).

Если ростбиф, каждый подходил и накладывал куски в свою тарелку, а потом садился где-нибудь; на коленях резал мясо кое-как и клал себе в рот. Вино надо было опять доставать самому, неудобно, но демократично. Потом кофе, обычно уже стоя. Правда, когда мы очутились опять в Бостоне у Уайтов, обед (точнее, ужин) был по всем европейским правилам; рыба, мясо, птица, сладкое вино белое, красное (бургундские), прекрасная сервировка — старинный фарфор Веджвуда, между прочим, — на полированном столе красного дерева, не покрытом скатертью; потом дамы ушли в другую комнату, а мужчины, по английскому обычаю, оставались, курили, пили кофе и коньяк.

На наших заседаниях под конец выступил Дебейки, хирург, всемирно известный своими операциями на сердце и сосудах; он вставляет больным вместо склерозированных или закупорившихся артерий, новые из полиэтилена; блестящий кинофильм об этом он показал нам. Как и другие американские коллеги, он оказался простым, приятным человеком. Притом для встречи с советскими терапевтами он прилетел за две тысячи километров из Хьюстона.

После Вашингтона мы, по приглашению Уайта, отправились в Бостон, где посетили новую группу лабораторий, а также были в гостях у

известного хирурга Смисуика — инициатора операций на симпатической нервной системе при гипертензии. Теперь, когда для ослабления передачи по симпатическим нервам прессорных импульсов имеются эффективные, хорошо дозируемые фармакологические средства, конечно, уже не приходит на ум предлагать больным с обычной эссенциальной гипертензией операцию симпатикэктомии; Смисуик соглашается с этим, но спрашивает, не могла ли его методика сослужить службу в понимании патогенеза гипертензии и в развитии нового направления в ее терапии — пусть теперь лекарственного. Мы охотно соглашаемся с ним.

К тому же он очень любезный господин, семья его также очень любезна, все любезны, а вилла стоит не только на берегу Атлантического океана, а, так сказать, даже в нем самом — она расположена на скале — на «материк» ведет изящный мост, а вниз к воде ведет лесенка, и там покачиваются в волнах яхты и лодки. Недурно, думаем мы, оглядывая даль океана сквозь огромные витрины (вместо окон) из уютной, комфортабельной гостиной.

Приехал и профессор Рааб из Бермингтона. Австриец по национальности, известный ученый в области изучения роли гормонов и вегетативной нервной системы во внутренней патологии, он говорит, что ему нравится направление работ нашего Института терапии, что он собирается в Москву, что он изучает русский язык — и действительно, мы переходим с ним на русскую речь, в которой слышатся немецкие интонации. Рааб, между прочим, говорит, что американские ученые мало понимают теорию проблемы, ограничиваются равнодушными фактами — радуясь, впрочем, если из них вытекает некая практическая польза. Истинной эрудиции у них нет.

Но следующий визит — к профессору Пейджу в Кливленде — эти суждения, во всяком случае, ограничил. В клинике и лабораториях профессора Пейджа мы познакомились с высотами нашей науки. Прежде всего нам показали коронарографию у больных. Специалист, который уже сделал 500 исследований, считает себя терапевтом-рентгенологом и, в частности, кардиологом. Смертность при манипуляциях доведена до нуля. На пленках ясно видны коронарные сосуды, их структура, в том числе стенозы и атеросклеротические деформации.

Нам показали также первые опыты с искусственным сердцем — прибором, вставленным в грудь собаки. У меня сохранился номер местной газеты с фото: на снимке — профессор Пейдж, я и другие члены нашей группы, — доктор Колф, автор работы, передает мне искусственное сердце и говорит: «Очевидно, свои сердца вскоре будут уж не столь нужны», на

что профессор Пейдж замечает: за исключением того, что они будут нужны девушкам («ехерт for girls»).

Далее нам продемонстрировали полученный синтетически ангиотензин II (то есть прессорный агент, образующийся в организме из белка под влиянием ренина), — таким образом, мы вновь укрепились в представлении о важной роли почек при гипертонии. Одновременно нас ознакомили с рентгенографией почечных артерий и с новыми методами наложения шунта при их стенозе. Был сделан для нас доклад о серотонине с демонстрацией больного (до того момента мы знали о серотонине смутно, если не сказать, не знали). Были показаны аорты кроликов, которым вводился не холестерин, а другие крупнокolloидные вещества (например, теин) — в интима сосуда были ясно видны суданированные липоидные пятна — следовательно, коллоидные вещества любой природы чисто физически воздействуют на сосудистую систему, способствуя ее последующей инфильтрации липидами, — идея, которая в дальнейшем получила развитие в некоторых работах Института терапии.

Пейдж — интересный человек, с юмором, скептик. Он автор большого числа важных научных работ, его имя — одно из первых в международной медицине. Тем не менее на тот или иной вопрос он часто отвечает «I have no idea»<sup>[258]</sup>. В теоретических объяснениях он готов к компромиссным схемам. Нам он дал труды, сборники — и с момента визита в Кливленд я и Сперанский стали получать издаваемый им «Modern Medicine», выходящий два раза в месяц, с обложками, на которых даются портреты в красках того или иного ученого-современника; в этом журнале каждую передовую пишет Пейдж — на самую разнообразную тему, в том числе и социальную. Естественно, он не обходит в своих высказываниях и политику, в том числе коммунизм, в торжество которого он не верит, и ратует за мир и взаимопонимание.

Кстати, когда Пейдж на следующий год приезжал к нам в Москву, он восхищался Большим театром и иконами (как, впрочем, и другие культурные иностранцы), но о своих общих впечатлениях не счел нужным потом высказаться на страницах своего журнала. Был он у нас и на даче: перед обедом дамы отправились в уборную с ванной, а мужчины должны были все проделать на улице, воспользовавшись маленьким деревянным учреждением у забора. Пейджу попал в руки печатный листок, на котором был изображен опыт на собаке с исследованием высшей нервной деятельности, и он разобрал, что дело идет об учении Павлова. «А, вот как вы цените это ваше пресловутое учение», — пошутил он.

В перерыве между посещением различных лабораторий нас окружили

корреспонденты и просили высказаться. К тому дню, судя по газетам, международная обстановка резко ухудшилась. Полет U2 Пауэрса<sup>[259]</sup> и наша реакция в адрес Эйзенхауэра<sup>[260]</sup> делали негативной перспективу переговоров «на высшем уровне» в Париже — хотя и президент США, и Н. С. Хрущев уже встретились там. Оскорбительный тон обвинений Хрущева в адрес столь популярного в Америке генерала смутил народ, несмотря на общее стремление не вдаваться в политику. В интервью нас спросили, что мы думаем о Summit Debate (то есть о срыве переговоров в верхах). Мы предпочли сказать, что знаем об этом лишь из американских газет и их информация не дает нам права судить обо всех обстоятельствах события. Потом задавались вопросы о научных делах. На следующий день в газетной заметке сообщалось, что встречи в верхах советских и американских кардиологов — не в пример встрече глав правительств — оказались полезными и конкретными, особо выпячивалось наше заявление, что нам показали все (то есть открыто, ничего не утаивая).

На следующее утро в газетах заголовки: полный срыв переговоров в Париже. Нас везет из отеля молодой сотрудник гостиницы, Пейджа нет. На аэродроме оформляется багаж — публика уткнулась в газетные страницы. И. И. Сперанский говорит мне тихо: «Как-то неловко разговаривать сейчас по-русски». Даже Кипшидзе смущен, молчит, как и М. В.

В Нью-Йорке мы в какой-то другой гостинице, позаботился Институт сердца, прислал, как и раньше, представителя. Ночью мы включили телевизоры: из Парижа передавали выступление Н. С. Хрущева. Он кричал, ругался — сердитая физиономия, впрочем, казалась немного растерянной. Рядом сидел Малиновский, как большой медведь. Переводчики смягчали неприличные слова.

На следующий день, согласно программе, мы должны были собраться в каком-то офисе, кажется, это было учреждение, аналогичное нашему городскому отделу здравоохранения. Лифт доставил нас на высокий этаж — и здравствуйте, тут все знакомые. Прибыли из Бетесды директор Уотт и его заместитель Терри, профессор Эндрюс из Балтимора, и опять профессор Уайт, прилетевший специально из Бостона! Вот вам и срыв Summit conference! Друзья остаются друзьями — могли бы ведь и не приехать!

Мы обсуждали результаты встречи, высказывали свои взгляды на будущие формы сотрудничества. Американские коллеги настаивали на целесообразности посылать к нам молодых врачей на более или менее

длительные сроки. Через год темой их приезда в Москву должна служить проблема кардиосклероза, а также обсуждение классификации гипертонии и атеросклероза, то есть типично наши вопросы («для лучшего взаимопонимания»).

В заключение был ланч, для чего мы перешли в старинное здание в голландском стиле — одно из немногих сохранившихся с того времени, когда Нью-Йорк был еще Новым Амстердамом и им владели голландцы. За обедом глава здравоохранения Нью-Йорка, женщина (фамилию ее я не запомнил), сказала соответствующую любезную речь. Потом мы дружески расцеловались с Уайтом и другими. А вечером из аэропорта, который носит теперь имя Кеннеди, мы отбыли в Брюссель, откуда я должен был, уже один, направиться в Прагу на симпозиум по гипертонии.

Третья поездка в США состоялась осенью 1962 года. Кроме меня, были еще вновь П. Е. Лукомский и Н. Н. Кипшидзе. На этот раз мы пролетели океан — из Копенгагена до Нью-Йорка — на «Боинге» за 6 часов 40 минут! Нас встретил доктор Зукл, заместитель директора Института сердца; сразу в Вашингтон, там поджидала нас его машина, гостиница — спать. Все быстро и уже знакомо, почти привычно.

На следующий день — воскресенье — мы расхаживали по Вашингтону и немножко злились, что пропадает целый день зря. Потом — дни встреч в Бетесде, доклады. На этот раз сделал интересный доклад о своих абхазских стариках Кипшидзе; все заинтересовались: влияние ли особых условий жизни или генетические факторы? Как у них холестерин? А, низкий. Вот потому-то и жили долго. А питались обычно? И жен имели новых в старости? Скажите как интересно! Ну а дети были? Много? Вот это ловко! и т. д.

В этот период в развитие договора по обмену в Бетесде был и наш патолог А. М. Вихерт<sup>[261]</sup> (и уже успел недурно подучиться английскому). Он также сделал доклад о начале работы в нашей стране по эпидемиологии атеросклероза (данная область в США получила немалое развитие благодаря энергии Энсела Кейса<sup>[262]</sup> при поддержке Уайта — они периодически устраивали экспедиции в различные страны мира и организовали целую систему наблюдений).

Министр здравоохранения доктор Терри дал в честь нашего приезда обед, на котором преподнес мне только что вышедшую из печати на английском языке мою книгу «Атеросклероз» (перевод был сделан по инициативе Института сердца, а книга — разослана во все медицинские

библиотеки США); это, между прочим, первый случай перевода книги, написанной русским клиницистом. Сей весьма торжественный для меня момент (что ни говори — весьма приятный и с личной, и с национальной точки зрения) был зафиксирован на фото, которые потом были воспроизведены в американских журналах. К слову сказать, наши газеты, в том числе даже «Медицинская», не нашли нужным вообще сообщить об этом (и стали расписывать обо мне только позже — после получения «Золотого стетоскопа»).

Переночевав в отеле, мы вылетели согласно программе в Чикаго. В великолепном здании чикагского аэропорта нас встретил профессор Стамлер, специалист по атеросклерозу, многочисленные труды которого в этой области мне были хорошо известны. Было очень интересным посещение лаборатории Луи Каца.

Кац — один из наиболее крупных кардиологов США, председатель национального кардиологического общества, казначей международного общества и т.д. Он широко известен своими исследованиями в двух направлениях: в области изучения экспериментального атеросклероза (отчасти совместно со Стамлером) и в области электрокардиографии. Как известно, именно Кацу принадлежит создание второй удобной модели экспериментального атеросклероза — на петушках (после первой Аничкова на кроликах). В его лаборатории полным-полно петухов и кур, даже как-то смешно. Совместно со своей многолетней сотрудницей доктором Пик Кац показал, что женские половые гормоны оказывают действие, тормозящее развитие атеросклероза (вот, оказывается, почему женщины гораздо меньше страдают от этой болезни и болеют ею позже, когда защитное действие женских половых гормонов уже прекращается, после климакса).

Профессор Кац к определенному часу собрал полную аудиторию врачей и научных сотрудников. Открывая заседание, он приветствовал советскую делегацию, упомянул о приоритете русских исследователей (Аничкова) по атеросклерозу и показал публике только что им полученную мою книгу на английском языке; он сказал, что выход этой монографии, как и мой приезд, — большое событие для чикагских кардиологов.

Затем я сделал доклад, который вызвал немало интересных вопросов. Я отвечал на них по-английски, внутренне удивляясь, что уста мои разверзлись (я ведь никогда английский язык не изучал). В заключение Кац очень любезно отозвался о докладе, аплодировали и т.д. После чего мы были у него на обеде в большой современной квартире, вся из стеклянных витрин, с видом на озеро — с высоты пятидесятого этажа.

Вечером в честь нашей делегации устроило прием чикагское

кардиологическое общество. Одна русская дама, врач-биохимик, вцепилась в нас, обрадовавшись случаю поговорить на родном языке и узнать, как жизнь в Москве, Петербурге. Она очень любит — как и многие в Америке — музыку Шостаковича и Прокофьева, а дочка у нее учится в консерватории; как мы думаем, можно ли ей поехать в Россию, поучиться там? Оказалось, что среди собравшихся и некоторые другие говорят по-русски, «немножко» — то ли учатся, то ли выходцы из западных губерний.

Я, конечно, успел зайти в картинную галерею. Она носит здесь название Art Institute. В подъезде по обеим сторонам — львы. В музее великолепная коллекция французских импрессионистов (откуда их столько набрали американцы!). Особенно любят чикагцы «своих ренуаров» — молодую женщину с дочкой на террасе (действительно, чудесная вещь — и женщина, и сад, и все!), а также этюд к купальщицам.

Понравилась вещь Дега — «В лавке шляп» — и знаменитая кровать Ван Гога (The Bedroom at Arles — «Спальня в Арле»). Там же висит одна из импровизаций Василия Кандинского (с указанием: Russian 1866–1944 г.), вещь интересная, изящная. Как жаль, что мы отрециваемся от нашего соотечественника, так много давшего мировому искусству, везде признанного (к тому же, судя по его деятельности в первые годы после Октябрьской революции, человека левых, кажется даже социалистических, убеждений)! Как всегда, противный Пикассо представлен также.

В Чикаго Н. Н. Кипшидзе свел меня посмотреть стриптиз. В полутемном зале за столиками вокруг эстрады сидели мужчины; на освещенной эстраде вертелась молодая женщина. Сперва она была более или менее одета, потом, совершая различные па, стала снимать с себя кофту, юбку, лифчик, чулки. Осталась лишь небольшая повязка на соответствующем месте. Самое главное, по-видимому, не столько в том, что она публично разделась, а в постепенном самооголении на глазах у мужчин, в смаковании этого, а может быть, в сладострастных движениях; некоторые «артистки» при этом как бы изображают или переживают процесс полового акта — телодвижения их должны напоминать те, которые производит отдающаяся мужчине женщина. «Смен» было несколько: особы маленькие и высокие, худенькие и полные (относительно), блондинки и брюнетки — на любой вкус. Пробыв час, мы ушли, поплеывая, с ощущением напряжения и вместе с тем брезгливости.

Из Чикаго мы перелетели в Ричмонд — небольшой город, в котором находится знаменитая клиника братьев Майо. Сейчас это одно из излюбленных мест усовершенствования врачей — не только США, но и многих стран. Раньше нам казалось, что клиника Майо является



хирургической — нет, в этом институте большое место уделяется и терапии, неврологии, физиологии. Замечательна история этого прекрасного учреждения. Основателем его был старший Майо, тип нашего земского врача-универсала. Сто лет тому назад из мальчишек, продававших на улицах Чикаго газеты, он попал в студенты, сделался врачом, открыл маленькую больницу. А теперь, главным образом усилиями его двух сыновей, пошедших по стопам отца, эта больница превратилась в громадный исследовательский и педагогический центр, оборудованный по последнему слову науки и техники.

Далее мы перелетели в Миннеаполис. Встретил нас профессор Симпсон. Он служил когда-то врачом в Харькове, но было видно, что он уже подзабыл русский язык. Он растрогался и повез нас к себе пить кофе. Разговорились о наших медицинских журналах, некоторые Симпсон выписывает и старается читать, так как обычно печатает в американских журналах обзоры советской медицины. «Почему самый неинтересный ваш журнал носит громкое название «Советская медицина»? Ведь там читать буквально нечего. Да и вид ужасный. Вообще как узнать, что надо реферировать, что заслуживает доверия? Печатают какие-то статейки, казуистику — к чему это читать?» Мы советуем Симпсону обратиться к другим нашим журналам, обещаем ему сообщать периодически, на какие работы стоит обращать внимание (обещание, впрочем, так и не выполнено).

Кофе выпит, мы благодарим старенькую госпожу Симпсон и едем к Энселу Кейсу.

Кейс, не то гигиенист, не то кардиолог, — один из интереснейших персонажей в США. Он неутомимый организатор клинической эпидемиологии, инициатор упрощенных биохимических методик, пригодных для массового применения, автор практических кодов электрокардиограмм и т.д. и т.п. Недавно он создал специальный «эпидемиологический вагон», в котором его сотрудники разъезжают по американским штатам, изучая лабораторные показатели, важные для диагноза сердечно-сосудистых заболеваний, анализа состава пищи и т.д.; вагон прицепляют к поездам в нужных направлениях (Кейс нам его показал — отличный вагон, вот бы нам создать такой!). У Кейса собралась большая группа ученых из различных стран (в том числе его друг из Японии — Кипура, а также профессор Лепим из Бельгии и др.). Начался симпозиум по критериям ишемической болезни сердца.

Миннеаполис — большой город, с вузами и промышленными предприятиями, столица обширного и богатого, преимущественно

сельскохозяйственного штата Миннесота, граничащего с Канадой. Просторы — чисто русские, даже сибирские. Мы посетили университет, в том числе студенческий клуб (громадное здание со столовыми, концертными и кинозалами, обширной библиотекой и т.п., вот бы нам такой клуб!). Молодежь нам показалась приятной, воспитанной и хорошо одетой; довольно много девушек. «Да, нынче девушки стремятся иметь высшее образование, специальность и не желают быть только женами», — говорит нам Кейс (его жена ездит с ним в качестве лаборанта).

Утром мы вылетаем из Миннеаполиса в Сан-Франциско. Путь длинный, несколько часов лета. Внизу бесконечные равнины. Должно быть, это прерии, думаем мы. Постепенно, впрочем, рельеф меняется, приближаемся к Скалистым горам. На середине пути — остановка, Солт-Лейк-сити, город Соленого озера. В аэропорту покупают сувениры — индейские аксессуары, ножи, стрелы, очень красивые открытки с изображением индейцев в типичном одеянии. Индейцы живут тут в резервациях, их осталось две-три сотни тысяч. Само Соленое озеро имеет белесый вид, кругом белые отложения соли. С самолета едва рассмотришь слоистые крытые берега реки Колорадо. Горы все выше и выше, перелетаем Кордильеры — и открывается океан. Вид на сан-францисскую бухту и на город восхитителен, но уже темнеет (сильная разница во времени). Нас встречают незнакомые врачи. Едем по бесконечному мосту через залив, на виду — сверкающий огнями город.

Утром — что за город! Всюду видна синева залива. Прекрасные здания венчают мягкие холмы, утопая в вечнозеленой зелени, масса цветов. Климат целый год тепло-прохладный, нет ни зимы, ни жаркого лета («город вечной весны»); тропические растения смешаны с флорой умеренного пояса. Говорят, купаться в море холодно. Прохладу несет течение с Аляски, отсюда и достаточная влажность (хотя много ласкового, незнойного солнца). Жители горды своим прекрасным городом и обычно не склонны уезжать из него. Он и велик — до 2 миллионов (с Опландом), но просторен и отнюдь не кажется переполненным, как Нью-Йорк или Чикаго.

В какой-то громадной больнице, занимающей небоскреб, нас познакомили с некоторыми сторонами медицинской работы в Сан-Франциско. Нам сообщили, что до 90 процентов рабочих получают медицинскую помощь бесплатно, поскольку они охвачены страховой системой (четверть суммы складывается из вычетов из зарплаты, четверть — платит муниципалитет, еще одну четверть — промышленное предприятие и последнюю четверть — профсоюз), страхуется и часть членов семьи; в больницах — городских — плата также не взимается,

кроме, конечно, частных лечебниц. Сообщили нам и о профилактической работе; например, об итогах десятилетнего наблюдения за курящими и не курящими в отношении частоты в обеих группах коронарного тромбоза; оказалось, что в группе курящих он развился за данный срок в два раза чаще.

Мы посетили и клиники, где познакомились с некоторыми новыми методиками по перманентному измерению кровяного давления, по цитологии легких, по оценке гипертрофии сердца и т.д. Один из профессоров носит фамилию Соколов, однако сын выходцев из России не знает ни единого русского слова. Кстати, он придерживается взгляда о том, что эссенциальная гипертония имеет нервную природу (на основании изучения эмоциональных факторов в анамнезе у гипертоников молодых — в том числе школьного возраста); забавно, что о нейрогенной теории гипертонии, разработанной в Советском Союзе, он узнал только два года назад из моего доклада на пражском симпозиуме.

Китайская часть города мне показалась несколько театральной — поскольку я уже побывал в Китае и мог убедиться в том, что там нет ни лощеной чистоты, ни фонариков, ни комфорта, как это создано здесь, под американским флагом, — хотя сами домики с типичными крышами и люди с плоскими лицами и раскосыми глазами похожи.

В музее в парке на берегу океана (Великого, или Тихого) я смотрел выставку французских художников-барбизонцев; доктор, водивший меня туда, купил мне отличный иллюстрированный каталог, в который с тех пор я часто заглядываю. Этот же доктор повез меня к себе домой.

Кстати, бывать дома полезно для знакомства со страной. Так, в Чикаго нас пригласил к себе один муниципальный врач, извинившись, что будет самый обычный обед, жена даже не предупреждена. Приехали — пятеро детей: один, 12 лет, разучивает на рояле Баха, другой, 10 лет, начинает учиться на скрипке, третья, 9 лет, рисует. Малыши, 4 и 3 лет, возились с игрушками и облепили нас с детской смелостью и непосредственностью. Между прочим, я поймал себя на мысли, что как-то странно слышать, как они хорошо изъясняются по-английски. Миловидная, худощавая жена пригласила нас посмотреть кухню, холодильник, набитый мороженым. «Это ведь американская затея — мороженое, не правда ли?» Я уж не стал ей рассказывать, что в России мороженое еще с прошлого столетия крутилось в любой городской семье, а мы, гимназисты, покупали его по 3–5 копеек у разносчиков. Обед был прост, мало отличался от хорошего нашего — без вина, но после кофе с коньяком.

Один почтенный доктор, возивший меня в картинную галерею, решил

познакомить меня со своим пациентом, миллионером, также любителем живописи, но новой. Он собственник самого большого в городе небоскреба. Этот скромный по виду и культурный в обращении старик повел нас по этажам: в вестибюлях многих этажей были развешаны полотна абстракционистов — и надо сказать, красивые вещи, хорошо гармонировавшие с конструкцией здания, с лаконичными прямыми его линиями (вот выглядели бы дико в этом помещении «Мишки на лесозаготовке» Шишкина — или даже итальянцы. Всякому овощу свое время). Угостив нас каким-то вином, он вместе с нами спустился и сел за руль своего «Линкольна».

Проехались мы еще на стареньком трамвайчике в гору. Между прочим, многие улицы тут круты — и удивительно, как это машины берут в гору в 30–40 градусов, а что еще хуже — спускаются. А трамвайчик сохранен нарочно (у нас бы сказали: для хохмы). Вечером весь город был в ажитации. Оказывается, происходит состязание в какой-то игре между командой санфранцисцев и лосанджелесцев. Казалось, что выигрывают то одни, то другие. В вечернем выпуске газет, правда, сообщалось и еще об одном событии: очередной американский космонавт успешно, сделав три витка вокруг планеты, сел в океане и благополучно подобран кораблями. Мы, русские, подумали: а все же и у них идет дело с космосом! Мы представили себе, как бы это событие выглядело у нас (то есть если это был наш очередной Гагарин); радио трещало бы целый день, газеты наполнились бы до отказа статьями, речами, восхищениями, поздравлениями. А тут ровно бы ничего и не произошло: краткая заметка на скромном месте. Самое замечательное, что публика ее почти не заметила. Зато, когда кончились состязания и санфранцисцы проиграли, но не добрали всего одного очка — какой взрыв чувств, энтузиазм поголовный, на улицах чуть не обнимаются! Молодежь с музыкой и песнями фланирует, мешая транспорту. Действительно, в американцах есть что-то ребячливое.

Нам и здесь устроили банкет с ужином и дружескими тостами, собрались кардиологи города (а может быть, и другие врачи — их было много, в большом фешенебельном клубе на берегу залива).

Последний день в Сан-Франциско я потратил на поездку в парк, в котором растут гигантские красивые деревья — секвойи (Sequoia National Park). Здесь начинается обширная зона роста этих грандиозных деревьев, спускающаяся на юг в Калифорнию. Толщина одного из них такова, что через его дупло проезжает автомобиль. Ввысь деревья идут прямо, расставлены между собой свободно — и потоки солнечных лучей,

падающие между ними, фактически освещают кустарники и траву. А доставила меня в этот гигантский лес молоденькая женщина, жена одного из врачей. Она воспитывалась в Париже, окончила Сорбонну. Изящная и милая особа. Чисто по-американски: посадить к себе в машину мужчину, приехавшего в город с другого края света на один-два дня, и покатить с ним одной за несколько десятков километров в лес. И как эффектно эта красотка лавировала в потоке машин в городе, особенно перед цепным мостом, по которому нам надо было проезжать, ловко давала деньги будочнику, почти не замедляя ход, — маленькой ручкой, затянутой в перчатку! Обрато мы должны были мчаться прямо в аэропорт, путь был труден, время пик — но прибыли вовремя, хотя наши начали было беспокоиться или подтрунивали.

Мы летим в Хьюстон, на юго-запад. В Далласе — пересадка, обширные залы аэропорта. Купили галстуки и шариковые ручки. Вечером — в Хьюстоне. Жарища, деваться некуда — вернее, деваться можно только в здания, снабженные кондиционером. В гостинице мы устраиваемся все трое в одном номере, доллары!

Утром едем в клинику Дебейки. Это целый институт, архисовременный. В Хьюстоне вообще все новое, как будто бы город только что возведен (в конструктивном, то бишь ящиковом стиле со стеклянными витринами вместо стен). Это город миллионеров, нефти и вооружения. Здесь опять Пол Уайт! И не только он, но ряд персонажей из Института сердца, а также Кейс и другие. Все прибыли, как и мы, проездом на кардиологический конгресс в Мексико-Сити.

В Хьюстоне состоялась конференция Международного кардиологического фонда. Эта организация, параллельная кардиологическому обществу, отличается от последнего тем, что, во-первых, в нее входят членами и не врачи, поддерживают ее средствами — в числе их имеются миллионеры, бизнесмены и т.д.; во-вторых, она носит не научный, а скорее финансовый и пропагандистский характер: по мысли инициаторов, она призвана в порядке общественном помочь государственной официальной системе борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в каждой стране мира. Нас спросили, что мы думаем об этом. Я сказал, что нам пока еще не удалось организовать свое кардиологическое общество, но это — вопрос ближайшего времени; что же касается фонда, то у нас другая государственная система, и жертвований бизнесменов, как и самих бизнесменов, конечно, не может быть. «Но сама мысль о широком привлечении для общественной борьбы с сердечно-сосудистыми болезнями различных кругов нашей интеллигенции, деловых

людей — государственных деятелей, ученых, писателей, — сказал я, — заслуживает внимания, и мы по приезде домой должны будем ее обсудить». Собравшиеся выслушали мой неподготовленный английский спич с одобрением.

Вечером Дебейки пригласил участников собрания на ужин в ресторан; тут я впервые познакомился с милейшим Бэером, председателем секции не медиков — членов фонда; он нажил миллионы на перочинных и столовых ножах (почему направо и налево раздает маленькие ножички с изображением сердца в качестве сувениров, да и для пропаганды кардиологии); этот весельчак играл на балалайке «Очи черные» и пел их не стесняясь.

Наутро мы отбыли в Мексику.

Четвертая поездка в США была осенью 1964 года вдвоем с Е. И. Чазовым, моим молодым сотрудником и заместителем по директорству в Институте терапии. Опять трансатлантический перелет, далее — Вашингтон, Бетесда.

Чазов сделал хороший доклад по фибринолизину. Был еще доклад большого специалиста в этой области Аструпа (переехавшего из Копенгагена, где «для научной работы нет таких условий»). Слушали мы еще доклад о пресловутом фрэминтемском опыте: десять лет наблюдали за сердечными больными — при поголовном исследовании всех жителей. Ну и выяснили, что следует воздерживаться от злоупотребления табаком, жирной пищей, надо работать физически и т.п. — все, что и без того всем хорошо известно. Зато «статистически достоверно». Еще один интересный доклад о «пре-бета-липопротеинах» сделал Фридрихсон; он обещал нам прислать описание метода, но задержал еще больше чем на полгода (до тех пор, пока метод не был опубликован).

Были мы и в Бостоне. На этот раз Пол Уайт и его супруга поселили нас у себя в доме. Мы вечером съездили к Самойлову — сыну известного казанского физиолога, который впервые в России занимался электрокардиографией; Уайт считает его работы выдающимися (для него имеют значение от старых русских медиков только три-четыре фамилии: И. П. Павлов, Н. С. Коротков — аускультативный способ измерения кровяного давления — и Самойлов, немного Аничков).

Мы снова в уютной комнате в чистейших кроватях в старом английском стиле — с высокими углами. Утром, после кофе с джемом, тостами и яичницей с беконом, мы покатали в соседний штат Нью-Джерси; машину вела миссис Уайт. «Куда мы?» — спросил я Пола Уайта. «Я хочу

вам показать места, где жили индейцы». Удивительно красивые места: бесконечные леса, опять «индейское лето», огненная листва, это еще красивее Миссисипи, какие-то красные растения на почве, ягодные кусты; попадаются деревья с фиолетово-синей листвой — фантастика! Дороги, дороги (кстати сказать, всюду отличные, но — пустынные, кто, собственно, и когда их чинит?). Вот наконец плато, где стоял последний вигвам. Теперь здесь музей и красивая скульптура индейца. Горы, уходящие в Канаду.

Наконец приезжаем — это усадьба Кларка. Обширный дом, пруд, цветник, гараж. 400 гектаров земли. Большая библиотека. Господин Кларк обуреваем вопросами мира в нашем мире. Он написал объемистый трактат, перевел его на многие языки (напечатал на собственные средства); порусски дан лишь обширный реферат в виде брошюры. Он послал свое сочинение Хрущеву, Громыко. «Там даны конкретные предложения, которые обеспечат полное согласие стран». Кларк был и в Москве, его принимали члены правительства. Он опять готов туда отправиться (и действительно, зимой он опять был в СССР, и я заходил к нему в гостиницу «Националь», и Кларк сказал как-то понуро: «Пока из моих планов ничего не получается».) Склеротик? Возможно. Но симпатичный мечтатель.

Обед и прочее. Приехал еще один Кларк, его брат, оказывается, и он сенатор. Он демократ (от штата Пенсильвания, недавно был мэром Филадельфии), юрист по образованию. Крайне не одобряет Голдуотера <sup>[263]</sup> и предсказывает провал этого крикуна.

Мы направляемся к какому-то сельскому аэропорту и вскоре на четырехмоторном самолете с Полом Уайтом летим в Нью-Йорк (а Маргарет Уайт должна гнать машину домой).

В Нью-Йорке мы заняли резервированный за нами номер в «Президент-отеле» — это удобное место, недалеко от Центрального вокзала, между Пятой авеню и Мэдисон-авеню, и отправились в гости к мистеру Бэеру, тому самому миллионеру, который занимается ножиками и кардиологией. У него многоэтажный дом, живут разные родственники, сам он занимает просторную квартиру с дочкой и ее мужем-врачом.

На этот раз в Нью-Йорке я повторно побывал в музеях — особенно новой живописи. В Museum of Modern Art — на Пятьдесят третьей стрит, недалеко от Пятой авеню — мне понравилась абстрактная живопись Делоне — с французским изяществом, создавшим расцветенные композиции переплетающихся овалов, наивные простодушные кубики Мондриана, чертежи Малевича, а особенно фигуры Любови Поповой, полные изысканной красоты, радующей глаз, как хорошая музыка — уши. Приятно, что русская живопись все же представлена — хотя бы группой

«левых». Как жаль, что они у нас предаются анафеме и мы отрекаемся от своих талантов только потому, что руководители, незнакомые сами с этой областью искусства, послушно следуют советам консерваторов из Академии художеств и т.п.!

В этом же музее мы смотрели выставку Пьера Бонара. Чудесный художник, и я горд, что имею одну его вещь. Был я также, конечно, в музее Гуггенхайма (он также на Пятой авеню); здание в своеобразном стиле; вы подымаетесь на лифте на верхний этаж — оттуда по плоской широкой лестнице спирально спускаетесь вниз, рассматривая развешанные по стенам картины; свет дан сверху, в обширное цилиндрическое пространство, окаймленное винтообразной лестницей. В собрании Гуггенхайма также есть несколько русских — Малевич, Кандинский и еще мне ранее известный Павел Телицев, показавшийся немного страшным, как все сюрреалисты.

Хочу еще добавить, что в Музее современного искусства я видел еще одного Сальвадора Дали — картину «Христофор Колумб», также сделанную мастерски, хорошо отражающую жестокий дух католических завоевателей, но по свету и колориту менее интересную по сравнению с «Тайной вечерей» Вашингтонской галереи.

Очень мне понравилась в Нью-Йорке частная коллекция сенатора Ласкера. Круг картин от Ренуара до Матисса (таково и название монографии-альбома с воспроизведениями картин — в отличном исполнении; эту книгу сенатор мне прислал в Москву в подарок, а купить ее стоило бы 25 долларов).

Наконец, был я еще в одной картинной галерее, в которой устроена была выставка вещей немецкого импрессиониста Коринта. Коринт — в таком, по крайней мере, количестве или подборе — мне не понравился; слишком много противного жирного женского тела в разных проекциях, да и пейзажи страдают избытком масла. Кстати, ходил туда вдвоем с Соней Шейх-Али, моей бывшей сотрудницей и приятельницей, в свое время очень интересной девушкой, вот уже два года проживающей в Нью-Йорке (ее муж работает в нашем представительстве в ООН). Она еще не дошла до персонажей Коринта, но идет в этом направлении, если не изменит круто своего режима. Одета Соня элегантно, и было приятно погулять с ней по вечерним улицам Нью-Йорка и поговорить о жизни — прошлой, настоящей и будущей.

В Нью-Йорке мы посетили Ирвинга Райта, крупнейшего специалиста по инфарктам миокарда, лечению антикоагулянтами и т.д. Он был в Москве на 14-м съезде терапевтов и, как и другие иностранные гости,



сделался почетным членом нашего общества — диплом о чем красуется на стене его офиса в рамке. Человек необычайно любезный, он устроил в нашу честь торжественный обед, одарил нас своими книгами и т.д. и т.п. Е. И. Чазов потом несколько раз посещал его клинику и лаборатории.

По плану мы должны были еще посетить Нью-Орлеан, но денег на проезд на обоих у нас уже не было. Поэтому было решено, что я поеду один (профессор Берч, который ждал нас в Нью-Орлеане, звонил по телефону, и не поехать было уже неловко). Итак, я сел в самолет один и полетел за 2 тысячи километров в Нью-Орлеан. Меня, конечно, встречали — Берч в компании с одним русским инженером, его хорошим знакомым и вместе с тем как бы переводчиком. Номер в отеле был оплачен Университетом Тулана, почетным гостем которого я считался.

Милейший Берч здесь — главная фигура среди клиницистов, у него не клиника, а целый обширный институт, который занимается проблемами кардиологии, в том числе функциональным исследованием сердца, влиянием на сердечно-сосудистую систему жаркого климата (для чего создана специальная термическая камера) и другими. Весьма заинтересовало меня, что в составе лабораторий у Берча оказалась лаборатория «высшей нервной деятельности» по Павлову — с отличной камерой для изучения условных рефлексов, в которой можно было проводить наблюдения не только над животными, но и над людьми; работу эту возглавляет сотрудник, работавший раньше в Ленинграде, чех по национальности, получивший командировку к Берчу на два года по ВОЗ.

Берч имеет простецкий вид, но это эрудированный, энергичный ученый; он является и редактором старейшего в мире журнала по кардиологии «American Heart Journal». Дома у него я видел сувениры, вывезенные Берчем из Африки, — большие барабаны (на которых можно сидеть), какие-то стулья черного дерева из Конго, музыкальные инструменты племени банту и т.д. «Самая интересная страна современного мира — это Африка», — говорил Берч, рассказывая о своем участии в охоте на львов и крокодилов (если это были не сказки барона Мюнхгаузена). Притом он описывал тропические леса, озеро Виктория-Пьяссо. «У вас в России мне понравился Кремль и Самарканд. Ну еще Сочи — гораздо красивее, чем наша душная и низменная Флорида».

Нью-Орлеан во многом французский город: мы побывали в старых кварталах с множеством кабаре, в которых виднелись через раскрытые двери голые подавальщицы и танцовщицы, зашли в павильончик, известный своим отличным джазом (большая толпа стояла со счастливыми лицами и в такт двигала руками и ногами, даже как бы вся дрожала, и,

признаться, я сам стал невольно поддаваться захватывающим ритмам и дрожать!). Днем мы объездили улицы с блестящими виллами. На набережной мы любовались грандиозными и вместе с тем легкими мостами через Миссисипи.

Вернулся я в Нью-Йорк как домой — и через день отправился действительно домой, в Москву.

Среди немного неприятных ощущений этой поездки отмечу одно: читал я подробный материал об убийстве президента Кеннеди, и было досадно узнать, что Ли Освальд, предполагаемый убийца, жил в Советском Союзе три года, был женат на русской, был коммунистом, что в его квартире висят портреты Маркса, Энгельса и Ленина, что его библиотека полна книг по марксизму-ленинизму. Это официальные материалы, и в ответ на них не было сделано каких-либо опровержений за исключением того, что к моменту данного события Ли Освальд не состоял в рядах партии.

\* \* \*

Последние 10–12 лет жизни (я имею в виду к данному моменту, а сколько придется еще жить, мне неизвестно) я то куда-нибудь еду, то откуда-нибудь приезжаю. Но, конечно, большую часть времени я все же в Москве, дома. Мое детище — Институт терапии — переехало в новое большое здание, в котором много больных, много врачей, много лабораторий. Много ли полезной науки дает он, не мне судить. Все же с годами он окреп, это теперь уже признанный центр кардиологии в Союзе — не только формально, но и фактически.

Институт стал известным и в зарубежных странах, чему отчасти мы обязаны визитерам: изо дня в день у нас — иностранные посетители, которых мы водим то туда, то сюда; как Академия, так и Минздрав сплавляют к нам, естественно, всех гостей по нашей специальности, — понятно, что, возвращаясь домой, они рассказывают об институте и обо мне, его руководителе.

Я вошел в состав редколлегии международных кардиологических журналов (два американских журнала — «Am. Heart J.» и «Am. Journal of Cardiology»; одного издающегося в Амстердаме — «J. of Atherosclerosis», одного в Италии — «Molatti Cardio-vascolatia», одного в Париже — «Actualit angio-cardiologie», одного в Праге — «Cor et Vasa»), я почетный член ряда международных обществ и академий (последний раз стал

почетным членом французского общества кардиологов, что, признаться, мне особенно лестно) и т. д.

На базе Института терапии открыт международный центр по борьбе с атеросклерозом (один из центров этой системы по ВОЗ). Я и А. М. Вихерт часто фигурируем как эксперты ВОЗ и ездим в Женеву.

Наш институт устраивает ежегодные сессии, которые превратились во всесоюзные конференции или съезды; к нам приезжают все видные терапевты (с кардиологическим уклоном) из периферийных вузов, из далеких областей, даже из Владивостока, с Сахалина, не говоря уже о Среднеазиатских, Закавказских и Прибалтийских республиках.

Мы выпускаем брошюры, в том числе и популярные (например, мои «Сто вопросов и ответов» переиздавались уже три раза огромным тиражом), методические указания и т. п. По моей инициативе создан в Советском Союзе журнал «Кардиология», правда, 6 номеров в год (притом тощих), но лиха беда начало.

Сейчас мне 65 лет, я подготовил больше сотни кандидатов наук, около 20 докторов медицинских наук, ряд моих учеников занимают кафедры в Ленинграде и на периферии. Два моих бывших ученика являются членами-корреспондентами Академии, я выпустил в свет около 150 научных печатных работ, 2 общепринятых учебника, 7 монографий (из которых одна была четыре раза переиздана, две — переведены на немецкий и китайский языки, а одна — на английский).

Я не заслуженный деятель науки РСФСР, это звание, на получение которого меня неоднократно выдвигал I МОЛМИ, не получало поддержку со стороны руководства Минздрава! И т. д. Особенно неприятны для моего самолюбия были повторные провалы с Ленинскими премиями. Ну за книгу «Гипертоническая болезнь» премию можно было не присваивать, так как за несколько лет до этого присудили — посмертно — премию Г. Ф. Лангу за книгу того же названия. Но — «Атеросклероз»! Вся медицинская терапевтическая общественность горячо поддержала выдвижение этой книги на получение премии — многие десятки протоколов и резолюций об этом были присланы в комитет, были постановления ряда институтов, Академии. Мне лестно было читать замечательные отзывы об этой книге в печати, присуждение премии, казалось, предрешалось почти единодушным голосованием в медицинской секции. И вдруг провал, не хватало трех голосов (из 80). Провал был вызван: а) походом против книги, то есть против меня, хирурга Бакулева, бывшего президента Академии — по личным мещанским мотивам; б) отрицательным отзывом одной

сотрудницы Н. Н. Аничкова — Волковой (а сам Н. Н. Аничков дал более или менее положительный отзыв); в) выступлением химика с армянской фамилией, академика, кажется, его фамилия Клуянц, заявившего, что все равно кругом мрут от атеросклероза — за что же давать премию? Это заявление вызвало живую реакцию ихтиозавров (членов комитета). В дальнейшем для моего утешения Академия дала мне за эту книгу премию имени Боткина, и на том спасибо.

Таким образом, дым отечества нам не только сладок и приятен, но по временам может быть и ядовит.

\* \* \*

Из многочисленных поездок мне хотелось бы описать еще поездки в Испанию, Латинскую Америку, Бельгию, Англию, в Японию и в Швейцарию.

В Испанию мы отправились в составе Тареева, Яблокова и меня на 4-й конгресс по внутренней медицине в сентябре 1956 года в Мадриде. Так как дипломатических отношений между СССР и Испанией не существует, то испанские визы мы должны были получать в Париже. Дня три мы провели в этом чудесном городе. В аэропорту в Мадриде на таможне стали осматривать наш багаж для проформы. «А это что за тюк?» — спросил чиновник. Наш переводчик, не моргнув глазом, объяснил: «Это подарки членам конгресса — научные книги по медицине». — «Ну хорошо». Если бы чиновник стал распаковывать сверток, он увидел бы «научные книги по медицине» — «Диалектика природы» и «Анти-Дюринг» Энгельса, труды объединенных сессий Академий по сельскому хозяйству и физиологии и т. д. Потом мы заметили, как к нашему переводчику в номер приходила какая-то молодежь.

Интересная страна, интересный народ. Начать с того, что шофер машины, на которой мы прибыли в гостиницу, узнав, что мы из Москвы, отказался с нас взять плату за проезд, этим выражая симпатию. Швейцар этой фешенебельной, чисто американской гостиницы, по утрам выпуская нас, вызывал такси и говорил: «Рус, совет, карошо!» Мы ездили в университет, где заседал конгресс, и на фронтоне его здания краснел среди флагов государств, чьи делегации участвуют в конгрессе, наш советский флаг — а ведь последний раз красный флаг висел здесь в период восстания, когда именно здание университета служило последним оплотом защитников революционной Испании в Мадриде. Любопытно далее, что на

банкете в честь конгресса, состоявшемся в парке, среди расцвеченных электрическими лампочками южных деревьев и кустов, данном мэром города, меня пригласили за стол президиума, и я сидел рядом с его женой, а оркестр исполнял испанское каприччио Чайковского и болеро Глинки. Наконец, на великолепном ужине у президента конгресса Хименс-Диаса в его вилле я и Тареев были за одним столом с ним и с министром здравоохранения правительства Франко! Кстати, профессор Диас, получивший громадное состояние по наследству, истратил его на создание Института кардиологии; он лично показывал нам и небольшому числу других делегатов конгресса замечательное здание, обширные лаборатории, блестяще оборудованные, но пока только самое раннее начало науки.

А страна? Мадрид старый особенно хорош: прелестные решетки балконов, мавританский стиль окон; смесь романского и европейского барокко с арабскими формами. Мадрид новый не слишком американизирован, без небоскребов. По кривым улицам снуют толпа. Вы легко замечаете два типа мужчин: вот идут многочисленные санчо пансы — коренастые, невысокие, а вот над ними возвышаются отдельные дон кихоты — высокие идалго с благородными лбами и удлиненными подбородками, украшенными усами и клиновидной бородкой. Женщины также двух сортов; молоденькие Кармен, они тонки, гибки и стройны, у них большие черные очи и смеющиеся сверкающие зубами губы, они быстры и веселы, и старые, отцветшие тетки, как потухшие угли, они идут медленно, вразвалку, угрюмы. И те и другие имеют и нечто общее: а) одеты главным образом в черное; б) одинаково кричат (говорят быстро и громко, как будто даже ругаются). Все кажутся слишком темными (загар, черные волосы).

В Мадриде я, конечно, осматривал Прадо — это великолепный музей, переполненный картинами Рубенса. Когда-то Нидерланды были в составе великой империи Карла V и Филиппа II; поэтому неудивительно, что в Прадо много превосходных вещей нидерландской, фламандской и голландской школ. Но особенно поражают картины Тициана, бывшего в Мадриде при короле Филиппе IV. Величайшим мастером всех времен и народов стоит Веласкес, недаром В. А. Серов ездил специально изучать его в Прадо. Что касается Гойи, то он также восхищает, особенно в портретах, но фантастические жуткие сцены из серий «Мистерий» мне не понравились. Обе лежащие в одном и том же зале друг против друга махи — одна одетая, другая раздетая, — конечно, привлекательны и хорошо даны.

После конгресса мы поехали по Испании в легковой машине. Мы

посетили Эскуриал, созданный Филиппом II грандиозный монастырь-дворец с их усыпальницей, куда Филипп приказал свезти все гробы королей и принцев со всех испанских земель — на гробы положены скульптурные изображения. Далее — Толедо — прежняя, до Мадрида, столица Испании — старый город с мрачным дворцом на скале, древним мостом через реку Тахо, с узкими улочками, иногда совершенно темными проходами — все жители стремились по ним в цирк, на очередной бой быков, — мы были также. Я не могу понять, почему долгие столетия, да и сейчас еще целая страна, да и не только она, но и многие другие, близкие ей по происхождению и культуре (например, огромная Латинская Америка), так увлечена этой кровожадной, жестокой, гнетущей душу игрой. Столько раз описывались эти корриды, восхвалялись отвага и ловкость тореадоров и т.п.; некоторые герои арены становились местными кумирами женщин, молодежи — даже всего народа. «Кровь и песок», роман Блискэ Ибаньеса, хорошо рисует плачевную судьбу этих героев, а знаменитый труп на арене цирка, написанный Эдуардом Мане (висящий в одном из американских музеев), — яркое осуждение этой дикой затеи бар, перешедшей уже в страсть плебея. Мои симпатии были на стороне тех симпатичных бычков, которых обижали, над которыми издевались и которых, наконец, после этих мучений убивали несколько ловких бессердечных дураков с пиками. Мне все так и хотелось, чтобы очередной бык распорол брюхо одному из этих молодчиков (правда, я вспоминал, что эти молодчики тоже люди, у них семьи, и, может быть, не от хорошей жизни они ищут себе таким образом заработок). К счастью, при нас этого не случилось, быков убили — люди остались целы. А публика, чувствовалось, хотела бы и убийства (то ли дело на глазах у десятков тысяч зрителей средь бела дня смотреть, как умирает человек. Потеха, браво! Особенно для женщин! (В Толедо мы посетили и дом Эль Греко, в котором много переходов, уютное патио (то есть дворик и садик внутри дома), но висят лишь копии картин великого художника.

Потом мы помчались по испанскому плоскогорью, обсаженному оливковыми деревьями или виноградниками, а по временам желто-серому, выжженному, с приютившимися кое-где селениями, бедными, грязными, немного напоминавшими наши среднеазиатские. В городке Херес мы выпили отличного вина.

В Севилье нас поселили в роскошной гостинице, недалеко от той табачной фабрики, где, по преданию, работала Кармен. Этих черноглазых Кармен здесь много; мы даже посмотрели, как они выходят из фабричной двери по окончании рабочей смены. Особенно красивы здесь дома с

элегантными старинными балконами, со свисающими сквозь их решетки («чугунные перила») розами. В великолепном кафедральном соборе мы любовались цветными витражами окон — видели и гробницу Колумба. У моста через Гвадалквивир, оказавшийся небольшой мутной и отнюдь не поэтичной речонкой, мы видели башню, в которой будто бы было сложено золото, которое привез Колумб из открытой им Америки — в дар королеве Изабелле. Я, конечно, помчался и в музей, заполненный картинами Мурильо; мне больше понравились эффектные святые Матильды и т.п., написанные Зурбараном (кажется, что это дамы общества, прибывшие с веселого бала в богатых нарядах).

Роскошны покои Алказара, с восточными аркадами и орнаментом и внутренними райскими садами (оттуда сады Черномора в опере «Руслан и Людмила»).

После Севильи мы проехали через Кадикс, о скалы которого уже плещут волны Атлантического океана, потом по его берегу в обратную сторону, то есть на восток, мимо Гибралтара. Мы видели берега Африки. Сам полуостров, врезающийся в пролив, с английской крепостью на огромной скале, остался справа — мы проскочили мимо пограничного поста. Далее мы стали взбираться вверх, опять на плато, путешествие было довольно длительным, свернули на север, потом на восток, увидели цепь снегов Сьерра-Невада и, спустившись в цветущую долину, очутились в поэтической Гренаде. Если в Севилье прекрасен мавританский Алказар, то в Гренаде изумительная Альгамбра перенесла нас в сказочный мир, о котором образы у нас сложились в детстве и тлели в душе, как что-то фантастическое. Гренада — столица последнего халифата арабов на Пиренейском полуострове (завоеван испанцами в 1432 году), здесь в знойные дни лета сотни рабов тащили лед с гор Сьерра-Невада для охлаждения яств и вин на пир повелителя; в мраморных бассейнах купались его наложницы. Отсюда мы опять спустились в Малагу, порт на Средиземном море (в котором я выкупался) — красивый южный город на скале горы в субтропических садах — и, наконец, возвратились в Мадрид, откуда через Париж приехали в Москву, домой.

\* \* \*

Испанская культура и сами испанцы предстали мне в новом виде во время поездки в Южную Америку. В ноябре 1959 года мы отправились туда как представители Общества «СССР — страны Латинской Америки» (кого

я состою вице-президентом). Мы — это я, «глава делегации», поэт Семен Кирсанов (друг и последователь Маяковского), депутат Верховного Совета Армянской ССР Григорян (она) и наш секретарь, сотрудник Дома дружбы, хорошо владеющий испанским языком (окончил соответствующее отделение института иностранных языков), интеллигентный молодой человек.

Перелет Париж — Рио-де-Жанейро на Air France был впечатляющим — так далеко, лазурное море, желтые пески Сахары, белые домики Дакара, в его аэропорту исполинские негры — сенегальцы в белых покрывалах и гибкие чернокожие девы с резкими чертами лица, далее — бесконечный океан, пустота. Мы висим над ним, сидим, ходим, болтаем (с нами оказалась еще группа советских артистов и писателей). Наконец берега Америки и сразу — пышный Рио, со сверкающей изрезанной бухтой, горой, увенчанной громадным крестом, а внизу нагромождением зданий, улиц, площадей. Жарища.

Далее Сан-Пауло. Нашу армянку встречает армянская колония. Киоск с цветами — там две дамы: слышна русская речь, обращаются к нам на родном языке. «И мы русские». — «Как попали?» — «А все ваша любезная революция, вот теперь продаем цветы, а раньше у нас были свои усадьбы». Сан-Пауло — город рабочий, заводы и их труды, небоскребы.

Наконец, среди низменности Ла-Плато возвышается небольшая пологая гора, у подножия которой лежит Монтевидео (название, создавшееся, по преданию, в связи с восхищением одного моряка — «я вижу гору» — Monte Video). Нас встречают уругвайские друзья (здесь демократический режим, все партии легальны). Коммунисты имеют свои газеты, клубы и т.д. Они оплачивают наши номера, обеды и т.п. У них немало денег, так как некоторые прогрессивные буржуа их почему-то поддерживают. Так, нас возил на своей фешенебельной машине совладелец фирмы «Пепси-кола»; он бывал в Москве, он неоднократно читал публичные лекции в Монтевидео о своей поездке в Советскую Россию, он сказал нам: «Я готов пожертвовать всеми своими капиталами за «спасение своей души» — не в религиозном смысле, конечно, а в смысле служению правильной идее». В его вилле мы видели весьма левую библиотеку и испанско-русский словарь. Кстати, общество Уругвай — СССР здесь открыло курсы русского языка, на которых занимаются тысячи молодежи; они имеют различные помещения для собраний, читален, продажи вещей из России, выставки и т.д.

Наступили дни Октябрьской годовщины. По сему случаю в одном из помещений города был многолюдный митинг, выступали члены общества



Уругвай — СССР, а также и я (наша делегация была послана к этой дате).

После речей показали кино, последнюю часть «Тихого Дона». Мне показалось, что некстати: во-первых, одна из героинь заболела сифилисом, другая — утопилась на ваших глазах (сделано, правда, ловко), во-вторых, сам герой — ни вашим, ни нашим, его психология непонятна даже нам, как он может быть интерпретирован чужеземцами, неясно, в-третьих, какое все это имеет отношение к Октябрьскому празднику? (Дали бы «Ленин в Октябре» или «Человек с ружьем»!) Мне сказали: «Тех фильмов не было, и вообще плохо нам помогаете».

В тот же день вечером мы отправились на вечер — в честь праздника — в Русский клуб. В Уругвае много выходцев из старой России — молокан, духоборов; позже мы посетили одно село, где они живут. Совсем Россия: поддевки, сапоги, избы, самогон, деревенский — рязанский или тамбовский — говор. Молодежь, впрочем, — уже уругвайцы, они женились на местных испанцах или испанках и почти уже не знают русских слов.

На следующий же день пришлось поехать на аналогичный митинг в клуб одной из еврейских общин (тут их две: одна — левых, другая — правых убеждений). Мне предложили выступить о Москве и т.п. Слушали с большим вниманием (они понимают по-русски). После доклада пришли записки: «Есть ли антисемитизм в Москве?» Я решил, что надо действовать не общими фразами, а примерами. «Могу вам привести в связи с этим вопросом два примера, близкие мне и потому абсолютно достоверные. Я — председатель Всероссийского общества терапевтов, а мой заместитель — профессор Мирон Семенович Вовси (бурные аплодисменты). Я заведую кафедрой терапии пятого курса медицинского факультета в Москве, а мой заместитель — профессор Борис Борисович Коган (бурные аплодисменты). Продолжать или ясно?» — «Ясно, ясно», — раздавались возгласы.

На пресс-конференции для сотрудников уругвайских газет и из других стран нас завалили вопросами о Пастернаке. Что за расправа над писателем? Разве у вас пишут только по указке начальства? Я эту неприятную историю объяснил так: «Пастернак — наш известный поэт, и как поэт и переводчик он свободно и всегда печатается. Как прозаик он не был известен. «Доктор Живаго» — его первое произведение в прозе. У нас — централизованное издательство, перед тем как вынести решение о печатании того или иного произведения требуется утверждение — внесение в план. Я, например, написал монографию «Гипертоническая болезнь» — прежде чем ее печатать, она была на рецензии у авторитетных специалистов. Так и «Доктор Живаго» — он поступил на рецензию к определенным, очень известным нашим писателям. Те нашли, что с

художественной точки зрения он не находится на должном уровне, дали его критический разбор и посоветовали вернуть рукопись автору для внесения изменений. Что тут такого? Автор передал ее для прочтения кому-то из итальянских гостей, а тот отправил в печать, — далее вся эта шумиха с Нобелевской премией, присужденной нарочно, в пику нам. И совсем не потому не печатался этот роман, что в нем якобы нарисован сочувствующий интеллигент, не верящий в революцию или не желающий стрелять в юнкеров. Многие годы у нас не сходит со сцены спектакль «Дни Турбиных», в котором обрисованы человечески белые офицеры как честные люди, исполняющие свой долг, принятый на себя перед отечеством, — в их понимании. Но в пьесе дано все это художественно». Судя по напечатанным заметкам в газетах, «объяснение» было хорошо принято.

На приеме у посла я познакомился с приглашенными профессорами, литераторами и др. Была, между прочим, «Мисс Уругвай», завоевавшая на последнем конкурсе по красоте первое место. Как раз она сидела напротив меня за обедом, и я успел ее хорошенько разглядеть — очевидно, все показатели подошли, но совершенство не в них, а в чем-то неуловимом, которого у красавицы, на мое восприятие, не оказалось. Познакомился я там с известным скульптором и графиком Марией Кармен — она мне потом подарила один свой чудесный рисунок (я люблюсь им на даче и вспоминаю его автора как исключительно тонкого и проникновенного человека).

Монтевидео — прекрасный город; часто встречаются признаки испанской культуры — в чертах и характере жителей, в стиле домов с цветущими розами на балконах и внутренними садами — патио — как в Севилье. Уругвай — маленькая страна, но очень просторная; низменность, небольшие рощи каких-то южных деревьев, изредка — живописные культурные городки. Много скота (кожа и мясо — предметы экспорта). В ресторанчиках мы поглядели на ритмичные пляски с кастаньетами и затейливым стуком каблучков — все поют какие-то сладкие, увлекающие романсы, сменяющиеся зажигательным престо. Живут хорошо, насколько об этом можно судить путешественнику. У одного доктора дома — чудесные дети: два мальчика и две девочки; все обучены французскому языку и игре на рояле, одна любит Прокофьева и Стравинского.

После Уругвая мы очутились в Чили. Там также нас сердечно встретили друзья по аналогичному обществу, в их числе знаменитый поэт Неруда. Это крупный пожилой мужчина, жизнерадостный, смеющийся и,

как показалось, немного чудак. У него в Сантьяго вилла — помещения построены над протоком, его комната висит над водой, и он спит под журчание ручья. Другая на побережье Тихого океана (сосед его, директор Института по легочным болезням, устроил виллу из стекла, живут все время в окружении моря, как на корабле). Пабло Неруда в давних приятельских отношениях с Семеном Кирсановым. Он любит собирать экзотические вещи (из Москвы привез гармошку, балалайку, самовар), а с Кирсановым послал в подарок Эренбургу какой-то стул — я так и не понял, индийский ли он или какой, тот тащил стул на пересадках в самолеты. Стихи его в переводе не произвели на меня впечатления, но там, у грандиозных волн прибоя, они воспринимались на непонятном мне испанском языке более поэтично. Сантьяго — большой город, в центре старая испанская крепость; улицы полны веселой толпой (многие женщины — помесь испанской и индийской крови — красивы и гибки). Я выступал с докладом в Чилийском обществе кардиологов; переводил профессор университета патолог-онколог Липшиц (он очутился здесь, очевидно, после Октябрьской революции; у него вилла с обширным садом, замечательная библиотека по истории и культуре индейцев, — кроме патологии, Липшиц известен как автор исследований по этой проблеме). Тут же мне был преподнесен диплом почетного члена общества. Наш визит в Чили вообще был встречен необыкновенно дружелюбно, нас принимали председатель парламента, министры, ректор университета, говорили о горячем желании чилийских кругов восстановления дипломатических отношений с Россией, о необходимости связи в области культуры, о нас писали в газетах и т.п. Съездили мы и в Вальпараисо, это мощный порт на Тихом океане, мне весьма понравилось. «Не хотите ли прокатиться на остров Пасхи, тут всего 2 тысячи километров», — говорили нам шутливо и подарили по тарелке с изображением фигур, высеченных там на скалах.

В Италии я был дважды. В первый раз летом 1957 года мы с женой в большой группе туристов (профессоров, врачей, научных работников) отправились поездом через Варшаву и Вену. В Варшаве нас возили по строящимся улицам, показывали реставрационные работы по Старому Месту, дворец Понятовского, — гид, обычно говорливая молодая дама, молчала, когда мы объезжали высотный дом, «построенный Москвою» — «в дар». Они недолюбливают этот дар в сталинском стиле. В Вене было приятно прогуляться по веселым улицам, среди хорошо одетой публики, хорошеньких молодых женщин (их тут много); были и в Венском лесу, а также в отличном Kunsthistorischen Museum с его «Юдифью» Веронезе, знаменитой Violante Пальма Веккьо, божественной «Madonna in Grünen»

Рафаэла. Были мы и в Бельведере, в церкви Св. Стефана, на кладбище, где похоронены знаменитые музыканты, а также советские воины. Город приятен своим старым барокко. Потом мы сели в поезд, идущий в Италию, сидячие места, скорчившись, просидели всю ночь почти без сна (противный вагон, хоть он и мягкий). Утром пошли красивые горы, потом спустились в долину р. По, городки, много фабрик, сады, романские постройки. Наконец путь по узкой косе через залив — и Венеция. Венеция действительно чудный город. И это видишь сразу, ее не надо разглядывать, она сразу в вас входит, сама ее история, ее архитектура. От поэтичных каналов, правда, вы вдыхаете кислый, иногда протухший запах, но перестаете на него обращать внимание в восхищении от потонувших в воду мраморных дворцов, любой дом здесь кажется дворцом, а камни — мрамором. Мы плывем по Большому каналу на черной гондоле, лодочник в широченной шляпе ловко орудует веслом, мимо Mesa della Salute, Дворца дожей, направляясь на остров (или полуостров?) Лидо; останавливаемся в небольшой приятной гостинице. Переодевшись и помывшись с дороги, мы выходим на балкон.

На балконе сидела очаровательная молодая девушка с огненными волосами и синими глазами. Судя по полотенцу на ее плече, она только что пришла с моря. «Вот, — сказал я Инне, — смотри, какая красавица венецианка!» Моя жена, обычно не склонная разделять мои восторги в подобных случаях, на этот раз согласилась: «Да, действительно». Позже выяснилось, что эта мисс никакая не венецианка — вскоре подошли ее родители: тучный американец и его сухопарая супруга. В Венеции мы осматривали Дворец дожей, росписи Веронезе на его потолках, великолепные лестницы, затем подземелья, камеры, где дожи мучили своих врагов, а потом сбрасывали их в канал под мостом. Мы кормили голубей на площади Святого Марка, посетили низкую, уютную, пышную базилику (женщины должны были пригнуть голову) с ее изящными куполами индийской или арабской формы, но напоминающей вместе с тем и наши православные храмы. Осмотрели росписи Тинторетто в «Святом Рокке», академию художеств с ее мадоннами Джованни Беллини и Джорджоне, были на острове Торчелло, где осматривали старинные храмы с изумительной византийской мозаикой, относящейся к XII веку. Но все это неоднократно описывалось, и всякому культурному человеку известно из книг и репродукций. Венецианская лагуна с ее лодками под рыжими парусами постоянно меняет свои тона; большей частью они нежные серебристые, с ласковыми переливами. Кстати, с каждым годом все больше и больше Венеция погружается в лагуну.

С сожалением расстались мы с этим чудным городом и отправились во Флоренцию. Переезд сквозь сотни тоннелей, под Апеннинскими горами; поезда мчатся здесь с молниеносной быстротой. Флоренция выступила в тумане пыльного жаркого вечера. Несмотря на конец июля, горы уже желты, в фиолетовой дымке. Первое впечатление — сухо, камень, все старое, дома, дворцы, церкви; коричневые улицы под солнцем, палящим с синего неба. Но вскоре начинаешь находить во всем этом прелесть, — тем более что город окружен цветущими рощами на невысоких холмах. Но главное — музеи, к каковым относятся и старые церкви. Самое главное — побывать в галерее Уффици. Сам вход не выделяется из уличного ряда, и внимание скорее привлекает силуэт удивительного палаццо Веккьо с башней, возвышающейся над городом. Сперва вы осматриваете средневековую итальянскую живопись — типа наших икон. Затем вас привлекают образы Филиппе и Филиппино Липпи, «Благовещение» Леонардо да Винчи, далее вы стоите перед несравненным Боттичелли — его «Рождением Венеры», вы любуетесь ее милым, знакомым, простым и вместе с тем совершенным лицом с развевающимися светлыми волосами и всем ее образом — идеалом женственности. Потом вас привлекает образ задумчивой блондинки, смотрящей вниз, Рафаэля. Его мадонны — просто женщины, ничего божественного в них нет, если не считать, что в красивых женщинах и заложено божественное (особенно для нас, мужчин). В другой замечательной галерее — Питти — висит рафаэлевская «Мадонна в кресле» — очаровательная брюнетка с пухленьким ребенком на руках. Я обычно хорошо помню не только картину, но и где она находится, на какой стене от входа и т.п., и из тысячи хороших вещей, виденных мною в музеях мира, многие могу точно «локализовать». В музее Св. Марии представлен Беато Анджелико, религиозные сцены и образы; они красивы, наивны, условны. Засим вас интересует Микеланджело, для чего вы идете прежде всего в мрачную капеллу Медичи, в залы, сверкающие цветными мраморными плитами (пол, стены), сделанные с необычным вкусом эпохи Возрождения. В нишах между полуколоннами вы видите статуи Лоренцо и Юлия Медичи, но более интересны фигуры у их подножия, а особенно женщина с ребенком — по человечности, выраженной в мраморе. В галерее Академии вы видите знаменитую статую Давида, он кажется вам непропорциональным, немного евнухоидного типа (длинные руки с чрезмерно крупными кистями и с маленьким половым органом). Красивее какие-то недоконченные торсы в коридоре, увешанном гобеленами. Конечно, вы посещаете также громадный кафедральный собор, купол которого, сделанный Буанфатти, возглавляет панораму города, церковь

Санта-Кроче, перед которой стоит памятник Данте, и гуляете по мосту Веккьо — через р. Арно; по обоим сторонам этого средневекового моста высятся — на самой реке — ряды старых трехэтажных домов.

Наконец, мы приехали в Рим. Громадный тяжеловесный вокзал в эклектическом стиле начала века. Сразу нас обдало 40-градусным жаром. В скромной гостинице жарница дополняется духотой, но хорошо еще, что нас двое и дали номер с ванной. Вечером идем по Via Nazionale, не чувствуя энтузиазма. Правда, утром, проехав мимо памятника Гарибальди, мы с восхищением рассматриваем с горы общий вид города, вспоминая эмоции, возникавшие в подобных же условиях у наших великих предшественников — Гоголя, Александра Иванова и мн. др. Далее идет осмотр темного Пантеона с огромной дырой в куполе для света (говорят, очень смелое и блестящее решение древних зодчих), Капитолия, куда на холм мы поднимаемся по великолепной, но бесконечной и потому трудной лестнице. Восхищает больше Колизей, вернее, его остатки — дивные аркады циркульного здания — сразу видишь гений Рима, по крайней мере, архитектурный. Впечатление дополняют и остатки римского форума — храма Сатурна, арки Трояна. Помпезный современный памятник Виктору Эммануилу нам, конечно, не понравился (а если кому-нибудь из группы он импонирует, то тот все равно не выдает, так как знает, что такую безвкусицу хвалить не полагается). Мост и замок Святого Ангела — пожалуй, наиболее романтическая часть старого Рима. Я и потом (во время второй поездки) был в замке Святого Ангела — там был один из приемов членов кардиологического конгресса. Мы осмотрели мрачные покои, а с крыши любовались на вечерний Рим. Кстати, в один из дней пребывания в первый раз в Риме мы с Инной были на гастролях миланского театра Ла Скала — давали «Тоску» на открытой сцене (на развалинах Каракаллы). Очень было интересно вечером в опере переживать впечатления дневного посещения замка Святого Ангела. Мы ведь как бы видели то место, где был убит герой.

Что касается Ватикана, то посещение его было каким-то утомительным. Очевидно, столь значительное скопление памятников искусства трудно для восприятия. К тому же всюду снует толпа. В переполненной Сикстинской капелле вы бы могли поохать и поахать, загибая до отказа голову в попытках рассмотреть знаменитый Страшный суд Микеланджело (но это не живопись, это все же скорее скульптура, хотя сделано красками) — но вам даже голову запрокинуть мешает толкающаяся публика. А потом, загнутая голова не располагает к тому радостному чувству, с которым надо подходить к искусству. Лучше воспринимаются

стансы Рафаэля, но они уж очень программны, а я не люблю живопись, в которой слишком много литературы.

На площади собора Св. Павла папа (не помню, как он именовался) выходил на балкон, говорил речь, благословлял толпу — мы продолжали стоять, а все прочие упали на колени, было довольно глупо. Замечательна колоннада собора (сделанная в XVII столетии Бернини).

Собрание картин в вилле Боргезе богатое, и если бы эта галерея была не в Италии, я бы не преминул восхищенно ее вспоминать. Но после Уффици и Питти во Флоренции она уже не производит большого впечатления. Зато замечателен портрет папы Иннокентия X в галерее Дория, писанный Веласкесом; я считаю его лучшим творением великого испанца; этот удивительный взгляд — пронзительный, сверкающий, умный, подозрительный и злой (известно, что этот папа был жесток — например, за неповиновение жителей г. Кастро он повелел его разрушить до основания, пройтись плугом по территории бывшего города, сровнять с землей и поставить столб с надписью: «Здесь был г. Кастро»). Уж очень хороши красно-розово-белые тона и тонкость и разнообразие мазков.

В другой галерее — во дворце Барберини, принадлежащем теперь Римскому муниципалитету, скрывается прелестная «Форнарина» Рафаэля (веселая возлюбленная художника).

Религиозный Рим (все эти катакомбы, святая лестница и т.п.) мне не понравился. Гнетущая жара во время 1-й поездки — до 45° Цельсия — мешала, конечно. Но все же мы съездили и в Тиволи, и на так называемую виллу Андриана (собственно, в то, что от нее осталось). В конце концов, стоит ли любоваться развалинами?

На обратном пути домой мы посетили Милан, очень большой город с небоскребами (умеренной степени), центр промышленной жизни Италии. Миланский собор — это архитектурная симфония, — и я не понимаю, как могут его умалять противопоставлениями с чудными маленькими церковками, сохранившимися в Италии, России и т.д. Хорошо и то, и другое в своем роде. Посмотрели «Тайную вечерю» в галерее Брера — опять ранний Рафаэль, и понравились мне вещи Кривели, Луини. Вообще есть изящные произведения у так называемых маньеристов, и я не вижу тут никакого декаданса, просто новое направление, другие вкусы — и даже более близкие нашим. Женщина ведь не только мать (тем более с младенцем у груди), но и любовница — объект любви мужчины, и прелесть ее как женщины еще до материнства (и независимо от него) едва ли не больший стимул жизни, поэзии, творчества, музыки. Наконец, мы сделали приятное путешествие на озеро Комо и озеро Маджифе (это уже на границе

со Швейцарией), даже купались, а тем временем пекло в Милане довело кое-кого из жителей до солнечного удара.

К концу первой поездки в Италию газеты сообщили большими буквами о «перевороте» в Советской России — смена правительства с отстранением Маленкова, Молотова, Кагановича (и «примкнувшего к ним Шепилова»). Писалось о ловком маневре Хрущева, успевшего собрать пленум ЦК, в чем ему помогла Фурцева. Говорилось, что не ясна позиция Булганина и Ворошилова. Газеты строили догадки, не возьмет ли бразды правления маршал Жуков, хотя утверждалось, что он оказал основную поддержку Хрущеву, а сам не годится в советские Наполеоны, так как является хотя и военным человеком, но не слишком решительным. Не могу сказать, были ли мы довольны или недовольны сменой руководства. Как сказано у Пушкина — «народ безмолвствовал». Как известно, потом полетел и Жуков, не говоря о Булганине, а через несколько лет, в свою очередь, и сам Хрущев.

Вторая поездка в Италию была связана с участием в конгрессе европейского кардиологического общества в Риме. За несколько дней до этого в Риме состоялся коллоквиум по эпидемиологии атеросклероза, куда мы прибыли вдвоем с И. И. Сперанским. Там были Уайт, Кац и Кис из США, а также Кимура из Японии, Александров из Польши, очень симпатичный профессор Гаус (с женой) из Мюнстера — Западная Германия, — автор отличной монографии о грудной жабе, и многие другие. Затем — конгресс, конгресс как конгресс. Я больше вспоминаю бесконечные банкеты и приемы в разных дворцах Рима. Мои дела (доклад, ведение одного из заседаний) сошли удачно. Остальные наши — одни плохо, другие сносно, третьи — ничего. Не умеют еще и все плохо говорят (и на своем-то языке — а на иностранных стыдно слушать). Особенно в эти делегации проникают наши южане. А заявки сделаны. Вино откупорено, его надо пить. Заседания были в отличных аудиториях недавно выстроенного Дворца конгрессов (Palezzo dei ricevimentie Congressi) в новом стиле.

После конгресса мы поехали в Неаполь. Неаполь произвел на нас большое впечатление прежде всего своей бухтой (надо же природе создать такую ласковую, праздничную бухту — от ее улыбающейся синевы сразу улучшается настроение). Конечно, прелестен при этом и силуэт Везувия. Узкие улочки, как трещины между высокими многоэтажными домами, завешаны разноцветным бельем, живописно освещаемым сверху солнечным лучом. Эти улицы полны галдящего и движущегося народа в ярких одеждах, признаться, грязноватого. Фрукты, овощи, запах гнили, в



углах жарят что-то остро, неприятно пахучее. Но главные улицы чинны и роскошны. Потом мы отправились осматривать Помпею (см. в известных всех описаниях), на меня лично особенного впечатления она не произвела. На пароходике побывали в Сорренто и на острове Капри. Остров Капри покрыт большими зданиями, гнездящимися на его уступах. Кроме, впрочем, живописной Monte Solaro («солнечная гора»), круто обрывающейся в море. Скалистые берега острова, на фоне синего моря, конечно, очень хороши. Но я все же не понимаю, как мог Горький жить на этом каменном клочке столько лет! Мы видели виллу, в которой он жил, — приклеенная на скале, висит над морем, как скучно! Как хорошо, что мы живем у себя на родине, в необъятных северных просторах, в наших свежих лесах, где прохладно, сочно, даже мокро. Конечно, хороши эти лазурные гроты, сверкающие камни, всегда сияющее солнце, но лучше все это посмотреть, повосхищаться, запастись впечатлениями — и ехать восвояси.

С особым чувством всегда возвращаешься домой — к своим (своим близким, своей работе, своей жизни, своей культуре). Как бы много ни видел чудесного в мире, самая чудесная для каждого человека страна — его родина.

\* \* \*

В Англии я побывал также дважды. Страна мне понравилась. Очень красив сельский ландшафт — он хорошо отражен в живописи: пышные луга, зеленые перелески, могучие столетние деревья, полные до краев тихие речки и пруды, холмистые дали, там и сям живописные скопления старинных домиков вокруг готической церкви, тучные стада. Современная культура очень осторожно изменяет этот стиль — своими фабричными трубами, лентами автомобильных дорог. Барские усадьбы и холеные парки еще сохранились и, что бы об этом ни думать с социальной точки зрения, с эстетической точки зрения они приятны. Хороша полноводная Темза с ее парусными лодками, симпатичными пароходиками и сочными нарядными берегами. Конечно, красива Шотландия, но горы есть горы, и много горных стран краше. Что касается Лондона, то он производит противоречивое или, лучше сказать, смешанное впечатление. Он слишком велик по территории, из него едва выедешь, до его центра едва доберешься — и все домики и домики, небольшие, в два этажа. «Неужели это Лондон?» — спрашиваешь. Улицы на периферии однообразны и скучны. Общий колорит сероватый;

улицы — за старостью — косы, неясно, куда они, черт их возьми, ведут, но вместе с тем последнее приятно — я люблю города, построенные без системы. Замечательны лондонские парки — светлые, просторные, с удивительно свежими изумрудными газонами (они в результате постоянной подстрижки гладки и плотны, как ковер, их нельзя снять, поэтому на газонах можно располагаться — лежать, играть, бегать, — как это и делают коренные лондонцы). Всюду восхитительные цветы, как в Голландии. Парки в центре города — Гайд-парк, Джеймс-парк, Грин-парк, а особенно очаровательный — Риджентс-парк.

Вестминстерское аббатство, парламент и башня Большого Бена — панорама едва ли не одна из лучших в мире. Вестминстерское аббатство стало строиться еще в XI веке! Замечательный Вестминстерский зал был построен в XI, частью в XIV веке! Правда, другие части парламента сгорели (в первой половине прошлого века) и построены и перестроены позже — даже перед самой войной (1940). Меня не заинтересовало, все или не все английские короли короновались в Вестминстерском аббатстве, равно как и то, какие великие люди похоронены там. Но старая готика, уходящая в небо, ее дух, ее утонченное изящество! Были мы и в знаменитом парламенте, а также в белом зале. Тут же с выходом на Трафальгар-сквер стоит старинное красивое здание какого-то музея — в нем обезглавили в XVII веке Карла I. Ну и пусть! Если уж говорить об английских расправах в борьбе за власть, то для того, чтобы почувствовать былой дикий разгул, надо побывать в Тауэре. Сами стены этой тюрьмы, в норманнском стиле с романскими башнями по углам, красивы, как красивы башни Кремля. Как красива старина (или она нам такой представляется); они построены в конце XI века. Историю с казнью хорошенькой Анны Болейн на ее могиле вам рассказывают, но подобные зверские драмы лучше почитать у Шекспира. Букингемский дворец интересуется публику сменой дворцовой охраны, одетой в допотопную форму: через решетки все глазают, играет музыка. Если король (королева) во дворце — вывешивается штандарт, на что, впрочем, нам было наплевать. А публике, по-видимому, нет: самый демократичный народ, завоевавший хартию вольности еще в XIV веке, породивший Кромвеля, — любит свою аристократию и ею кичится; кажется даже, что простой народ усвоил постепенно ее некоторые замашки, то есть она сыграла некую для него воспитательную роль.

Мне понравился более Сен-Джеймский дворец из красного кирпича, в типичном староанглийском стиле (здание было сперва для госпиталя, а потом перестроено под охотничий дом Генриха VIII и подарено им Анне Болейн).

Но не будем повторять туристские проспекты. Нельзя обойти, впрочем, музеи: National Gallery, выходящая на Трафальгарскую площадь (с ее колонной Нельсону), конечно, превосходна по составу своих сокровищ. Интересны англичане, которых мы меньше знаем: удивительные марины Тёрнера — туманы, моря, бури, скалы в каком-то золотом тоне, с пестрыми переливами — разложением солнечного света наподобие радуги. Вот он, импрессионизм — еще за полстолетия до французов! Констебл кажется менее интересным, но он хорошо отразил английский пейзаж. Веласкес представлен едва ли не лучшим его творением «Венера с зеркалом». Много старых шедевров! Чудная девушка с гибким телом, лежащая на ковре, изображенная со спины. Поразительна Сюзанна Фурман Рубенса — в шляпе (Le chapeau de Paele). Прекрасны портрет женщины в косынке Вейдена (Reyer von der Weyden, 1399–1464 г.), Боттичелли — мадонна с младенцем и двумя ангелами (все три женских лица, их волосы, изящные ручки, просто диво). «The shrimp girl» Хоггарта, тогда как его жанровые вещи неприятны, фарс какой-то. В Tate Gallery пришлось идти далеко вдоль по берегу Темзы, там выставлена знаменитая «Ложка» Ренуара, немало и более левых вещей, в том числе и мало нам известных современных англичан. Наконец необходимо отметить громадное впечатление от Британского музея с его грандиозными коридорами (галереями), в которых собраны величайшие ценности по различным вопросам исторической, естественно-исторической, историко-архитектурной наук. Мне особенно понравились собрания книжных художественных миниатюр — в частности, иранские рисунки с тонкими фигурами, изящной раскраской, экспрессией, фантазией. Мне кажется, что плоскостная, условная манера их очень близка нашей иконе — равно как и стремление в одной картине дать эпизоды, относящиеся к разному времени и описываемой истории.

Поездка в Виндзор познакомила нас с великолепным замком, построенным в XV–XVII веках, он и до сих пор служит периодическим местом пребывания королевской четы. Отдельные части его еще восходят к XII веку, например, круглая башня (из красного кирпича) и некоторые стены, возвышающиеся на берегу Темзы. Я не умею описывать прелести дворцов; прогуливаясь по анфиладам залов, публика не устает замирать от восхищения при виде роскоши, красоты вещей и т.п. Меня же автоматически тянет рассматривать картины, портреты Эдуардов и Генрихов и других и их жен и придворных господ. Но имеется и специальная галерея, где висят автопортреты Рубенса, портрет матери художника — Рембрандта, его же «Еврей», портреты Гольбейна и Дюрера и ряд импозантных ван Дейков (ведь ван Дейк жил в начале XVII века

в Англии). Кстати, нам показали и бюст Черчилля.

К замку примыкает и Итон-колледж — учебное заведение, в котором получают по традиции образование юноши знатных английских семейств (он основан еще в середине XV века). Сочетание дворца и лицея, как известно, мы имели в Царском Селе.

Конгресс по аллергии в сентябре 1959 года, на который я в первый раз прибыл в Англию, прошел как-то мимо (я тогда с трудом понимал английскую речь). Возили нас еще куда-то на станцию, где велись исследования по десенсибилизации против сенной лихорадки — болезни, частой в Англии. Наконец, в большом зале гильдий, что за собором Св. Павла, членов конгресса принял мэр города; тот, кто имел право носить мантии (это были английские ученые), — оделись в них; члены нашей делегации разрядились в черные костюмы и шли пешком по улице, точно на похороны. Был еще прием в Лондонском университете, высоком новом здании города, но уступающем московскому.

На этом приеме были две привлекательные женщины — и внимание мое раздвоилось. Одна — очень молодая и стройная немочка, жена немецкого профессора Дерра, а он старше, лет 65 или больше, вот молодец, ну да бог с ним. Другая — жена одного из организаторов конгресса, доктора; ей оказалось 28 лет, она вышла замуж всего год назад (в Англии интересные молодые девушки поздно выходят замуж); с этой молодой дамой мы подружились и переговорили об английской и русской литературе, о нашем балете (в Англии сейчас много внимания уделяют балету и считают своих балерин ученицами Карсавиной и Павловой). Вообще, кто сказал, что англичанки некрасивы? Напротив, я согласен с Герценом, который где-то писал, что среди англичанок много некрасивых, но если поставить себе цель найти истинно красивую, то она наверняка будет англичанкой. Очень хорошо сочетание каштановых волос с розоватым длинным лицом да еще серыми или синими глазами. Может быть, они в большинстве своем длинны? Но это скорее относится к мужчинам, те действительно долговязы. Англичане мне вообще понравились: это люди простые, разумные, образованные (по сравнению с американцами). Чопорность и замедленность реакции — это скорее проявление сдержанности, привитой воспитанием, традициями. Они здорово хохочут (вспоминается при этом, что когда-то говорилось о «веселой старой Англии»). А. П. Чехов (его, кстати, здесь очень любят и хорошо знают) не прав в своей «Дочери Альбиона», он просто оказался жертвой предвзятых взглядов, а сам не бывал в Англии и, следовательно, не мог знать и характера дочерей этой страны.

Еще одно впечатление, идущее вразрез с обычным: погода в Англии даже осенью (мы были в сентябре) может давить вас солнцем не хуже, чем в Сочи (за все 10 дней пребывания не было ни одного дождя), стояла теплынь. А вернулись мы домой через Ленинград и от Ленинграда поездом, так как над Москвой стояли свинцовые тучи, лил холодный дождь, и Внуково не принимало.

Второй раз я был в Англии в 1963 году на Международном конгрессе по питанию в Эдинбурге, ездил я вдвоем с З. А. Бондарь. На небольшом пустынном аэродроме никто не встречал, нас довезли до центра японцы (тоже прибывшие на съезд). В городе мы нашли оргкомитет, меня направили в общежитие. З. А. устроили в частном доме (пансион). В общежитии для студентов никого не было (были еще вакации — хотя конец сентября), в маленькой комнате помещалась лишь койка, столик, шкаф. Уборная общая. Утром давали обычный английский брекфест, вечером чай с печеньем. Было просто. Обедали в столовой университета. Конгресс был сложным: не только для медиков, но и для химиков, специалистов по питанию и т.п. Все же было много весьма интересных докладов. Мой доклад «Витамины и атеросклероз» прошел удачно; он был программным, поэтому я даже получил гонорар, 20 фунтов, что позволило участвовать в платном банкете и разных поездках (я платил и за З. А.).

Эдинбург красивый город — он основан еще в VII веке Эдвином (в честь кого и назван сам город); с горы прекрасный вид на центр города, на Princess Street с памятником Вальтеру Скотту. Эдинбургская национальная галерея весьма богата произведениями лучших мастеров мировой живописи. Особенно привлек мое внимание Гойя — El Medico (врач в красной тоге prepares лекарства — книги, таз с каким-то снадобьем — великолепно лицо и особенно руки врача), хороши и другие испанцы — Веласкес, Эль Греко, а также Рубенс. Очаровательнейший Ван Гог, весенний пейзаж Арля, удивительный по ощущению радости, нежности (как многообразна натура художника!). Был дома у одного из организаторов конгресса — профессора Оливера (я его встречал раньше на других конференциях и его милую жену — у них четверо детей, старший сын собирает марки и был рад получить русские). Там были и другие специалисты по атеросклерозу — Кисе, Кинзер, Кричевский, Броун-Стюарт.

Съездили мы и в соседний Глазго; блеск магазинов, отличные улицы и все такое. Особенно понравились парки около университета, там же памятник Гарвею, открывшему кровообращение. Когда бродишь по незнакомому городу — а именно надо ходить пешком, — испытываешь

особое чувство нового. Одно из несомненных удовольствий жизни. Но как много на свете людей! Как много обширных городов, в каждом из которых своя, сложившаяся веками жизнь да и столько живет индивидуальных жизней с их любовью, заботами, радостями, успехами, несчастьем; наконец, все-все умирают и живут другие, а потом эти умирают и живут другие и т.д. Это, конечно, философия дурацкая, но приходит в голову. В Эдинбурге два года тому назад была с туристами-медиками моя жена Инна. Мне было приятно проходить мимо той большой гостиницы у вокзала на главной улице, в которой она останавливалась. Мне даже по временам казалось, что в ней, этой гостинице, что-то осталось мне родное. Вот когда — издали — иногда находит на вас нежность к своим. Вообще за границей я могу быть обычно с хорошим настроением только две недели — позже начинает брать скука по дому. В гостях хорошо, дома лучше. И это относится как к стране, так и к семье. Летишь домой со смешанным чувством: а) не случилось ли там чего? б) какие там новости, события; в) сколько буду рассказывать! Наконец, г) везу подарки. Для этого последнего надо, конечно, суметь потратить свои маленькие деньги, оставшиеся от еды, на что-то, которое должно вызвать радость, возможно, что женщины ждут то, что можно красиво надеть. На этот раз я, впрочем, истратил 9 фунтов на себя, а именно купил очень интересную книгу о новом русском искусстве (о нашем «авангарде», то есть левых художниках), блестяще написанную молодой и умной англичанкой.

\* \* \*

И в Бельгии я был дважды. В первый раз на III Международном конгрессе по кардиологии в 1958 году. В состав делегации входили Парин, Горев, Вовси, Василенко и мн. др. Мы приехали никому не известные, как бедные родственники. В программе наших докладов не было, их заявили слишком поздно (да и состав делегации был фиксирован только перед отъездом — все на правах туристов). На открытии мы где-то скромно поместились, как вдруг откуда ни возьмись — Пол Уайт! Он обнял меня, Парина, повел в президиум и т.п. Появились и другие американцы, в том числе знаменитый Курнонд (автор катетеризации сердца, лауреат Нобелевской премии), Киис, Эндрюс. Потом они приглашали нас на обеды, мы им дарили матрешек, они смеялись. Доклады наши были приняты на одну из секций, состоялись в конце конгресса, при малой аудитории, без особого успеха. Пожалуй, только Вовси сделал доклад на уровне и притом

на прекрасном немецком языке, а Нестеров из Воронежа молчал (на том же, но очень скверном языке) какую-то непонятную чушь об опухолях сердца, для чего — неизвестно. В честь конгресса был дан в Palais des beaux arts концерт (в программе Шуберт, Брамс и «Жар-птица» Стравинского), в королевской ложе сидела старая Елизавета. В заключение был банкет; я сидел между двумя дамами, с одной из них (профессор Падмаватти из Нью-Дели) должен был изъясняться на английском, с другой (женой профессора Судье из Парижа) — на французском, а когда плохо знаешь несколько языков, они создают в голове такую смесь, что становишься самому себе смешон и жалок. Я еще удивлялся деликатности господ иностранцев, вынужденных терпеть в условиях светского, высшего уровня — за ужином в строго вечерних туалетах — беспомощное косноязычие ученых из России. Но я скорее шучу: ведь они-то обычно по-русски не знают ни слова! К тому же постепенно положение меняется, и мы уже можем поддерживать разговор.

Бельгия — маленькая страна, но обладает большими сокровищами искусства. Еще в Брюсселе его не так много: музей, обладающий отличными полотнами Рубенса, а особенно старых нидерландцев, все же не производит большого впечатления. Сам Брюссель — приятный город: он соединил в себе черты современной столицы и старого города. Наибольшее впечатление производит замечательная ратуша (Hotel de ville) — изящное готическое здание, а также расположенный против него музей города (раньше — Maison du roi) с аркадами в первом и втором этажах, да и сама прямоугольная площадь между ними — прелесть, в том числе и в утренние часы, когда она занята под разноцветную базарную торговлю, или вечером, когда она чиста, пустынна, а старинное здание залито огнями. Фигура мальчика, писающего на вас на одной из углов старых улиц, на меня не оказала умильного впечатления. Громадный Дворец правосудия — здание скорее безобразное (в каком-то египетско-ассирийско-вавилонском стиле). Хороши улицы, дома которых вытянуты в длину на 4 этажа и стиснуты между собой, узкие, всего в два-три окна в ширину. Я и восхищался этими домами до тех пор, пока не увидел их более красивыми и старинными в Геате и других городах Бельгии.

План Брюсселя своеобразен — вокруг города идет широкий проспект наподобие нашей Садовой улицы, а к центру идут радиусы; по периферии города мне понравились пяти-шести— или восьмиугольные маленькие площади, как звезды, собирающие лучи улочек. В одном из парков — рядом с королевским дворцом где-то на боковой аллее — стоит заброшенная маленькая статуя Петра Великого.

В дни нашей поездки на III Конгресс кардиологии еще продолжалась международная выставка. Наш павильон, а также Польша, публике очень нравились. Мне, впрочем, показалось, что слишком много даем там науки и еще чрезмерно раздуто «материнство и младенчество» — например, ясли (которые европейцы скорее отталкивают — вот, дескать, подтверждаются суждения о том, что при коммунизме семьи не будет!). Поэтому веселее в американском павильоне, где красотки показывали новые моды. На выставке был организован павильон «50 лет мирового искусства». Наши картины, исторические, бытовые и т.п. в устаревшей манере соцреализма, почти не привлекали зрителей, за исключением превосходных полотен Дейнеки, в том числе и революционного содержания (подлинное искусство может покорять, несмотря на классовые расхождения). Но и среди западноевропейских и американских картин были плохие: весь субреализм мне показался противным — плывут по реке части трупа человека или лошади и т.п. Красив лишь кубизм и полный абстракционизм — линии, пятна, краски в волшебных, как музыка, сочетаниях (но это искусство — широкое поле для шарлатанства, а потому хорошо в нем только немного). Понравились мне чудные Дюфи (детски чистые и наивно поэтические), а также композиции Villon (в которых наименование вещи, данное автором, конечно, вызывает только восклицание: «Не похоже!») или сады Мее (просто сочетание каких-то размытых разноцветных прямоугольников) и т. д.

После конгресса была поездка по стране. Сперва мы проехали Гент, площадь Св. Бафона, поднялись на громадную ратушу, были в старинном кафедральном соборе, где осмотрели Ван Эйка, в старом полуразрушенном замке графства; особенно же любовались архитектурой домов на набережной. Одни из них возведены в период поздней готики — в 4–6 этажей с крутыми высокими треугольными крышами, покрытыми красной черепицей, другие — относятся уже к периоду барокко с изломанными линиями, богатством украшений; но в сумме — как хорошо, как замечательно, что эти дивные здания сохраняются на земле, по которой прошли современные варвары с танками и чудовищной артиллерией под град бомб с неба. Следующий город — Брюгге. Почему-то я ожидал нечто мрачное — может быть, воспоминания романа Роденбаха «Мертвый Брюгге». А это просто чудесное местечко — задумчивые каналы, осененные кучами пышных деревьев, которые смотрятся своими склоненными ветвями в зеркало вод, старинные каменные мостики, масса цветов, милые дома, чрезвычайно интересный музей живописи. Драгоценность его — «Мадонна с каноником» Ван Эйка; несколько



выразительных картин Мемлинга и ван-дер-Вейдена, особенно портретов. Но некоторые картины (Гуго ван-ден-Гоез, Джерол Давид) мне не понравились своим крайним натурализмом и антиэстетическим жестоким содержанием — казни, отрубленные головы, смерти. В госпитале Св. Яна висит очень приятная «Святая дева с яблоком», написанная в 1480 году Мемлингом. Затем мы побывали в Антверпене. В порту стоял в этот день советский пароход (не помню, «Грузия» или «Россия»). Город значителен. Мы посетили дом Рубенса (Maison de Rubens). Надо сказать, великолепный дом — дворец, полный предметами искусства; изумительны анфилады комнат с каминами, решетчатыми узорами больших окон, шашками полов, скульптурами (Сенеки, Геркулеса), в одном из обширных покоев красуется очаровательный портрет жены Рубенса — Елены Фурман, написанный учеником его Ян-ван-Бэксхорстом (J. v. Voeckhorst).

В Антверпенском музее несколько картин Рубенса, в том числе не понравившаяся мне «Снятие со креста» — и своей величиной, и своей грудой голых тел (как и другие аналогичные картины в одном из американских музеев). Далее мы доехали до Остенде, видели широченный пляж, усеянный массой людей, море, мало отличающееся от других морей, — в этом городе родился известный художник Энзор — и устроили его музей (Энзор жил около 90 лет, умер в 1949 году). На обратном пути мы взбирались на холм, воздвигнутый в честь битвы под Ватерлоо (в котором союзники разгромили Наполеона), на вершине холма — лев (лев, между прочим, изображается на национальном гербе Бельгии, марках и т.п.), и наконец уже перед самой столицей — посетили музей Конго и как бы побывали в этом злосчастном крае (Бельгия награбила в этой колонии немало богатств).

Второй раз я был в Брюсселе в 1962 году на Международном коллоквиуме по «сосудистой стенке». Устраивало его бельгийское кардиологическое общество, «под эгидой принцессы Лилиан, супруги Леопольда III», были приглашены только наиболее видные кардиологи европейских стран (да два американских хирурга, Дебейки и Бром, оперировавшие сына короля, принца Петра, у которого был открытый баталлов проток и они его закрыли; принц Петр — студент-медик, долговязый, простой парень). Меня поместили, как и двух английских профессоров, в особняке какого-то крупного банкира в апартаментах из нескольких комнат, прикрепив шофера и т.п. и т.д. В день приезда устроитель коллоквиума профессор Лежим и его высокая и элегантная жена посетили меня и предложили — это уже был вечер — поехать во дворец Аржантейль к королеве Елизавете. К королеве так к королеве. Было там

всего около десятка приглашенных. Королева Елизавета — любезная старая дама, в девичестве училась на медицинском факультете и игре на скрипке. На одном из столиков в ее кабинете я увидел фото Ворошилова с надписью «Дорогой королеве Елизавете» от такого-то, а также фото Давида Ойстраха.

Прибывшие с нами дамы по очереди делали перед королевой глубокий реверанс и целовали руку, мужчины целовали руку, как вообще у дамы. Когда рассаживались за стол к ужину, Елизавета пригласила меня сесть рядом с ней. Она, между прочим, сказала, что ей нравится Советская Россия, она бывала дважды на конкурсах Чайковского — что-то новое, смелое, большое общее движение. Хрущев также энергичный и простой человек. А ведь тут у нее давно сложившаяся страна. Елизавета сказала далее: она думает, что институт королей отжил свой век; ну пока нас еще терпит наш народ — да ведь мы теперь от всего отстранились, пусть управляют своей страной сами, королевская власть остается лишь символом единства страны и традицией — постепенно короли исчезнут за отсутствием для них функции.

Утром начался коллоквиум. Доклады были очень интересными — неудивительно, что все они были быстро напечатаны в одном из международных кардиологических журналов. Мой доклад имел успех (о ранних изменениях в артериальной стенке при экспериментальном атеросклерозе — с применением электронной микроскопии). На ту же тему сделал доклад и известный французский кардиолог, профессор Ленегр. Каждый день были приемы, а вечером — обеды. Особенно запомнились из них два: одни — в Лувенском университете (католическом), его ректор — архиепископ, полный, очень светский и образованный человек, в сутане. Дамы становились перед ним на колени и целовали руку, мужчины ограничивались рукопожатием. Колоритна карта обеда. Напечатанная на веленовой бумаге, с обложкой с изображением университета и кабинета Эразма (Эразм работал здесь, мы посидели в креслах, в которых сидел великий человек, и пощупали толстые книги, которые он ощупывал своими философскими руками). На одной стороне — латинский текст: «*Alma mater Jovanonsis serenissim... redi Leopoldo celsissimoprincipessae Liliona universis ductissimis viris deirurgiae cardio paritissimis hac die in nestrum athanerew ad internationale colloquium congressis amicis cunatis in necessitudimen invitatis inclitac convivarum coronel laetum diem multes annes felices exoptet*», а на другой стороне меню (лангусты, «венетские гондолы», особое вкусное мясное блюдо, «сибирский омлет» и т.д. с указанием марок вин, десерта и т.п.). Другой обед, особенно запомнившийся, был у короля Леопольда III (этот король сейчас в отставке — он передал свой трон брату Бодуэну;

отставка была связана с непатриотичным поведением его в период последней войны, когда он вступил в сговор с Гитлером, — другие утверждают, что это было бы еще куда ни шло, таким способом удалось сохранить от разрушения страну с ее замечательными памятниками культуры, — но главная вина Леопольда III в том, что он женился на артистке, женщине простой крови, которую нельзя было сделать королевой, и она получила лишь титул принцессы). Я считаю, что Леопольд III не дурак, королевские функции в Бельгии никчемны, привилегии же, полагающиеся королю, он сохранил — дворец, богатство, почести и т.п., — а принцесса Лилиан, несмотря на свои 40 лет, блистает очарованием, это красивая брюнетка, притом даже кокетливая, что делает ее простой, без чопорности в обращении. Я был посажен за главный стол, рядом с королем (между нами сидела лишь дама — баронесса, жена французского посла). Леопольд меня расспрашивал о Москве, об университете (поразился, как много у нас студентов): «Вы, говорят, большой специалист по атеросклерозу; скажите, холестерин очень вреден?» Когда я рассказал ему, что холестерин физиологически необходим организму, он входит в состав любых тканей нашего тела, что особенно много его в веществе мозга и он играет важную роль в функции нервной системы, Леопольд сострил: «О, я так понимаю ваши слова, что пусть уж лучше этого холестерина немножко больше застрянет в сосудистой стенке, но его нужно съесть, чтобы быть умнее, не так ли?» Не буду больше распространяться об обедах, чтобы не повторять опереточных «Каким вином нас угощали, какой обед нам подавали», скажу лишь, что в этих встречах было много, как говорят, «полезных контактов» и происходило дружеское общение между учеными, съехавшимися из разных стран; беседы эти служили продолжением коллоквиума. Кстати, из дворца передавали и телевизионные выступления троих ученых: Ленегра (Франция), Мясникова (СССР) и Дебейки (США) — на французском языке.

В эту поездку я подружился со шведским кардиологом Вёрхо, а особенно с его женой — элегантной молодой дамой, блиставшей своими туалетами, веселой и кокетливой. Она могла изъясняться на всех европейских языках, что облегчало мне разговор, насколько можно было, затрудняясь во фразе на одном языке, переходить на другой. Все за ней понемножку ухаживали, муж сдерживал свое беспокойство: они были женаты недавно (развелись с соответствующими парами). Надо отдать должное его выбору: его жена блистала не только внешними данными, но и остроумием и культурностью (знанием искусства, музыки). На заключительном банкете она сказала мне на прощание, что я ей очень

понравился («всем»), что отныне я ее лучший друг, что она мечтает со мной встречаться и дальше и приедет непременно в Москву, и поцеловала меня, притом отнюдь не материнским образом. Что ей пришла за идея, непонятно.

По приглашению японского кардиологического общества, в мае 1964 года я был в Киото на конгрессе. Этот конгресс был созван не только японским обществом, но и филиалом Международного кардиологического общества, объединяющим страны Азии и Австралию. Я уже раньше был в Японии (для консультации нашего посла Тевосна, с которым и возвратился — у него оказался рак легких, потом он умер в Барвихе; это был простой, умный и приятный человек. Я жил в посольстве, мне показывали огромный Токио, ездили смотреть прелестную Фудзияму — одну из очаровательных снеговых гор на земле; атташе по культуре показал — для контраста — улицы, состоящие из одноэтажных домов с красными фонарями, в каждом окне — ожидающая мужчину проститутка и т.д. (говорят, что сейчас проституция запрещена, сотысячная «армия» публичных девиц пристроена на фабриках — ой ли!). В тот раз в Токио я летел через Копенгаген, Бейрут и т.д. На этот раз советский самолет из Москвы летел в Ташкент, потом пересек Памир и спустился в Рангуне. Лил тропический дождь, туча как бы села на землю — и самолет часа два не мог сесть, не видя аэродрома, мы все кружили вокруг высокой пагоды, а горячее уже было на исходе; наконец сели. В Рангуне нужно было пересаживаться на другой самолет — на Бангкок. Времени было довольно, и начальник нашего отделения Аэрофлота меня повез в город, показал университет, храмы (пагоды) с фантастическими контурами золоченых огромных куполов и красными стенами. Столица Бирмы являет смесь дикой, грязной Азии с современным американско-европейским укладом привилегированных. По улицам идут... голые: женщины еще кое-как завешаны цветными тряпками, но мужчины шествуют босые, в грязных трусах или слегка прикрыты рваным балахоном. А между тем народ красивый — особенно стройные девушки, загорелые, с большими черными глазами, полными подрумяненными щечками, ослепительными зубками, сверкающими из-за сильно накрашенных губ. Их походка — верх гибкости, как будто они все время танцуют. В окрестности Рангуна — рисовые поля, топь, болота. Перелет на Бангкок на местном самолете американского производства занял всего два часа. Был уже вечер, где ночевать — неизвестно; пришлось звонить нашему представителю; приехал предупредительный молодой человек, который нас устроил. В гостинице было уютно, а дождь, вернее неистовый тропический ливень продолжал

колотить о стекла окон, через которые видны были лишь потоки воды, а в воде тускло мерцали фонари улиц. Но наутро погода лучше, можно полюбоваться причудливой архитектурой пагод и некоторых зданий, назначение которых некогда было уточнить, сидя в машине. Летим на Air France в Японию.

В Токио меня встречали советник посольства т. Попов и его жена, доктор, симпатичная женщина; у них я побывал дома, вкусно угощали; она возила меня по городу и т.д. и т.п. Оказывается, президент конгресса профессор Майакава сообщил о моем приезде в наше посольство, так как сам не мог, занятый организационными делами, обеспечить встречу (наша телеграмма, посланная из института в адрес конгресса, пришла своевременно, тогда как телеграмма, будто бы посланная министерством в посольство, не пришла). Переночевав в отеле, к вечеру следующего дня я выехал поездом в Киото. Я был один, кругом японцы, по-английски проводник не говорил, когда выходить — не знаешь. Наконец Киото! Двенадцать часов ночи, такси, мой отель также носит название «Киото», а отель выговаривается «хотё-ру». Там меня ожидал прекрасный номер — за счет конгресса (это современный отель высшего класса). Утром еду на конгресс: много знакомых лиц — из Европы и США. Встречаю и Нодара Кипшидзе, он из Женевы (не по СССР, а по ВОЗ). Меня приглашают в президиум, надевают какую-то ленту с цветами. После церемонии открытия — перерыв, наконец доклады (мой доклад прошел вполне удовлетворительно).

После конгресса — поездки по японским храмам и дворцам, в Нару и другим достопримечательным местам. Но мне архитектура этих старых пагод не понравилась своим полным сходством с китайской, своей наивностью, однообразием и т.п. Вообще китайско-японская культура не по мне. Что-то игрушечное (всякие штучки и какие-то карточные домики). По сравнению с Китаем здесь все более тонко и изящно. Но я понимаю, что перенос элементов этого стиля в наши условия неизбежно приводит к мещанскому дурному вкусу. Другое дело — сами японцы. Их следует уважать за то, что, будучи людьми этой культуры и ее патриотами, они сохранили ее традиции, но вместе с тем усвоили для себя и своей страны достижения мировой — европейской культуры и создали мощное современное государство с замечательной техникой (особенно электроникой, акустической и оптической), высоко подняли науку и достигли богатого уровня жизни.

Еще в Японии я узнал, что Международное кардиологическое общество (собственно, международный кардиологический фонд) решило присудить мне «Золотой стетоскоп». Эта международная премия была впервые дана Полу Уайту, и вручал ее ему Эйзенхауэр в 1960 году. В последующие три года премия не присуждалась — вот теперь решили вручить «Золотые стетоскопы» одновременно трем видным кардиологам мира (по алфавиту): Камилу Лиану (Франция), Мясникову (СССР) и сэру Джону Паркинсону (Англия). Инициатором моего премирования был, вероятно, Уайт (но вместе с тем выбор, надо думать, определялся и значением страны — этим подчеркивалось желание контактов с Советской Россией со стороны Запада). От международных кардиологических организаций извещение в адрес нашего общества и министерства пришло осенью 1964 года. В газетах последовали сообщения об этом. Надо сказать, что эта международная премия оказалась большим событием, которое рассматривалось не только как проявление уважения международных ученых к моей персоне, но и как свидетельство советской кардиологии. Поэтому меня стали всюду поздравлять как «лучшего кардиолога мира», я получал множество телеграмм, на заседаниях меня приветствовали, печатались мои портреты в журналах — даже в телевизоре и в кино показывали меня на фоне института и даже дачи, в лесу, с женой и внуком и все такое прочее. Вручение было назначено сперва на октябрь — в Париже, а потом перенесли на полгода — и состоялось в Женеве во второй половине апреля с.г.

В Швейцарию была направлена группа врачей — по моему выбору (жест уважения): поехал я, моя жена, Лукомский, два профессора, бывших ранее моими сотрудниками, — Ильинский из Ленинграда, Янушкевичюс из Каунаса и еще два моих сотрудника — доктора Матвеев и Палее, но только за первых троих должны были внести полагающиеся за участие в торжественном обеде деньги, по 50 долларов, очень дорого (в одной из швейцарских газет, напечатавших об этом, было сказано: «Американская затея — взять за обед 50 долларов, хотя он самое большее мог стоить 5!»). Неясно, кто должен был внести, у Минздрава столько лишних долларов не было, обратились в МИД, и там В. С. Семенов дал распоряжение об отпуске сих денег из фонда нашего представительства в ООН в Женеве. Прочие поехали в туристскую поездку — без участия в самой процедуре. Как водится, выехали мы с запозданием и приехали в Женеву уже тогда,

когда конференция открылась. Мне с женой за счет фонда был предоставлен номер в фешенебельной гостинице «Intercontinental», что недалеко от Дворца наций. На приеме, организованном ВОЗ, была вся группа, — да тут еще много наших, Кипшидзе с Бубой, мой милейший сотрудник Игорь Шхвацабая (служит клерком два года), его жена и некоторые другие. Потом продолжались заседания, посвященные истории кардиологии, ее организации и т.п., — все это было притянуто за волосы, для декорации. Но все же были довольно интересные доклады, в том числе и Лукомского о советской кардиологии.

Вручение премий состоялось после торжественного обеда вечером 23 апреля. Председатель Уайт сделал вступительное слово, потом выступил председатель общества, женеvский кардиолог Дюшозаль (у которого я был раньше — во время моих приездов в Швейцарию — дважды в гостях в его прекрасной вилле). Далее пошла сама процедура: сперва о лауреате говорит соответствующий ученый, выделенный обществом, потом Бэер вручает дар, затем держит слово лауреат.

Первым был Лиан, о нем говорил председатель Кардиологического общества Канады, затем в ответном слове Лиан рассказал об истории стетоскопа, описанной в моем учебнике, приглашенный к принцессе, должен был слушать ее сердце, склонив на ее нежную грудь свою косматую голову, но это ему показалось неудобным, да и пациентка запротестовала, тогда он, вспомнив, как мальчишки слушают в дудки, попросил принести ему газету, свернул ее и в импровизированную трубку стал слушать сердце). Лиану теперь около 80, он хорошо выглядит, но уже не тот, что десять лет назад, как-то везет свои ноги и глуховат. Лиан, конечно, крупнейший кардиолог Франции старшего поколения, но был выбор между ним и его учеником Ленегром (Ленегр недавно женился, его красивая молодая жена — актриса, она сидела, как и моя жена, в первом ряду столиков — молодец, он в моих летах). Вторым был я, обо мне говорил профессор Лукл из Чехословакии. Он сказал не только о моих трудах, но и о нейрогенном направлении в кардиологии, которое я успешно развиваю, что является моим крупным оригинальным вкладом в мировую науку, о том, что я обладаю богатством идей при блестящей способности к их синтезу, наконец, о том, что я являюсь олицетворением связи между медицинской наукой Востока и Запада. Он так лестно и проникновенно меня охарактеризовал (конечно, с неизбежной для подобных случаев гипертрофией), что ничего подобного мне о себе никогда не приходилось слышать (или читать) ранее. Получив из рук Бэера золотой стетоскоп, я, шутки ради, стал выслушивать через рубашку сердце Пола Уайта, что было

встречено бурными аплодисментами (некий символ — русский и американец, сердце); в ответном слове я как раз говорил о символическом значении премии, о значении науки вообще и в частности кардиологии в объединении народов и т.п. — на весьма неважном английском языке, что не помешало потом всем расхваливать мою речь.

Профессор Паркинсон не мог прибыть по болезни (это тот самый Паркинсон, выдающийся деятель современной международной медицины, который описал вместе с Бэтфордом характерную электрокардиологическую картину при инфаркте миокарда, а также вместе с Уайтом — особый синдром ускорения проходимости сердца и мн. др.); стетоскоп Паркинсона вручен Бэтфорду.

После обеда и процедуры с вручением премий в кулуарах подходили ко мне разные лица, жали руку, давали сувениры и т.п. Вообще присутствовали все видные кардиологи (всего из 30 стран мира).

Итак, я попал в число четырех виднейших кардиологов мира — и притом старейших (впрочем, одно утешение, среди них я самый молодой, на 15 лет моложе других). Кипшидзе и Шхвацабая внесли за обед по 50 долларов из своего кармана, шутили, что они готовы были бы заплатить и во много раз больше, чтобы присутствовать на таком торжестве их учителя и представителя Родины.

На следующий день мы покатали по Швейцарии. Наши туристы уехали немного раньше, мы на легковой машине догнали их в Берне. В Лозанне я уже бывал раньше, как и в Монтрё, поднимался на фуникулере на снеговые горы, осматривал Шильонский замок и т.д. В Берне, где я тоже был раньше (и даже делал доклад в клинике видного специалиста по болезням почек Рейби, а потом у него дома ужинал и рассматривал старую русскую икону), лил дождь. Надо было уточнить вопрос с обратным билетом, поскольку мой был фиксирован от Женевы, а отбытие нашей группы прямо из Цюриха, пришлось заехать в наше посольство; из-за воскресного дня посла не было. Дежурный отказался мне что-либо сделать. «Ждите до завтра». Я разозлился (лауреат «Золотого стетоскопа») и велел передать послу, что я жду его помощи в одном маленьком деле.

Не прошло и двух часов, как в номер гостиницы явилась целая компания — приветливые люди, — и от посла и некоторые другие они выражали сожаления, что я их не предупредил о своем приезде, что с билетом, конечно, все будет устроено. Они повели нас в ресторан и т.п. Я еще завез нашу компанию в музей, где в нижнем этаже была выставка абстракциониста Клеса.

Наутро мы выехали в Интерьяскен, поспели на поезд на Юнгфрау.



Сперва мы сели на один поезд, потом пересели на другой. Зубчатая дорога шла по необычайно красивым склонам и наконец погрузилась в длинейший тоннель и вынырнула на вершине. Погода стала лучше, а на горе — и совсем ясная. Открылся чудесный мир снеговых гор, сверкающих на солнце ледников. Было холодно, мы сперва побродили немножко по снегу в нашей легкой обуви, озябли и в ожидании обратного поезда грелись в станционном помещении на калорифере. Вернулись к вечеру, усталые и счастливые, с чувством, что мы видели какое-то чудо мира. Утром поехали в Люцерн, однако прямой путь завалило (в связи с дождями), и мы отправились назад к Берну и, не доезжая до него, свернули по холмистой местности к Люцерну. В Люцерне я раньше не был, чудный город — красиво все: и озеро, и набережные, и остроконечные башни зданий, и изящные улицы, и панорама гор, в том числе сизо-фиолетового Пилата, обсыпанного снегом на вершине. Мне особенно понравились в Люцерне башни и стены за городом (Musegy türme) и мост (Kapellbrücke), построенный еще в начале XIV века, деревянный, под крышей которого в ее свод вделаны треугольные старые картины, их около 80 — прекрасные по краскам и выразительности сцен. Переночевав в гостинице «Шиллер», мы покатали по знаменитой дороге по берегу озера Ури. Трудно передать словами впечатления от отвесных скал слева, а справа синей глади озера, за которым сияют кажущиеся очень близкими снеговые горы. Да и сама дорога в техническом отношении, с тоннелями и виадуками, едва ли имеет себе равных. Очень мил Флуэлен с видом на пик Бристен. В живописном местечке Альдорф на площади мы осмотрели памятник Вильгельму Теллю. Далее — дорога на Сен-Готард, окруженная горами с альпийскими лугами. Сколько простору! Как все сохранно!

Замечательная страна. Маленькая, казалось бы, по карте, а такие просторы горных склонов и долин. Старая, в центре старушки Европы, через нее проходили народы с юга на север, с запада на восток, — а между тем чистая, как бы даже девственная. Сколько тут путешественников, туристов, курортников — а нет впечатления тесноты, напротив, малолюдно и спокойствие. Промышленности почти нет (за исключением знаменитых химических заводов на окраине страны, в Базеле), а между тем все время сооружаются дорогостоящие ленты дорог, изобилие товаров в магазинах лучшего качества, всеобщее богатство людей. За счет чего они живут? За счет туристов? Или за счет банковских капиталов, хранящихся охотно в маленькой традиционно нейтральной стране — в нашу эпоху войн, революций? Что оберегает эту страну? Мы видели какие-то тоннели, идущие в горные массивы, военные машины. Но велика ли может быть у

них армия? А ведь вокруг сжимали страну последние столетия сильные державы — Франция, Германия, Австро-Венгрия и Италия. Почему они ее не растерзали? Когда-то швейцарцы были стойкими вояками, но их мало. Может быть, чтобы оставить тыл для сохранения имущества и жизни?

При всем том люди здесь удивительно трудолюбивы и честны. Обиход жизни здесь точен, как часы, родиной которых Швейцария является. К сожалению, швейцарцы (и особенно швейцарки) не отличаются красотой. Северная, большая, часть говорит по-немецки, но немки куда краше. Южная, меньшая, — на французском, но француженки куда изящнее.

Мне пришла в голову мысль, что разделение романской и германской культур прошло по горным хребтам, начиная с Карпат, потом Альп и Арденн (романские народы — за этой цепью к юго-востоку, к югу и юго-западу от этой линии, начиная с румын, итальянцев, французов и валлонов), славяне не в счет, они расселились по той и по другой сторонам, но в Европе они подчинились этим главнейшим культурам, сохранив лишь свой язык.

Наконец, наш шестиместный лимузин («Ситроен») забрался высоко к Сен-Готард; почтенный шофер, мсье Моро из Парижа (по летам он работает в Женеве) для сокращения пути погрузил нас на железнодорожную платформу, и мы попали в длинный тоннель. Когда мы вылетели из его мрака, была словно другая страна: сияло солнце, тепло, мы помчались вниз, сухие склоны, леса отступили. Прежних швейцарских домиков с большими нависающими крышами уже больше нет, как и остроконечных колоколен; они сменились романскими круглыми куполами и домиками итальянского типа. Мы — в итальянской части страны. Вскоре — Локарно (где был подписан знаменитый договор), красивые южные сады и парки, и наконец Лугано. По общему определению членов нашей группы, мы попали в сущий рай. Чудесный город, окаймляющий синее озеро, вокруг нежные голубые горы, все погружено в бесконечный цветущий сад. Наш отель на горном склоне, с балкона — амфитеатр города и гладь вод. Я позвонил д-ру Бишофу (я его встречал на конгрессах, и он был у нас в Москве, подарил мне часы с надписью на память — часы эти он оставил И. И. Сперанскому, так как меня в Москве не было, — и тот еще справлялся, где следует, можно ли принять часы, сказали — можно). Вскоре доктор и его симпатичная оживленная жена приехали за нами, повезли к себе, где показывали мой портрет на стене, виды Москвы, а потом отправились ужинать в ресторан (где при нас на столе приготавливали вкусное мясо, какую-то дичь).

Бишоф — человек лет 70, жена — 40; он раньше работал в клинике и

числится профессором, а в связи с возрастом поселился в Лугано и занимается частной практикой. Узнав, что я хочу посетить знаменитую картинную галерею барона Тиссена (а завтра она по расписанию закрыта), Бишоф позвонил барону по телефону, и тот пригласил нас, сказав, что сам покажет ее.

На следующее утро за нами заехали Бишофы. Барон Тиссен оказался молодым человеком, простым в обращении. Он сын мультимиллионера, который вместе с Круппом поставлял кайзеру пушки (а позже — и Гитлеру). Сын говорит, что теперь он занят искусством, хотя во время демонстрации галереи его то и дело отвлекали к телефону из разных стран. Дворец был куплен отцом у принца Рудольфа Баварского — роскошный парк и т.п. Галерея построена специально — с верхним светом; картины очень удобно и просторно размещены. Собрание богатейшее — главным образом итальянцев и голландцев, отчасти французов и испанцев. Оно включает вещи первоклассных мастеров. Барон показывал, а я в ажитации заранее угадывал автора, тем заслужил со стороны владельца уважение. («Вы, оказывается, не только виднейший кардиолог мира, как это я вычитал на днях из газет, но и подлинный знаток живописи», — сказал он.) Потом мы фотографировались, нас приглашали выпить кофе или вина, затем мы прощались. На прощание всем подарили по большому альбому с репродукциями картин галереи.

Расставшись с милым Лугано, мы проехали Беллинзону с ее генуэзскими стенами крепости XIV века, с аркадами на «Солнечной площади» и старинным кафедральным собором, и стали подниматься все выше и выше — на перевал Бернардино (свыше 3 тысяч метров над уровнем моря). Через несколько часов мы уже были в зоне снегов; дорога шла как бы в каньоне в толще снега в несколько метров. Потом живописный спуск, зигзаги, виадуки, тоннели, и наконец мы в живописном Шуре, городке немецкого типа. Снова перевал (Julier), очень высокий, кругом снег, и к вечеру курорт Сен-Мориц, расположенный на высоте 1800 м над уровнем моря; большую часть года там снег.

Разреженный горный чистый холодный воздух в дострептомицидную эру привлекал сюда для климатического лечения туберкулезных больных со всей Европы. Теперь это центр альпинизма. Мы остановились в Hotel Ches a sur l'Eu, очаровательном деревянном здании, в комнатах, пахнущих деревом стен, со старенькими светильниками, но со всем современным комфортом. Признаться, снег мне уже надоел — эка, подумаешь, новость для нас, из Москвы.

Воздух — да, но в Красновидове зимой не хуже. Пришлось еще

заезжать в Клостер, местечко, впрочем, славное, в Давос, о котором мы знали по литературе, не столь, впрочем, медицинской, сколько художественной. Наконец мы прикатили в Цюрих.

Цюрих — большой (самый крупный в Швейцарии), красивый, но скучноватый город, скорее немецкий, хотя на краю неба с юга сверкают снегами Альпы. Может быть, прав А. И. Герцен, которому этот город не понравился. Но Ленин любил Цюрих. Каждый город хорош не всегда своими достопримечательностями, а иногда — воспоминаниями, которые он после себя оставил. Я был и раньше в Цюрихе, в клиниках, в музее. В музей мы зашли и на этот раз. Швейцарские художники — не моего вкуса. Еще Hodler, импрессионист, подчас красив в задумчивых пейзажах, но он же неприятен в символических композициях. У Сегантини много света — но вместе с тем слишком много коз. Но прямо противен Арнольд Бёклин — а ведь было время, когда он считался главой новой школы, им увлекались (я еще в детстве о нем знал по открыткам всех этих «островов мертвых», «священных роц», «битв кентавров» и т.д.). Из всех напыщенных (впрочем, очень красочных) композиций обращает внимание лишь «Жизнь наша коротка» (*Vita somnium breva*). На переднем плане голенькие дети, мальчик и девочка, играющие в траве, на втором — молодые — красивая женщина, провожающая возлюбленного или мужа (на войну?), наконец, на заднем плане темный силуэт сгорбленного старика, над головой которого занесен смертоносный удар.

Как в Цюрихском, так и в Базельском музеях много хороших картин французской школы — Матисса, Ван Гога, Тулуз-Лотрека («Бар»: толстенный красномордый муж и бледная тщедушная жена, перед мужчиной штоф со стаканом, женщина смотрит в сторону — как жизненна эта сцена и до сих пор). В Цюрихе висит и Кандинский («Черные пятна») — кстати, этот художник здесь некоторое время жил. Много Пикассо с уродливыми женскими чертами, одноглазых или даже трехглазых.

И вот я опять дома. «Золотой стетоскоп» пришлось показывать на 2-м Всероссийском съезде терапевтов, в кулуарах, конечно; его снимали вместе со мной для телевизора и кинохроники и т.д. и т.п. Некоторые были разочарованы: «А мы думали, настоящий стетоскоп, весь из чистого золота, а это ведь фонендоскоп, а золота-то немного, да и настоящее ли оно?» Министр Курашов, совершенно больной (раком), как и всегда почему-то злой по отношению ко мне, назвал стетоскоп дешевкой и все выпрашивал, кто выдумал эту затею — и где статут этой премии, можно ли с ним ознакомиться? Но подавляющее большинство отнеслось весьма

положительно. Все, конечно, понимали, что дело не в золоте, а в мировом признании — и не только меня, а, следовательно, и нашей науки. На банкете, который я вынужден был устроить по сему поводу, замминистра А. П. Серенко и министр здравоохранения РСФСР В. В. Трофимов поздравили меня сердечно и остроумно, как и мои коллеги профессора (Тареев, Нестеров, Лукомский, Гукасян, Анохин, президент Блохин, вице-президент С. Р. Мардашев, директор института В. В. Кованов и многие другие). Но пора уже эту приятную сторону моей жизни закрыть.

\* \* \*

Я сознаю, что слишком увлекся описанием заграничных поездок в ущерб поездкам по стране, которых также за эти годы было немало. В связи с научными делами (сессии института, Академии, наших обществ) я был в Минске, Смоленске, Вильнюсе, Каунасе, Риге, Калининe, Киеве, Куйбышеве, Саратове, Свердловске, Новосибирске, Томске, Тбилиси, Ереване, Ялте, Алма-Ате и т.д. — не считая Ленинграда и курортов Черноморского побережья. Особенно приятно вспоминаются поездки в Куйбышев, где нас исключительно гостеприимно и торжественно встречали Н. Е. Кавецкий и другие терапевты, в Вильнюсе, где был проведен первый опыт выездной сессии Института терапии, в Киеве, где Институт им. Стражеско оказал нам очень теплую встречу. Я уж не говорю о Тбилиси, в котором я чувствую себя как дома в связи с дружбой моих бывших сотрудников.

Под свежим впечатлением остановлюсь лишь на двух последних поездках дома: в Душанбе и в Иркутск (уже после Женевы).

В Таджикистан мы поехали по просьбе профессора Х. Х. Мансурова — моего бывшего аспиранта, а потом докторанта. Теперь он директор Института краевой медицины (гл. образом терапии), вошедшего в систему нашей Академии. Он, безусловно, талантливый и энергичный деятель, хорошо наладивший работу в области изучения печеночных заболеваний (и, я бы даже сказал, создавший оригинальное цитохимическое направление в этой области, — отчасти при помощи своей жены, биохимика). Оба Мансуровы, он и она, являются примером передовых таджиков, она к тому же совмещает в себе женщину-ученого и женщину — мать троих детей и просто приятную даму общества. Вообще таджики мне понравились — недаром они горды своим национальным происхождением (Омар Хайям, поэт, и Авиценна, ученый, медик, говорят, они, были

таджиками). Они считают себя ветвью староиранской культуры. Съезд терапевтов Таджикской ССР был открыт торжественно, с участием представителей правительства и Верховного Совета и т.д. В день открытия в газетах был опубликован указ о присуждении мне звания заслуженного деятеля науки Таджикской ССР — сказано: «за подготовку высококвалифицированных научных кадров» (кажется, в лице одного Мансурова). Так, не получив звания заслуженного деятеля науки в своей стране — РСФСР, я получил это звание здесь. Мне сильно аплодировали на съезде и до и после доклада. Хороший доклад сделал Логинов (этот мой сотрудник отличается желчным неврастеническим характером, но дельно делает свою работу — по лапароскопии).

Душанбе — новый город (когда-то это был маленький кишлак, а при Сталине было развернуто громадное строительство — в честь чего и из рабских побуждений город был назван Сталинабадом, а когда Никита Сергеевич погорел, решили вернуться к названию кишлака). В нем все, как положено столице, — здания правительства, Верховного Совета, Университет им. Навои, Медицинский институт им. Авиценны, министерства, театры, даже своя Академия наук.

Можно спорить о тяжеловесности архитектуры («метростроевской»), для южного нового города могли бы быть найдены другие формы. Но тут строили под Грецию и Рим. Погода была дождливая, но все цвело, лишь в последний день показалось солнце, и я поехал на машине в горы за 80 км. Сперва шли нависшие голые скалы, но потом выехали на смотровую площадку, окруженную громадами снеговых вершин, лед спускался к самому шоссе. В музее познакомился с таджикскими художниками, пишут в манере соцреализма, чуточку, может быть, свободнее, — один из них повел меня домой и подарил превосходный этюд. Он — автор портрета Авиценны, висящего в музее (Хошмухамедов). Давали нам в театре избранные балетные номера. Поразителен столь быстрый расцвет культуры! Вот куда надо ездить для того, чтобы почувствовать величие эпохи, значение нашей революции, прогрессивную роль социализма. На заключительном банкете угощали — в меру — местными блюдами; плясала хорошенькая молоденькая танцовщица, которая любезничала со мною и обещала приехать в Москву (у нее там подруга — Стручкова) и встретиться, «если ваша жена не будет ревновать». Утром на аэродроме собралось много провожающих; на безоблачном небе горел амфитеатр снеговых гор.

В Иркутск — в июне — мы отправились целой группой: наряду со старшими — Чазовым, Вихертом и Эриной — поехали и младшие —

Баранова и Руда. Вылетели мы в 10 часов, полет — 7 часов, разница во времени — 5 часов — итого в Иркутске уже поздний вечер, нас встречало множество людей со множеством цветов; д-р К. Р. Седов, постоянный участник наших конференций в Москве, теперь заведует здесь кафедрой, он же устроитель выездной сессии нашего института — совместно с Иркутским обществом врачей и медицинским институтом.

Нас поместили в особняк — в прошлом богатый купеческий дом, — в котором останавливаются именитые гости. Так, здесь останавливался Н. С. Хрущев (и я спал на той же кровати, на которой спал он). Мы были одни в доме с несколькими удобными комнатами и зажили здесь по-семейному — утренний чай, обеды, ванны и все такое.

Иркутск отличается от Новосибирска тем, что в нем еще много старых крепких домов — в том числе и больших каменных, сохранившихся со старого времени, — он ведь был не только губернским городом, но в нем жил генерал-губернатор Сибири. Город был очень богат, купцы ворочали громадной торговлей — чай из Китая через Монголию, пушнина и т.д. Нравы отличались сочетанием обрядности, традиций, послушанием старшим — и вместе с тем разгулом (пиры, любовницы и т.п.).

Новая часть развивается быстро — каменная набережная Ангары, новые здания областных учреждений, клубы, корпуса банальных современных жилищ и т.п.

На конференции присутствовали советские и партийные руководители края, много народу, все, как обычно в этих случаях. Все наши доклады были сделаны хорошо. Меня давали по местному телевидению и радио и т. п. Председатель облисполкома, у которого потом мы были на приеме, рассказал нам о замечательном крае, о его несметных богатствах на земле и в земле, о строительстве Братска, он советовал туда съездить, но, к сожалению, я почему-то уперся, и мы не поехали — сразу после нас в Иркутск прибыл Тито, потом шах Ирана — и все они, конечно, первым делом отправились в Братск. Но я не люблю гидростанций (я бывал на Волховской, Куйбышевской), меня не привлекает техника — лучше видеть что-либо дикое, не тронутое человеком. Мне как-то даже обидно, когда вольная, полная движения река преграждается усилиями каких-то человек с их злыми учеными машинами (в конечном счете, чего доброго, ведущими к атомной смерти), а пока что подтачивающими жизнь гипертониями, инфарктами миокарда; словом, я субъективно равнодушен к техническому прогрессу, хотя и с удовольствием пользуюсь его благими плодами.

Потом нас возили на Байкал. Байкал, конечно, чудо. Прозрачен не

только своей водой, но и далями, тонкими и нежными очертаниями берегов, а особенно синими силуэтами забайкальских гор (Хамар-Дабан). Байкал по-якутски «богатое озеро». По объему воды второе после Каспия, самое глубокое озеро в мире, вода, как известно, пресная, славится вкусной рыбой омуль (мы несколько раз ели).

Мы побывали в специальном музее, посвященном Байкалу, и заведующая этим музеем, молодая особа, поразила нас увлекательным рассказом об озере, притом в удивительно сжатой и художественной форме. Потом мы поднялись на пик Черского, на котором Лара Баранова увлеклась какими-то жуками, потом кремовыми цветами типа лилий; вообще она блистала своей молодостью, красотой, изяществом, элегантными платьями, и приятно было все время чувствовать, что она умница и чудесный человек. И другие — во время этой поездки — оказались милыми, любезными — дружеский Чазов, сдержанный Вихерт, предупредительный Руда и даже Эрина, казалось бы, сухая, немного больная дама, оказалась приятной и деликатной. Иркутские друзья собрались в загородной правительственной даче над Ангарским морем на ужин в честь нашего приезда. Дача — европейский стиль и блеск, с витринами в столовой и панорамой Ангарского моря. Умеют, умеют слуги народа жить за счет народа. Прогнали одних бар, завели себе других. Правда, есть еще оправдание — иногда здесь останавливаются знатные иностранные гости (не ударять же нам в грязь).

Наконец, нас повезли на юг — за Байкал, к монгольской границе, к восточной части Саянского хребта. Мы ехали на «ЗИМе» по бескрайним лесам, довольно, впрочем, жидким (деревья здесь имеют сравнительно тонкие стволы, обычно искривленные — в результате постоянных сильных ветров и больших морозов; березы, ели, сосны кажутся молодняком, тогда как по слоям их древесины приходится им насчитывать чуть ли не столетний возраст). Тут же Бурят-Монголия.

Полноводная река Иркут, образующая широкую долину, какие восхитительные луга, полные цветов, нам неизвестных — диких лилий, нарциссов, каких-то ярких огненно-красных кустов. И все дальше и дальше, людей почти нет, редкие маленькие деревеньки. Потом мы свернули с монгольского тракта — все ближе и ближе горы, на которых заметен снег. Наконец, мы очутились у подножия «Тупнинских Альп», отрогов Саян, в маленьком курорте под названием Арша... (имеется источник, богатый углекислой известью). Мне вспомнилась Белокуриха — по постройкам, по местоположению — у входа в ущелье. Нас хорошо накормили, уложили по небольшим палатам на железные, чистые кровати



(в помещении пахло дезинфекцией). Утром мы отправились вверх по ущелью к водопадам. Ущелье и водопады, конечно, красивы, как и везде.

На обратном пути в Иркутск на середине пути заднее колесо соскочило, но мы не перекувырнулись. Судьба Онегина хранила.

Отъезд в Москву задержался в аэропорту из-за Тито. Из специального зала мы видели, как он и его супруга выходили из самолета и все такое, что при этом происходило. Полет прошел незаметно, с остановкой в Новосибирске в новом великолепном аэровокзале — и вот опять дома, в Москве.

Приезды и отъезды. Не много ли? Не пора ли остановиться? К старости усиливается охота к перемене мест. Хочется побольше посмотреть, пока не свалит вас какой-нибудь недуг или не придет час последнего отъезда, из которого уже не будет возвращения. Но мне не свойственен пессимизм, и, может быть, «мы еще повоюем, черт возьми!».

*Красновидово, 4 августа 1965 года.*

---

---

<b>notes</b>
--------------

**1**

Высшие женские курсы в Санкт-Петербурге (1878–1918). Одно из первых женских высших учебных заведений в России.

Петрункевич Иван Ильич (1843–1928) — российский политический деятель, видный член кадетской партии. Член Государственной думы I созыва (1906).

Родичев Федор Измайлович (1854–1933) — российский политический деятель. Член Государственной думы I, II, III и IV созывов (1906–1917).

Николай II выступил 17 января 1895 года в Николаевском зале Зимнего дворца с речью перед депутациями дворянства, земств и городов, прибывших «для выражения их величествам верноподданных чувств и принесения поздравления с бракосочетанием», в которой, в частности, сказал: «Мне известно, что в последнее время слышались в некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся бессмысленными мечтаниями об участии представителей земства в делах внутреннего управления». Это выступление царя рассеяло иллюзии относительно конституционных преобразований сверху и послужило материалом для революционной агитации.

Шингарев Андрей Иванович (1869–1918) — земский, общественный, политический и государственный деятель, специалист в области государственного хозяйства и бюджета от либеральной общественности, врач общей практики, публицист.

Глинка Федор Николаевич (1786–1880) — русский поэт, публицист, прозаик, офицер, участник декабристских обществ.

«Песнь о колоколе» (1799).



Баллада «Лесной царь» (1782).

Фламарион Камиль (1842–1925) — французский астроном, известный популяризатор астрономии.

Дело Бейлиса — судебный процесс по обвинению еврея Менахема Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика подготовительного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 12 марта 1911 года. Процесс состоялся в Киеве 25 сентября — 28 октября 1913 года и сопровождался, с одной стороны, активной антисемитской кампанией, а с другой — общественными протестами всероссийского и мирового масштаба. Бейлис был оправдан.

Карбчевский Николай Платонович (1851–1925) — российский судебный оратор, писатель, поэт, общественный деятель. Адвокат Бейлиса.

Маклаков Василий Алексеевич (1869–1957) — российский адвокат, политический деятель. Член Государственной думы II, III и IV созывов. Адвокат Бейлиса.

«Новое время» — русская газета, издававшаяся в Петербурге до революции. Была закрыта сразу же после Октябрьской революции 1917 года. К описываемому периоду превратилась в реакционный сервильный орган печати, занимавший антисемитскую позицию.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870–1920) — русский политический деятель ультраправого толка, монархист, черносотенец, юдофоб. По отношению к «делу Бейлиса» занимал резко обвинительную позицию. Автор антисемитского запроса Государственной думы в адрес министров юстиции и внутренних дел.

Имеется в виду геноцид армян в Турции 24 апреля 1915 года. В этот период курдские племена не принимали участия в погромах и убийствах.



17 (4) апреля 1912 года на приисках Ленского золотопромышленного товарищества правительственные войска расстреляли участников забастовки. По разным оценкам, погибло от 107 до 270 человек. Трагедия получила название «Ленский расстрел».

Штюрмер Борис Владимирович (1848–1917) — российский государственный деятель. В 1916 году (с 20 января по 10 ноября) был председателем Совета министров Российской империи, одновременно, до 7 июля 1916 года, был министром внутренних дел, затем — министром иностранных дел. В ходе Февральской революции был арестован, умер в тюрьме от сифилиса головного мозга.

Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1918) — российский государственный деятель, крупный помещик и промышленник, с 16 сентября 1916 года — министр внутренних дел Российской империи. В ходе Февральской революции был арестован. После Октябрьской революции расстрелян.

Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — российский государственный деятель, председатель Совета министров Российской империи в 1906 и 1914–1916 годах, министр внутренних дел в 1895–1899 гг. В ходе Февральской революции был арестован. Убит во время разбойного нападения на его дачу.

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — российский политический деятель, историк и публицист, лидер кадетов. 1 ноября 1916 года Милюков выступил в Государственной думе с речью, в которой обвинил императрицу Александру Федоровну и премьер-министра Штюрмера в подготовке сепаратного мира с Германией. Каждый абзац его речи заканчивался рефреном: «Что это, глупость или измена?»

Стопницкий Северьян Осипович — профессор кафедры анатомии в Московском университете и во 2-м МГУ в 20-е годы XX века.

Литературная группа, сложившаяся в Москве в начале 1920 года. Российский вариант дадаистов. Были близки имажинистам. Ничевоки выпустили два альманаха — «Вам» (1920) и «Собачий ящик» (1921). В состав группы входили Рюрик Рок, Лазарь Сухаребский, Аэций Ранов, Сергей Садиков, Елена Николаева, Сусанна Мар, Олег Эрберг, Борис Земенков и М. Агабабов.

Кекчеев Крикор Хачатурович (1893–1948) — российский психофизиолог, специалист в области физиологии и психофизиологии труда. Автор концепции внутренних психофизиологических механизмов работоспособности и утомления человека.



Кишкин Николай Семенович (1854–1919) — профессор Московского университета, заведовал Пропедевтической терапевтической клиникой на Девичьем поле и кафедрой пропедевтики с 1902 по 1919 год.

«Маска Гиппократата» (точнее, *facies Hippocratica*, «лицо Гиппократата») — особый вид лица больного, характерный для крайне тяжелого состояния. В древности считалась верным признаком скорой смерти.

Попов Петр Михайлович (1863–?) — профессор, директор факультетской терапевтической клиники Московского университета.

Захарьин Григорий Антонович (1829–1898) — выдающийся русский терапевт. С 1862 года — профессор и директор факультетской терапевтической клиники Московского университета. Рассматривал организм как целостную систему, а болезнь — как результат неблагоприятного воздействия внешней среды. Славился искусством диагноза и лечения. Создал крупную московскую медицинскую школу, среди представителей которой — ряд выдающихся врачей. В конце жизни консервативные общественно-политические взгляды Захарьина привели к изоляции его от прогрессивных ученых и студенчества, в результате чего в 1896 году он покинул Московский университет.

Невядомский Михаил Михайлович (1883–1969) — профессор, доктор медицинских наук. В 1924 году стал руководителем клиники кафедры пропедевтики внутренних болезней 2-го МГУ, сменил Д. Д. Плетнева. Вслед за И. И. Мечниковым выдвинул гипотезу о вирусной природе рака, затем отказался от нее и разработал теорию паразитарного происхождения онкологических заболеваний. Теория была отвергнута официальной медицинской наукой в пользу онкогенетической, М. М. Невядомский утверждал, что его преследуют (ему сломали ноги в подъезде его собственного дома).

Фромгольд Егор Егорович (1881–1942) — видный терапевт, профессор Московского университета. Занимался вопросами патологии обмена веществ. Соредактор Большой Медицинской Энциклопедии. В 1941 году был репрессирован, умер в лагере.

Семашко Николай Александрович (1874–1949) — российский революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель, один из организаторов системы здравоохранения в СССР, академик. С июля 1918 до 1930 года занимал пост наркома здравоохранения РСФСР.

Сысин Алексей Николаевич (1879–1956) — профессор Московского университета, один из основоположников гигиены в СССР и организаторов санитарно-эпидемиологической службы, академик АМН СССР.



Флеров Константин Федорович (1865–1928) — выдающийся российский инфекционист. Ученик Захарьина, работал в Институте Пастера в Париже. Вел педагогическую и научно-исследовательскую работу, приват-доцент, затем профессор Московского университета с 1902 года. Создатель школы инфекционистов.

Тарасевич Лев Александрович (1868–1927) — выдающийся русский советский микробиолог и патолог, академик АН УССР. Работал у И. И. Мечникова в Париже. В 1908–1924 годах — профессор Высших женских курсов (затем — 2-го Московского университета). Один из организаторов борьбы с эпидемиями в годы Гражданской войны, основатель первой в СССР станции по контролю сывороток и вакцин (1918) (ныне Государственный научно-исследовательский институт стандартизации и контроля медицинских биологических препаратов им. Л. А. Тарасевича).

Барыкин Владимир Александрович (1879–1939) — русский советский микробиолог и иммунолог, профессор. Автор вакцины против брюшного тифа. Научный руководитель Центрального института эпидемиологии и микробиологии Наркомздрава СССР. В 1938 году был репрессирован. Расстрелян. В 1955 году реабилитирован.

Гамалея Николай Федорович (1859–1949) — выдающийся русский советский микробиолог и эпидемиолог. Совместно с И. И. Мечниковым в 1886 году основал в Одессе первую в России бактериологическую станцию. Открыл бактериолизины, возбудитель холеры птиц. Обосновал значение дезинсекции для ликвидации сыпного и возвратного тифов. В 1912–1928 годах — научный руководитель Института оспопрививания в Ленинграде, в 1930–1938 гг. — Центрального института эпидемиологии и бактериологии в Москве. С 1938 до конца жизни — профессор кафедры микробиологии 2-го Московского медицинского института, затем с 1939 г. заведующий лабораторией Института эпидемиологии и микробиологии АМН СССР.

Сахаров Гавриил Петрович (1873–1953) — русский советский патофизиолог. Заведующий кафедрами общей патологии медицинских факультетов Варшавского (1910–1914) и Московского (1914–1929) университетов, патологической физиологии Московского зооветеринарного (1926–1937) и 2-го Московского медицинского институтов (1933–1950). В 1929–1934 гг. директор Московского института экспериментальной эндокринологии.

Эрлих Пауль (1854–1915) — выдающийся немецкий врач, иммунолог, бактериолог, химик, основоположник химиотерапии. Лауреат Нобелевской премии (1908).

Архангельский Виталий Николаевич (1887–1973) — врач-офтальмолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР. Работал под руководством В. П. Одинцова в клинике глазных болезней. В 1938–1944 годы — заведующий кафедрой глазных болезней Куйбышевского медицинского института, в 1944–1953 годах — Киевского медицинского института, в 1953–1971 годах — директор клиники глазных болезней I Московского медицинского института. Одновременно главный офтальмолог Министерства здравоохранения СССР. Впервые предложил переливание крови при глазных заболеваниях, метод закрытия операционных разрезов при полостных операциях на глаза и т. д.

Кечкер Леонид Харитонович — советский кардиолог, ученик Д. Д. Плетнева. В январе 1937 года назначен директором I Ленинградского медицинского института.



Плетнев Дмитрий Дмитриевич (1871–1941) — выдающийся русский советский терапевт, один из основоположников отечественной кардиологии. Состоял в партии кадетов. В 1911 году вместе с группой профессоров уволился из университета в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо. В 1917–1929 годах — профессор Московского университета, затем Центрального института усовершенствования врачей, одновременно заведовал терапевтической клиникой Московского областного клинического института. С 1933 по 1937 год возглавлял НИИ функциональной диагностики и терапии. Пациентами Дмитрия Дмитриевича в разные годы были В. И. Ленин, Н. К. Крупская, И. П. Павлов, почти все крупные партийные и государственные деятели страны. В 1937 году был репрессирован. Расстрелян.

Гордон Осип Львович (1898–1958) — терапевт, гастроэнтеролог, профессор. Доцент кафедры лечебного питания Центрального института усовершенствования врачей, заведующий отделением болезней ЖКТ Института питания. Автор работ, посвященных физиологии органов пищеварения, гастроэнтерологии и лечебного питания при заболеваниях ЖКТ.

С 1945 года — директор Государственного центрального института курортологии.

Выгодчиков Григорий Васильевич (1899–1982) — советский микробиолог, иммунолог и аллерголог, академик АМН СССР. В 1954–1955 годах — директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Спижарный Иван Константинович (1857–1924) — хирург, профессор по кафедре хирургической патологии в Московском университете.

Петров Борис Александрович (1898–1973) — видный хирург, педагог, научный и общественный деятель, академик АМН СССР.

Иванов Владимир Владимирович (1879–1931) — русский советский дерматолог и венеролог. Заведовал кафедрой кожных и венерических болезней I Московского медицинского института с 1917 по 1925 год.

Россолимо Григорий Иванович (1860–1928) — русский советский невропатолог и дефектолог. Был однокурсником и близким другом А. П. Чехова. В 1911 году вместе с группой профессоров уволился из университета в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо. В 1911 году организовал на свои деньги Институт детской психологии и неврологии. В 1917 году передал институт Московскому университету. С 1917 года — профессор МГУ и директор Неврологического института им. А. Я. Кожевникова.



2-й Московский государственный университет (2-й МГУ) — высшее учебное заведение в Москве (1918–1930). Создан в 1918 году на основе Московских высших женских курсов. В 1930 году реорганизован в три самостоятельных вуза.

Коган Борис Борисович (1896–1967) — терапевт, профессор кафедры госпитальной терапии I Московского мединститута, проходил по «делу врачей» (см. ниже).

Жоров Исаак Соломонович (1898–1976) — советский хирург, один из основоположников советской анестезиологии и создатель первой советской анестезиологической школы, профессор.

I Московский ордена Ленина медицинский институт. С 1955 года — I Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова (ММИ). В настоящее время — Первый московский государственный медицинский университет.

Кропоткин Петр Алексеевич (1842–1921) — революционер, теоретик анархизма, географ, историк, литератор.

Мартынов Алексей Васильевич (1868–1934) — русский советский хирург. Автор нескольких трудов по хирургическому лечению болезней печени, желчных путей, щитовидной и поджелудочной желез, облитерирующего эндартериита. Создал научную школу.

Герцен Петр Александрович (1871–1947) — русский советский хирург, член-корреспондент АН СССР. Внук А. И. Герцена. Медицинское образование получил за границей. Профессор медицинских факультетов Московских университетов. Одновременно был директором Института для лечения опухолей (ныне Центральный онкологический институт имени П. А. Герцена).

Ганнушкин Петр Борисович (1875–1933) — русский советский психиатр, ученик С. С. Корсакова и В. П. Сербского, создатель оригинальной психиатрической школы. Занимался исследованием взаимодействия психиатрии и общества, организации психиатрической помощи (по его инициативе была создана внебольничная система диспансеров). В 1936 году имя П. Б. Ганнушкина было присвоено Московской психиатрической больнице № 4.



Левин Георгий Львович — врач, доцент, в 1949–1954 годах был репрессирован.

Левин Лев Григорьевич (1870–1938) — врач-терапевт, доктор медицинских наук, консультант лечебно-санитарного управления Кремля. Был личным врачом А. М. Горького, В. И. Ленина, В. М. Молотова и многих других деятелей партии и правительства. Был репрессирован. Один из правнуков Л. Г. Левина — Владимир Высоцкий.

Пастернак Леонид Осипович (1862–1945) — российский живописец и график. Отец поэта Бориса Пастернака.

Ланг Георгий Федорович (1875–1948) — видный русский советский терапевт, основатель отечественной школы кардиологии.

Ошибка автора. До 1924 года это учреждение называлось Клиническим институтом.

М. Э. Мандельштам с 1936 по 1942 год заведовал кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом ухода за терапевтическими больными СПбГПМА (ЛПМИ).

Белановский Георгий Дмитриевич (1875–1950) — микробиолог и иммунолог, ученик И. И. Мечникова и С. П. Боткина. Основатель и руководитель кафедры бактериологии ЛенГИДУВ (1917–1950). Совместно с В. А. Таранухиным (1873–1920?) предложил вирусную концепцию гриппа. Член-корреспондент АН СССР (1929).

Сейчас это называется «исследование иммунных комплексов», «реакция антиген — антитело».



Морозов Николай Александрович (1854–1946) — русский революционер-народник, участник покушений на Александра II. В 1882 году был приговорен к вечной каторге, до 1905 года находился в заключении в Петропавловской и Шлиссельбургской крепостях. Написал множество книг и статей по различным естественным наукам, в основном популярного и просветительского характера. Разработал собственную концепцию истории, послужившую основой для «Новой хронологии» Фоменко.

Рождественский Дмитрий Сергеевич (1876–1940) — русский советский физик, основатель и первый директор Государственного оптического института (ГОИ), один из организаторов оптической промышленности в СССР.

Зиновьев (Радомысльский) Григорий Евсеевич (1883–1936) — российский революционер, большевик, советский политический и государственный деятель. Занимал высокие государственные посты, с 1919 по 1926 год был председателем Исполкома Коминтерна. Затем находился в оппозиции, был репрессирован. В 1936 году расстрелян. В 1988 году реабилитирован.

Евдокимов Григорий Еремеевич (1884–1936) — большевик, советский партийный и государственный деятель. С сентября 1925-го по 8 января 1926 года — первый секретарь Ленинградского губкома ВКП(б). Соратник Г. Зиновьева, активный участник «новой оппозиции». Репрессирован, расстрелян в 1936 году. В 1988 году реабилитирован.

Арьев Моисей Яковлевич (1885–1947) — видный советский терапевт, кардиолог. В 1945–1956 годах заведовал кафедрой внутренних болезней Ленинградского стоматологического института.

После смерти Г. Ф. Ланга Т. С. Истаманова до 1972 года заведовала кафедрой факультетской терапии I ЛМИ.

Пикфорд Мэри (Глэдис Луиза Смит, 1892–1979) — знаменитая американская актриса, легенда немого кино. Обладательница премии «Оскар» (1930).

«Журнал клинической медицины» (нем.).



Холестеринученый (нем.).

Аничков Николай Николаевич (1885–1964) — видный русский советский патолог. Впервые описал специализированные миогистиоцитарные клетки миокарда (в специализированной литературе — «клетки Аничкова», Anitschkow cells), участвующие в построении ревматической гранулемы. Открыл ведущее значение холестерина в морфо — и патогенезе атеросклероза. Генерал-лейтенант медицинской службы (1943), доктор медицинских наук (1912), профессор (1920), академик АН и АМН СССР, президент АМН СССР (1946–1953). Лауреат Сталинской премии (1942).

Ильинский Борис Вячеславович — известный кардиолог, профессор кафедры факультетской терапии I ЛМИ (1957–1963). Автор монографии, посвященной жизни и творческой деятельности Г. Ф. Ланга.

Ивашенцов Глеб Александрович (1883–1933) — врач-инфекционист.

Тушинский Михаил Дмитриевич (1882–1962) — выдающийся советский терапевт и инфекционист, академик АМН СССР.

Ошибка автора. М. Д. Тушинский лечил гангрену легких неосальварсаном.

Аринкин Михаил Иннокентьевич (1876–1948) — выдающийся терапевт-гематолог, один из основоположников гематологии в СССР, академик АМН СССР (1945). Разработал метод прижизненного исследования костного мозга путем пункции грудины (стерильная пункция Аринкина), получивший мировое признание. Лауреат Сталинской премии (1947).

Черноруцкий Михаил Васильевич (1884–1957) — выдающийся советский терапевт, действительный член АМН СССР, профессор. Изучал широкий круг вопросов, связанных с изучением значения особенностей организма, его реактивности, личности больного в формировании и течении патологического процесса.



Крылов Дмитрий Осипович (?–1935) — терапевт, известный отечественный кардиолог, заслуженный деятель науки РСФСР, профессор. В 1906 году открыл терапевтическое значение нитроглицерина.

Шоттмюллер Хуго (1867–1936) — немецкий терапевт и бактериолог. Описал возбудителя паратифа В, названного его именем; затяжной септический эндокардит как самостоятельное заболевание.

Федоров Сергей Петрович (1869–1936) — выдающийся русский советский хирург, доктор медицинских наук, профессор, основатель крупнейшей отечественной хирургической школы, «отец русской урологии».

Орбели Леон Абгарович (1882–1958) — русский советский физиолог, один из создателей эволюционной физиологии, академик и вице-президент АН СССР. Генерал-полковник медицинской службы.

Петрова Мария Капитоновна (1874–1948) — русский советский физиолог, ученица и сотрудница И. П. Павлова (1910–1936). В 1935–1944 годах — профессор, заведующая кафедрой физиологии и патофизиологии высшей нервной деятельности Ленинградского института усовершенствования врачей. Лауреат Сталинской премии (1946).

Петров (псевдоним Русский) Григорий Спиридонович (1866–1925) — священник, общественный деятель, публицист. Сторонник христианского социализма. Широкую популярность получили его устные проповеди. А. Л. Мясников ошибается, когда говорит о послереволюционной деятельности Г. Петрова: тот был лишен сана в 1908 году (а не сам сложил его), приветствовал Февральскую революцию 1917 года, но осудил Октябрьскую. С 1920 года жил в эмиграции, умер в Париже.

Гротэль Давид Маркович (1895–?) — терапевт, профессор I Ленинградского медицинского института.

Сестра знаменитого советского педиатра Александра Федоровича Тура (1894–1974).



Чистович Федор Яковлевич (1870–1942) — русский советский патологоанатом и судебный медик, в 20–30-е годы — профессор I и II Ленинградских медицинских институтов.

Савранский Леонид Филиппович (1876–1966) — певец (баритон) и педагог. Народный артист РСФСР (1934).

Юдин Сергей Петрович (1889–1963) — певец (лирический тенор), режиссер и педагог. Заслуженный артист РСФСР (1933).

Рылов Аркадий Александрович (1870–1939) — советский художник, пейзажист.

Тур Федор Евдокимович — физиолог, до революции — приват-доцент  
Петербургского университета.

Рысс Симон Михайлович (1896–1968) — видный советский гастроэнтеролог, член-корреспондент АМН СССР. Совместно с М. К. Петровой (см. сноску 82) в 1930 году предложил использовать при зондировании желудка пробный завтрак из отвара капусты, получивший название «завтрак Петровой — Рысса».

В этом месте утрачена часть рукописи. Однако мы можем реконструировать ее содержание: в утраченном фрагменте говорится о том, как А. Л. Мясникову предложили возглавить институт в Новосибирске и стать там профессором и он согласился.

Мыш Владимир Михайлович (1873–1947) — выдающийся хирург, уролог, организатор школы сибирских урологов. Профессор, академик.



Джанелидзе Иустин Ивливанович (Ивлианович (Юстин Юлианович) (1883–1950) — выдающийся советский хирург, ученый и общественный деятель. Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии, академик АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы (1943).

О Бошняне и его «деле» см. ниже.

Триумфов Александр Викторович (1897–1963) — выдающийся советский невролог, член-корреспондент АМН СССР, профессор. Создатель научной школы.

Аствацатуров Михаил Иванович (1877–1936) — один из первых советских невропатологов, ученик В. М. Бехтерева, учитель А. В. Триумфова.

Кончаловский Максим Петрович (1875–1942) — выдающийся русский советский врач, крупный клиницист, основатель школы клиники внутренних болезней. Старший брат художника П. П. Кончаловского.

Автор имеет в виду радоновые воды.

Устаревшая форма измерения радиоактивности. Названа по имени австрийского физика Г. Махе (1876–1954).

Давыдовский Ипполит Васильевич (1887–1968) — советский патологоанатом, один из организаторов патологоанатомической службы в стране. Академик АМН СССР.



Бардин Иван Павлович (1883–1960) — выдающийся советский металлург, академик и вице-президент АН СССР.

Калинин Михаил Иванович (1875–1946) — революционер, большевик, советский государственный и партийный деятель. С 1937 года — председатель Президиума Верховного Совета СССР, де-юре первое лицо страны, поэтому его часто называли Всесоюзным старостой. Калинина (Лорберг) Екатерина Ивановна (Иоганновна) (1882–1960) — жена М. И. Калинина. В описываемый период была в ссоре с мужем и уехала из Москвы на Алтай. В 1935 году вернулась к мужу. В 1938 году репрессирована, была в заключении до 1945 года.

Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — революционер, большевик, советский политический, партийный и государственный деятель, марксистский теоретик. Находился в оппозиции, был репрессирован, расстрелян в 1938 году. В 1988 году реабилитирован.

Лурия Роман Альбертович (1874–1944) — известный советский терапевт. Отец знаменитого советского психолога А. Р. Лурия. Профессор, основатель и первый директор Института для усовершенствования врачей в Казани. Активный участник травли Д. Д. Плетнева.

Каменев (Розенфельд) Лев Борисович (1883–1936) — революционер, большевик, советский партийный и государственный деятель. Находился в оппозиции, был репрессирован, расстрелян в 1936 году. В 1988 году реабилитирован.

Рыков Алексей Иванович (1881–1938) — революционер, большевик, советский политический и государственный деятель. Народный комиссар внутренних дел (1917), председатель Совета Народных Комиссаров (СНК) СССР (1924–1930) и одновременно СНК РСФСР (1924–1929), сменил на этих постах Ленина. В 1937 году был репрессирован и расстрелян. В 1988 году реабилитирован.

Эйхе Роберт Индрикович (Генрихович) (1890–1940) — революционер, большевик, советский государственный и партийный деятель. После 1917 года работал в Латвии, с 1924 года — на партийной работе в Сибири. Организатор коллективизации и раскулачивания. Входил в «тройку» ОГПУ Западной Сибири. В 1938 году был арестован, в 1940 году — расстрелян. В 1956 году реабилитирован.

Ошибка автора. В 1937 году командующим Сибирским военным округом стал комкор Максим Антонович Антонюк (1895–1961). В 1938 году М. А. Антонюк был арестован, однако вскоре оправдан. В 1940 году получил звание генерал-лейтенанта, активный участник Великой Отечественной войны.



Пентман Израиль Соломонович (1888–1937) — организатор и первый заведующий кафедрой патофизиологии Новосибирского государственного института для усовершенствования врачей (ГИДУВ). Окончил медицинский факультет Базельского университета, затем работал ассистентом кафедры патологической анатомии в Базеле. В 1937 году был репрессирован.

Фон Негели Карл Вильгельм (1817–1891) — знаменитый швейцарский и немецкий биолог XIX века. И. С. Пентман едва ли мог работать у Негели, поскольку на момент смерти последнего ему было около трех лет.

МОКИ — Московский областной клинический институт (в настоящее время — Московский областной научно-исследовательский клинический институт, МОНИКИ).

Страшун Илья Давыдович (1892–1967) — ученый-гигиенист, историк медицины и организатор здравоохранения, академик АМН СССР. Был мужем поэтессы Веры Инбер.

Нечаев Александр Афанасьевич (1845–1922) — выдающийся терапевт, организатор больничного дела, создатель Обуховской школы врачей, один из наиболее способных учеников С. П. Боткина.

Мельников Александр Васильевич (1889–1958) — известный хирург-онколог, генерал-майор, академик АМН СССР. Организовал первый в СССР онкологический диспансер.

Быков Константин Михайлович (1886–1959) — русский советский физиолог, исследователь влияния коры головного мозга на внутренние органы. Ученик И. П. Павлова. Академик АН СССР и АМН СССР. Лауреат Сталинской премии.

Васюточкин Василий Михайлович (1904–?) — видный советский биохимик, специалист по питанию.



Долго-Сабуров Борис Алексеевич (1900–1960) — выдающийся советский анатом, член-корреспондент АМН СССР, генерал-лейтенант медицинской службы.

Вайль Соломон Самуилович (1898–1979) — советский патологоанатом, профессор.

Абрикосов Алексей Иванович (1875–1955) — русский советский патологоанатом. Академик АН СССР и АМН СССР. Отец лауреата Нобелевской премии по физике за 2003 год А. А. Абрикосова.

Сперанский Алексей Дмитриевич (1887/ 1888–1961) — советский медик, патофизиолог. Академик АН СССР и АМН СССР (1944). Лауреат Сталинской премии. С 1945 года — директор Института общей и экспериментальной патологии АМН СССР. С 1954 года — заведующий отделом общей патологии Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР.

Волынский Зиновий Моисеевич (1897–1968) — известный кардиолог, профессор. С 1955 года возглавлял кафедру госпитальной терапии Военно-медицинской академии. Был главным терапевтом Военно-морского флота СССР.

Куусинен Отто Вильгельмович (1881–1964) — финский и советский политический деятель, писатель. Секретарь Исполкома Коминтерна. Сразу же после начала войны с Финляндией был назначен главой марионеточного правительства Финляндской Демократической Республики, от имени которого 2 декабря 1939 года подписал Договор о взаимопомощи и дружбе с Советским Союзом.

Петэн Анри Филипп (1856–1951) — французский военный и политический деятель, маршал. Национальный герой Первой мировой войны. Глава коллаборационного «правительства Виши» во время Второй мировой войны. После войны был признан виновным в государственной измене и военных преступлениях, приговорен к смертной казни, однако помилован премьер-министром Шарлем де Голлем, который заменил смертную казнь пожизненным заключением. Во Франции имя Петэна стало символом предательства.

22 июня 1941 года Политбюро ЦК ВКП (б) поручило В. М. Молотову выступить по радио с обращением к населению в связи с началом войны СССР и Германии. Выступление Молотова по радио впоследствии было опубликовано во всех газетах. Финал его речи: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами» — широко использовался для пропаганды и агитации.



Судя по всему, автор имеет в виду генерала А. Власова и его армию.

Шапшев Константин Николаевич (1885–1942) — видный советский гигиенист.

Кузнецов Николай Герасимович (1904–1974) — советский военачальник, адмирал Флота Советского Союза, народный комиссар Военно-морского флота (1939–1946), военно-морской министр (1951–1953) и главнокомандующий.

Исаков Иван Степанович (1894–1967) — советский военачальник, адмирал Флота Советского Союза. Герой Советского Союза. После ранения и ампутации ноги остался инвалидом, однако продолжил службу на флоте.

Каганович Лазарь Моисеевич (1893–1991) — советский государственный и партийный деятель, член Политбюро ЦК ВКП (б) с 1930 по 1957 год. В 1942 году — член Военного совета Северо-Кавказского, а затем Закавказского фронта. Участвовал в организации обороны Кавказа.

Тюленев Иван Владимирович (1892–1978) — советский военачальник, Герой Советского Союза, генерал ар— мии. В феврале 1942 года был назначен на должность заместителя главнокомандующего Юго-Западного направления, а через несколько дней был назначен командующим Закавказским фронтом.

Андреев Федор Федорович (1900–1950) — один из организаторов советской военно-морской медицины, доктор медицинских наук, профессор, генерал-лейтенант медицинской службы. Начальник медико-санитарного управления ВМФ.

Гельштейн Елизар Маркович (1897–1955) — советский клиницист-терапевт, заведующий факультетской терапевтической клиникой II ММИ. В годы Великой Отечественной войны занимал должность главного терапевта Ленинградского фронта.



Греков Иван Иванович (1867–1934) — выдающийся русский хирург, профессор.

Засосов Роман Андреевич — отоларинголог. Во время Великой Отечественной войны — главный отоларинголог ВМФ (1942–1956), генерал-майор медицинской службы.

Зедгенидзе Георгий Артемьевич (1902–1994) — советский рентгенолог и радиолог, академик АМН СССР (1960). В 1941–1958 годах — начальник кафедр Военно-морской медицинской академии и Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова и одновременно (1941–1945) флагманский рентгенолог ВМС. С 1958 года — директор НИИ медицинской радиологии АМН СССР.

В настоящее время — Клайпеда.

В настоящее время — Балтийск Калининградской области.

Гданьск.

Штецин.

«Журнал клинической медицины» (нем.).



«Клинический еженедельник» (нем.).

Бесплатно, даром (*лат.*).

Вирхов Рудольф Людвиг Карл (1821–1902) — великий немецкий ученый и политический деятель XIX века, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, основоположник клеточной теории в биологии и медицине, теории клеточной патологии в медицине; был известен также как археолог, антрополог и палеонтолог.

Зауэрбрух Фердинанд (1875–1951) — немецкий хирург, один из основоположников хирургии грудной полости. С 1918 года — заведующий кафедрой хирургии в Мюнхене, затем в Берлине (больница Шарите).

Фон Бергман Густав (1878–1955) — немецкий терапевт. Клинически и экспериментально разработал учение о функциональной патологии.

Представления не имею (*нем.*).

Судя по всему, автор имеет в виду выдающегося генетика Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского, биография которого легла в основу романа Даниила Гранина «Зубр». В конце войны Н. В. Тимофеев-Ресовский отказался от переезда на запад Германии и сохранил свой институт до прихода советских войск. В апреле 1945 года советская военная администрация назначила его директором Института исследований мозга в Бухе. Однако 13 сентября 1945 года Тимофеев-Ресовский был задержан НКВД, этапирован в Москву и помещен во внутреннюю тюрьму НКГБ. Впоследствии он был приговорен к 10 годам лишения свободы, однако уже в 1947 году его как специалиста по радиационной генетике перевели на «Объект 0211» в Челябинской области. С 1947 года Тимофеев-Ресовский заведовал биофизическим отделом «Объекта 0211», в 1951-м был освобожден из заключения, а в 1955 году с него была снята судимость. В 1963 году защитил докторскую диссертацию, докторский диплом получил в 1964, году после смещения Хрущева и реабилитации генетики.

Палочный довод; доказательство с помощью насилия (*лат.*).



Паасикиви Юхо Кусти (1870–1956) — финский политический деятель, президент Финляндии с 1946 года; Кекконен Урхо (1900–1986) — финский политический деятель, впервые занял пост президента Финляндии в 1956 году. Паасикиви, а вслед за ним Кекконен проводили политику налаживания экономического сотрудничества с СССР и политического нейтралитета. Такая политика получила название «линия Паасикиви — Кекконена», или «финляндизация».

Стражеско Николай Дмитриевич (1876–1952) — выдающийся отечественный кардиолог, академик АН СССР, директор Украинского института клинической медицины. Разработал учение о функциональной недостаточности кровообращения, создал классификацию недостаточности кровообращения (совместно с В. Х. Василенко).

Вовси Мирон Семенович (1897–1960) — известный советский терапевт, профессор, генерал-майор медицинской службы, академик АМН СССР. Был арестован по «делу врачей» и объявлен главарем антисоветской террористической организации. После смерти Сталина дело было прекращено, М. С. Вовси освобожден.

Гращенко Николай Иванович (1901–1965) — советский невролог, академик АН БССР (в 1947–1951 годах — президент АН БССР) и АМН СССР. В 1937–1939 годах — первый заместитель наркома здравоохранения СССР. Заместитель Генерального директора Всемирной организации здравоохранения (1959–1961).

Лепорский Николай Иванович (1877–1952) — советский терапевт, академик АМН СССР. Занимался вопросами физиологии и патологии пищеварения, высшей нервной деятельности. Автор метода исследования желудочного сока, получившего название «метод Лепорского».

Зеленин Владимир Филиппович (1881–1968) — выдающийся отечественный терапевт, действительный член АМН СССР, основатель и директор Клинического института функциональной диагностики и экспериментальной терапии Главнауки при МГУ (впоследствии Медико-биологический институт), директор госпитальной клиники лечебного факультета II ММИ, директор Института терапии АМН СССР. Первым в России разработал клиническую электрокардиографию, предложил теорию бикардиограммы, способствовал широкому внедрению электрокардиографии в практику.

Митерев Георгий Андреевич (1900–1977) — советский государственный деятель. В июне — сентябре 1939 года — нарком здравоохранения РСФСР, с 1939 года — нарком здравоохранения СССР. В 1946 году, после реорганизации наркоматов в министерства, стал министром здравоохранения СССР. В 1947 году, как «не справившийся с порученным ему делом», снят с поста, а в августе 1947 года получил строгий выговор «за антигосударственные и антипатриотические поступки».

Окунев Борис Николаевич (1897–1961) — известный советский математик, занимался баллистикой артиллерийского орудия. Профессор, доктор наук.



Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — советский физик-оптик, академик, президент Академии наук СССР (с 1945 г.), лауреат Сталинской премии. Младший брат Николая Ивановича Вавилова, русского генетика, репрессированного в 1940 году.

Смирнов Ефим Иванович (1904–1989) — деятель советского здравоохранения, генерал-полковник медицинской службы, академик АМН СССР. С февраля 1947-го по январь 1953 года — министр здравоохранения СССР.

Черногоров Иван Алексеевич (1894–1971) — видный советский кардиолог. С 1950 по 1959 год заведовал кафедрой внутренних болезней Московского медицинского стоматологического института. С 1959 года — заведующий отделением заболеваний сердечно-сосудистой системы в институте терапии АМН СССР.

Бурмин Дмитрий Александрович (1872–1954) — известный терапевт, директор клиники медицинского факультета Московского университета, ученик А. А. Остроумова. Соученик Д. Д. Плетнева.

О Б. Б. Когане см. сноску 49.

Петров Борис Дмитриевич — советский историк медицины, член-корреспондент АМН СССР. В 1948–1953 годах — директор, с 1952 по 1956 год — заведующий кафедрой истории медицины I МОЛМИ.

Лебедева Зинаида Александровна — директор Института туберкулеза АМН СССР, депутат Верховного Совета СССР (1954–1958).

Виноградов Владимир Никитич (1882–1964) — выдающийся советский терапевт, академик АМН СССР. Первым в СССР в условиях клиники применил бронхоскопию, гастроскопию, катетеризацию сердца, векторэлектрокардиографию. Главный терапевт Лечебно-санитарного управления Кремля, лечил Сталина и многих членов Политбюро. В ходе «дела врачей» был арестован, после смерти Сталина оправдан и освобожден.



Василенко Владимир Харитонович (1897–1987) — выдающийся советский терапевт, академик АМН СССР, зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней I ММИ. Работал под руководством Ф. Г. Яновского и Н. Д. Стражеско. Во время Великой Отечественной войны — главный терапевт Северо-Кавказского, затем 1-го Украинского фронтов. Автор многочисленных работ, посвященных различным вопросам общей и частной патологии внутренних органов и, в частности, хронической недостаточности кровообращения, пороков сердца.

Тареев Евгений Михайлович (1895–1986) — выдающийся советский терапевт. Академик АМН СССР (1948), Герой Социалистического Труда (1965), лауреат Сталинской, Ленинской и Государственной премий СССР. Один из основоположников советской нефрологии, гепатологии, ревматологии и паразитологии.

Гукасян Арам Григорьевич (1901–1972) — известный советский терапевт, исследователь патологии органов пищеварения, заболевания почек, сердечно-сосудистой системы и др. В 1961–1968 годы — главный терапевт 4-го Главного управления Министерства здравоохранения СССР.

Главное управление медицинских учебных заведений Министерства здравоохранения СССР.

Разенков Иван Петрович (1888–1954) — советский физиолог, академик АМН СССР. Ученик И. П. Павлова. В 1948–1950 годах — вице-президент АМН СССР. Лауреат Сталинской премии.

Зильбер Лев Александрович (1894–1966) — советский иммунолог и вирусолог, создатель советской школы медицинской вирусологии. Лауреат Сталинской премии. Был репрессирован, освобожден в 1944 году. В 1945 году стал действительным членом Академии медицинских наук, научным руководителем Института вирусологии АМН СССР и заведующим отделом вирусологии и иммунологии опухолей Института эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

Клюева Нина Георгиевна (1898–1971) — микробиолог, член-корреспондент Академии медицинских наук СССР; Роскин Григорий Иосифович (1892–1964) — биолог, специалист в области цитологии и протозоологии, ученик Н. К. Кольцова, профессор МГУ. С 1931 года Роскин и Клюева изучали действие экстракта из клеток трипаносомы (*Trypanosoma cruzi*) на рост опухолевых клеток у животных. В 1946 году они сделали доклад о действии препарата, названного ими «круцин» (по первым буквам имен разработчиков). Вначале их деятельность получила поддержку руководства СССР, однако затем Клюева и Роскин были подвергнуты «суду чести». В настоящее время ряд ученых на Западе признает значение открытия Клюевой и Роскина.

Парин Василий Васильевич (1903–1971) — советский физиолог, академик АН СССР и АМН СССР. В 1942–1945 годах — заместитель наркома здравоохранения СССР. Один из учредителей АМН СССР и ее первый академик-секретарь. Подвергся репрессиям: в 1947 году после возвращения из командировки в США арестован как американский шпион, в 1948 году освобожден, в 1955 году реабилитирован. В 1963–1966 годах — вице-президент АМН СССР, с 1960 по 1965 год — директор Института нормальной и патологической физиологии АМН СССР, с 1965 по 1969 год — директор Института медико-биологических проблем Минздрава СССР.



Кетлинская Вера Казимировна (1906–1976) — русская советская писательница. Лауреат Сталинской премии (1948).

Коптяева Антонина Дмитриевна (1909–1991) — русская советская писательница. Лауреат Сталинской премии (1950).

Лепешинская Ольга Борисовна (1871–1963) — деятель российского революционного движения, советский биолог, академик АМН СССР. Член РСДРП с 1898 года. Широкую известность в СССР получило обсуждение антинаучной теории О. Б. Лепешинской о новообразовании клеток из бесструктурного «живого вещества». Теория Лепешинской на совместном совещании АН и АМН СССР 1950 года была поддержана всеми выступавшими докладчиками, включая Т. Д. Лысенко. Профессорам медицинских вузов было вменено в обязанность в каждой лекции цитировать учение о «живом веществе». Тем не менее многие советские ученые выступили против антинаучных взглядов Лепешинской.

Жуков-Вережников Николай Николаевич (1908–1981) — советский микробиолог, специалист по борьбе с опасными инфекциями, один из создателей живой противочумной вакцины. Академик АМН СССР, лауреат Государственной премии СССР, профессор. В 1947–1950 годах — директор Института экспериментальной биологии АМН СССР.

Бошнян Геворг Мнацаканович — биолог-авантюрист. До 1949 года заведовал отделом биохимии и микробиологии Всесоюзного института экспериментальной ветеринарии (ВИЭВ). В 1949 году выпустил книгу «О природе вирусов и микробов», после чего вскоре стал заведующим секретной лабораторией в НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи АМН СССР (НИИЭМ), получил степень доктора медицинских наук и звание профессора. Основное «открытие» Бошняна — превращения бактерий в вирусы, вирусов в кристаллы и, наоборот, из кристаллов в вирусы, вирусов в бактерии; Бошнян объявил об установлении ряда других сенсационных фактов. В частности, он утверждал, что бактерии выживают при двукратном автоклавировании при 120 °С, при автоклавировании в серной кислоте, что они не убиваются щелочью и рядом антисептиков, что бактерии зарождаются в лечебных сыворотках и вакцинах, растворах антибиотиков, в гниющих останках животных и растительных организмов. Уже в 1950 году Бошнян был разоблачен как мошенник, однако его лаборатория просуществовала до 1954 года.

Жуковский Петр Михайлович (1888–1975) — советский биолог, ботаник. Академик ВАСХНИЛ, профессор, лауреат Сталинской премии.

Сперанский Алексей Дмитриевич (1888–1961) — советский медик в области физиологии и патологии.

Селье Ганс (1907–1982) — известный эндокринолог. До Второй мировой войны работал в Праге, Риме и Париже, после войны эмигрировал в Канаду. Занимался исследованием стресса и адаптационного синдрома.



Иванов-Смоленский Анатолий Георгиевич (1895–1982) — советский физиолог и психиатр, академик АМН СССР. Ученик В. М. Бехтерева, лауреат Сталинской премии. С 1952 года — директор Института высшей нервной деятельности АН СССР.

Анохин Петр Кузьмич (1898–1974) — советский физиолог, создатель теории функциональных систем, академик АМН СССР и АН СССР, лауреат Ленинской премии.

Ошибка автора, связанная, видимо, с позднейшим увлечением Н. С. Хрущевым сельским хозяйством, в частности растениеводством. Андреев Андрей Андреевич (1895–1971) — советский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК ВКП(б) в 1932–1952 годах. В 1943–1946 годах был наркомом земледелия СССР.

Збарский Борис Ильич (1885–1954) — советский биохимик, директор Лаборатории при Мавзолее Ленина. Герой Социалистического Труда. Профессор на кафедре биохимии I МОЛМИ. Руководил лабораторией биохимии рака АМН СССР. В 1949 году возглавил работы по бальзамированию Георгия Димитрова.

В 1952 году в ходе «дела врачей» был арестован. Освобожден в декабре 1953 года, реабилитирован.

Егоров Петр Иванович (1899–1966) — врач-терапевт, член-корреспондент АМН СССР. В 1947–1952 годах — начальник Лечебно-санитарного управления Кремля. В 1952 году арестован по «делу врачей». После смерти Сталина освобожден и реабилитирован.

Преображенский Борис Сергеевич (1892–1970) — советский оториноларинголог, академик АМН СССР.

Гринштейн Александр Михайлович (1881–1959) — невропатолог, академик АМН СССР. В 1940–1955-м — профессор II МОЛМИ.

Попова Нина Алексеевна — невропатолог. С 1953 года — заведующая неврологическим отделением МОНИКИ.



Багиров Мир Джафар Аббас оглы (1895–1956) — советский азербайджанский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана, нарком внутренних дел Азербайджанской ССР (1921–1927), Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР (1932–1933), 1-й секретарь ЦК КП Азербайджанской ССР (1933–1953), Председатель Совета Министров Азербайджанской ССР (1953). После смерти Сталина снят со всех постов и исключен из партии, а в 1956 году расстрелян.

Жданов Андрей Александрович (1896–1948) — советский государственный и партийный деятель. В 1946 году выступил с докладом, легшим в основу постановления «О журналах «Звезда» и «Ленинград», которое начало травлю А. Ахматовой и М. Зощенко. По официальной версии, умер от инфаркта.

Щербаков Александр Сергеевич (1901–1945) — советский государственный и партийный деятель, кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б). По официальной версии, умер от инфаркта.

«Джойнт» — крупнейшая еврейская благотворительная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке. С конца войны до 1948 года «Джойнт» отправляла посылки религиозным общинам и частным лицам в СССР. В конце 1949-го — начале 1950 года «Джойнт» была изгнана из всех стран Восточного блока (кроме Румынии), организацию обвиняли в шпионаже, диверсиях, нелегальных валютных операциях, спекуляции и контрабанде под видом благотворительной деятельности. В 1953 году арестованные по «делу врачей» медики были обвинены в том, что они являлись «агентами международной сионистской организации «Джойнт».

Шимелиович Борис Абрамович (1892–1952) — до 1949 года главный врач клинической больницы им. Боткина в Москве. Поэт, член Союза писателей СССР. Член президиума Еврейского антифашистского комитета. Был арестован в 1949 году по «делу Еврейского антифашистского комитета». Несмотря на пытки, не дал показаний и не подписал ни одного протокола. Расстрелян.

Сперанский Георгий Нестерович (1873–1969) — знаменитый русский советский педиатр, основоположник советской системы охраны детского здоровья, профессор, академик АМН СССР, членкорреспондент АН СССР.

Тимашук Лидия Феодосьевна (Федосеевна) (1898–1983) — врач кремлевского Ленчанупра. С ее заявления о неправильном лечении А. А. Жданова началось «дело врачей». 20 января 1953 года была награждена орденом Ленина «за помощь, оказанную Правительству в деле разоблачения врачей-убийц». После смерти Сталина была лишена ордена Ленина. Репрессиям не подвергалась, работала до пенсии в 4-м Главном управлении Министерства здравоохранения СССР.

Куршаков Николай Александрович — известный советский терапевт. С 1950 года был профессором кафедры госпитальной терапии I МОЛМИ. В 1951 году перешел на работу в Институт биофизики АМН СССР, где возглавлял созданный им клинический отдел. В 1946 году участвовал в качестве эксперта в Нюрнбергском судебном процессе над фашистскими военными преступниками.



Цинамдзгвришвили Михаил Дорофеевич (1882–1956) — советский терапевт, академик АН Грузинской ССР, профессор. Заведующий кафедрами диагностики медицинского факультета Тбилисского университета и госпитальной терапии Тбилисского медицинского института, основатель и директор первого в СССР института клинической и экспериментальной кардиологии (в 1957 году институту присвоено имя Цинамдзгвришвили).

Кипшидзе Николай Андреевич (1888–1954) — академик АН Грузии, профессор, заведовал кафедрой терапии Тбилисского медицинского института и Тбилисского института усовершенствования врачей.

Третьяков Андрей Федорович (1905–1966) — советский государственный деятель. В 1940–1946 годах — нарком здравоохранения РСФСР. В 1946–1948 годах — министр медицинской промышленности СССР. В 1953–1954 годах — министр здравоохранения СССР.

Лукомский Павел Евгеньевич (1899–1974) — советский терапевт, академик АМН СССР. Внес значительный вклад в изучение инфаркта миокарда и патогенеза коронарного атеросклероза, аритмий сердца.

Ткачев Роман Александрович (1898–?) — известный советский невропатолог.

Филимонов И. Н. — невропатолог, профессор.

Иванов-Незнамов В. И. — терапевт, доцент.

Маленков Георгий Максимилианович (1902–1988) — советский государственный и партийный деятель, член Политбюро ЦК КПСС (1946–1957), секретарь ЦК КПСС (1939–1946, 1948–1953). В 1953–1955 годах — председатель Совета Министров СССР. В 1957 году за попытку отстранить Н. С. Хрущева от власти снят со всех постов и исключен из партии.



Булганин Николай Александрович (1895–1975) — советский государственный и военный деятель. Член Политбюро ЦК ВКП (б), Маршал Советского Союза. С 1947 по 1949 год — Министр Вооруженных сил СССР и заместитель председателя Совета министров СССР. После смерти Сталина возглавил Министерство обороны. В период правления Хрущева выведен из Политбюро, лишен звания маршала и отправлен в фактическую ссылку.

Неговский Владимир Александрович (1909–2003) — выдающийся советский патофизиолог, основатель советской школы реаниматологии, профессор, академик АМН СССР. Основатель и директор Научно-исследовательского института общей реаниматологии АН СССР.

Жданов Юрий Андреевич (1919–2006) — доктор химических наук, кандидат философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор Ростовского государственного университета (1957–1988).  
Сын А. А. Жданова (см. сноску 193).

Струков Анатолий Иванович (1901–1988) — советский патологоанатом, академик АМН СССР, Герой Социалистического Труда. В 1953–1972 годы заведовал кафедрой патологической анатомии I МОЛМИ и лабораторией Института морфологии человека. Создал школу патологоанатомов.

Мордашев Сергей Руфович (1906–1974) — советский биохимик. Академик, вице-президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда.

Так проходит мирская слава (*лат.*).

Полностью: *Tempora mutantur et nos mutantur in illis* («Времена меняются, и мы меняемся вместе с ними», *лат.*). Приписывается Овидию.

Игнатъев Семен Денисович (1904–1983) — советский партийный и государственный деятель, выдвиженец Г. М. Маленкова. С 1951 по 1953 год — министр государственной безопасности СССР. После смерти Сталина в марте 1953 года министерство слилось с МВД, во главе которого стал Л. Берия, а Игнатъев стал секретарем ЦК КПСС. Однако по требованию Л. Берии в апреле был смещен с должности в связи с расследованием его деятельности на посту министра и направлен на партийную работу в Татарию.



Поспелов Петр Николаевич (1898–1979) — советский партийный деятель. Член ЦК КПСС. После смерти Сталина с 1953 по 1960 год — секретарь ЦК КПСС. Академик АН СССР. В 1940–1949 годах — главный редактор газеты «Правда», в 1949–1952, 1961–1967 годах — директор ИМЛ при ЦК КПСС, в 1952–1953 годах — заместитель главного редактора газеты «Правда».

Шаталин Николай Николаевич (1904–1984) — советский партийный деятель. В 1953–1956 годах — член ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС с 1953 по 1955 год.

Эпштейн Иосиф Моисеевич (1895–1980) — уролог, заведующий кафедрой урологии I МОЛМИ (1949–1968).

Червенков Вылко Велёв (1900–1980) — болгарский политический деятель, лидер Болгарской коммунистической партии в 1950–1954 годах.

Югов Антон Танев (1904–1991) — болгарский политик, один из руководителей Болгарской коммунистической партии (БКП). Данные о принадлежности А. Югова к НКВД обнаружить не удалось.

Черниговский Владимир Николаевич (1907–1981) — советский физиолог, академик АМН СССР и АН СССР. Директор Института физиологии им. И. П. Павлова АН СССР. Академик-секретарь Отделения физиологии АН СССР.

Пархон Константин Ион (1874–1969) — румынский эндокринолог. Социалист. С 30 декабря 1947-го по 13 апреля 1948 года — член временного Президиума Румынии, избранного после отречения короля Михая, а с 13 апреля 1948-го по 12 июня 1952 года — президент Румынии. Позднее вновь посвятил себя научной деятельности.

Даниелополу Даниель (1884–1955) — румынский терапевт и физиолог, почетный член Румынской академии.



Аслан Ана (1897–1988) — румынская врач и биолог, основоположница геронтологии и гериатрии в Румынии. Разработала новокаинсодержащий омолаживающий препарат «Геровитал», с помощью которого лечила Мао Цзэдуна, Хо Ши Мина, Шарля де Голля, Конрада Аденауэра, Чарли Чаплина, Марлен Дитрих и других знаменитостей, что принесло ей всемирную известность.

Лупу Николае Георге (1884–1966) — знаменитый румынский врач, основатель первого в стране Международного института медицины, создатель румынской терапевтической школы.

Николау Штефан Георге (1896–1967) — знаменитый румынский микробиолог, вирусолог, основатель научной школы.

Имеется в виду Николае Хортоломей (1885–1961) — известный румынский хирург, директор бухарестской клиники хирургии и урологии, профессор, с 1948 года — академик.

Кишиневский (Ройтман) Иосиф (1905–1963) — румынский государственный и партийный деятель. Выходец из Бессарабии. Член Политбюро в 1948–1957 годы. В 1950—1954-м — заместитель председателя Совета Министров Румынии, в 1954–1955 годах — первый заместитель председателя. После XX съезда КПСС перешел в оппозицию к Г. Георгиу-Дежу. В 1957 году вместе с Мироном Константинеску был выведен из состава Политбюро. Позднее «группа Паукер — Луки — Джорджеску» и «фракция Кишиневского — Константинеску» были обвинены в поддержке сталинистского режима в Румынии.

Георгиу-Деж Георге (1901–1965) — румынский государственный деятель, руководитель Румынии с 1948 по 1965 год. Генеральный (первый) секретарь ЦК РКП. Премьер-министр Румынии в 1952–1955 годы. Председатель Госсовета Румынии в 1961–1965 годах.

Паукер Анна (1893–1960) — румынский политический деятель, министр иностранных дел Румынии и фактический лидер компартии Румынии в конце 1940 — начале 1950-х годов. Отстранена от власти в 1952 году в ходе кампании борьбы с «сионизмом» и «космополитизмом». В феврале 1953 года была арестована, но после смерти Сталина освобождена и помещена под домашний арест. К власти не вернулась.

Константинеску Мирон (1917–1974) — деятель Компартии Румынии. В 1945 — июле 1957 года — член Политбюро Компартии Румынии, Румынской рабочей партии (выведен вместе с И. Кишиневским). В 1974 году — председатель Великого национального собрания Румынии.



Стойка Киву (1908–1975) — румынский политик. Член ЦК РКП в 1945–1975 годах премьер-министр Румынии в 1955—1961-м, председатель Госсовета в 1965–1967 годах. В 1975 году, по официальной версии, совершил самоубийство.

Гроза Петру (1884–1958) — румынский политик, антифашист, глава первого демократического правительства после Второй мировой войны, симпатизировал коммунистическому движению, однако в партию не вступил. Крупный помещик, однако отказался от поддержки правительства Румынии и своего состояния и возглавил крупнейшую в стране крестьянскую организацию «Фронт земледельцев». Во время Второй мировой войны боролся против фашистского режима в Румынии, после победы стал премьер-министром «коалиционного правительства» Румынии в 1945–1952 годах, позднее — председателем Государственного совета Румынии.

Ракоши Матьяш (1892–1971) — венгерский политический деятель. Генеральный секретарь Венгерской коммунистической партии, глава правительства Венгрии (1952–1953). В 1953 году передал пост председателя правительства Имре Надю. После XX съезда КПСС снят с должности генерального секретаря. Вскоре после восстания в Венгрии 1956 года был вывезен в СССР. В 1970 году ему было предложено отказаться от активного участия в венгерской политике в обмен на возвращение в Венгрию, но Ракоши отказался.

Русняк (Русньяк) Иштван (1889–1974) — венгерский терапевт, патофизиолог и биохимик, академик, президент Венгерской академии наук с 1949 по 1970 год.

Гетени Геза (1894–1959) — известный венгерский врач, академик Венгерской академии наук, лауреат премии им. Кошута. Занимался исследованием нарушений обмена веществ, значения вегетативной нервной системы в развитии гипертонии и язвенной болезни.

Лиан Камиль (1882–1969) — видный французский кардиолог.

«Франция — Россия» (*фр.*). Общество французо-советской дружбы.

Грабарь Пьер (Петр Николаевич) (1898–1986) — знаменитый французский биохимик и иммунолог русского происхождения, академик Национальной академии медицины Франции. Воевал на стороне белых, был арестован и приговорен к смертной казни, однако бежал в Данию и в результате оказался во Франции. Работал, в частности, в Институте Пастера. Лауреат многочисленных научных премий.



Ленегр Жан (1904–1972) — известный французский кардиолог. Первым в Европе применил катетеризацию полостей сердца и крупных сосудов с диагностической целью.

Сварц Нанна (1890–1986) — шведский врач, исследователь, одна из пионеров феминизма.

Имеется в виду Рауль Валленберг.

Герке Александр Альфонсович (1892–1979) — советский терапевт.

Хенч Филип Шоултер (1896–1965) — выдающийся американский врач, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине в 1950 году. Успешно применил гормон коры надпочечников (позднее названный кортизоном) в лечении ревматоидного артрита.

«Серебряный кодекс» (*лат.*) — рукопись перевода Библии на готский язык, сделанного Вульфиллой; написана на цветном пергаменте серебром. Хранится в Швеции, в Упсале.

Кротков Федор Григорьевич (1896–?) — советский гигиенист, один из основоположников военной и радиационной гигиены в СССР, академик, вице-президент АМН СССР, Герой Социалистического Труда (1966), генерал-майор медицинской службы.

Билибин Александр Федорович (1922) — профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней II МГМИ (1950–1978), академик АМН СССР.



Чжоу Эньлай (1898–1976) — китайский политический деятель. Первый премьер Госсовета Китайской Народной Республики с момента ее образования в 1949 году до своей смерти.

Сунь Ятсен (1866–1925) — китайский революционер, основатель партии Гоминьдан, один из наиболее почитаемых в Китае политических деятелей. В 1940 году посмертно получил титул «отца нации».

Чан Кайши (1887–1975) — военный и политический деятель Китая, возглавивший Гоминьдан в 1925 году после смерти Сунь Ятсена.

Янушкевичюс Зигмас Ипполитович (1911–?) — советский терапевт, академик АМН СССР и АН Литовской ССР (1968). С 1953 года — директор Каунасского медицинского института и заведующий кафедрой госпитальной терапии. НИИ физиологии и патологии сердечно-сосудистой системы в Каунасе получил его имя.

Талызин Ф. Ф. (1903–1976) — член-корреспондент АМН СССР, ректор I МОЛМИ с 1952 по 1955 год, советник по вопросам медицины в представительстве СССР при ООН.

Сын Н. А. Кипшидзе, см. ссылку 201.

Уайт Пол Дадли (1886–1973) — знаменитый американский терапевт-кардиолог и общественный деятель.

Бейли К. (1910 —?) — американский кардиохирург, разработчик операции митральной комиссуротомии.



Малик Яков Александрович (1906–1980) — советский государственный деятель. В 1942–1945 годах — посол СССР в Японии, в 1953–1960 годах — посол в Великобритании. В 1946—1953-м и 1960–1967-м — заместитель министра иностранных дел СССР. Постоянный представитель СССР при ООН и в СБ ООН в 1948–1952-м и 1967–1976 годах.

Дебейки Майкл Эллис (1908–2008) — знаменитый американский кардиохирург. В России получил широкую известность после того, как провел операцию президенту Б. Ельцину в 1996 году.

Понятия не имею (*англ.*).

Пауэрс Фрэнсис (1929–1977) — американский летчик, совершал разведывательные полеты над территорией СССР. 1 мая 1960 года его самолет был сбит, Пауэрс арестован, затем приговорен к 10 годам лишения свободы за шпионаж. 10 февраля 1962 года был обменен на советского разведчика Рудольфа Абея (этот обмен отражен в советском фильме «Мертвый сезон»).

Эйзенхауэр Дуайт Дэвид (1890–1969) — 34-й президент США (1953–1961). Был сторонником продолжения «холодной войны» и гонки вооружений.

Вихерт Анатолий Михайлович (1918) — член-корреспондент РАМН, сотрудник НИИ кардиологии им. А. Л. Мясникова КНЦ РАМН.

Кейс Энсел Бенжамин (1904–2004) — известный американский ученый, специалист по питанию, диетолог.

Голдуотер Барри Моррис (1909–1998) — американский политик-республиканец, кандидат в президенты США на выборах 1964 года. Крайний антикоммунист. В советской печати часто служил символом агрессивной политики США.